

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
За рубежом
Серия «Книги очерков»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=319572

Аннотация

Рисую критическую картину политической жизни Западной Европы в 1880 году, книга стоит в ряду таких произведений нашей литературы, как «Письма русского путешественника» Н. Карамзина и «Зимние заметки о летних впечатлениях» Ф. Достоевского. Вместе с тем эта книга не только о Западе, но и о России. Осмысление зарубежной действительности дало писателю возможность еще глубже понять социально-политические проблемы своей страны.

Содержание

I		4
	МАЛЬЧИК В ШТАНАХ И МАЛЬЧИК БЕЗ ШТАНОВ 37	57
II		75
III		141
	ГРАФ И РЕПОРТЕР 11	169
IV		213
V		311
VI		369
	ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ, 7	387
VII.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	426
	Примечания I	473

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович За рубежом

I

Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли не самое верное из всех – это заставить человека посвятить себя культу самосохранения. Решившись на такой подвиг, надлежит победить в себе всякое буйство духа и признать свою жизнь низведенною на степень бесцельного мелькания на все то время, покуда будет длиться искус животолубия.

Но, во-первых, чтоб выполнить такую задачу вполне добросовестно, необходимо, прежде всего, быть свободным от каких бы то ни было обязательств. И не только от таких, которые обуславливаются апелляционными и кассационными сроками, но и от других, более деликатного свойства. Или, говоря короче, нужно сознать себя и безответственным, и вдобавок совсем праздным человеком. Ибо, во время процесса самосохранения, всякая забота, всякое напоминовение о

покинутом деле и даже «мышление» вообще – считаются не kurgemaess¹ и препятствуют солям и щелочам успешно всасываться в кровь.

Среди женщин субъекты, способные всецело отдаваться праздности, встречаются довольно часто (культурно-интернациональные дамочки, кокетки, бонапартистки и проч.). Всякая дамочка самим богом как бы целиком предназначена для забот о самосохранении. В прошлом у нее – декольте, в будущем – тоже декольте. Ни о каких обязательствах не может быть тут речи, кроме обязательства содержать в чистоте бюст и шею. Поэтому всякая дамочка не только с готовностью, но и с наслаждением устремляется к курортам, зная, что тут дело совсем не в том, в каком положении находятся легкие или почки, а в том, чтоб иметь законный повод но пяти раз в день одеваться и раздеваться. Самая плохая дамочка, если бог наградил ее хоть какою-нибудь частью тела, на которой без ожесточения может остановиться взор мужчины, – и та заранее разочтет, какое положение ей следует принять во время питья Kraenchen, чтоб именно эту часть тела отрекомендовать в наиболее выгодном свете. Я знаю даже старушек, у которых, подобно старым, асигнациям, оба нумера давно потеряны, да и портрет поврежден, но которые тем не менее подчиняли

¹ сообразными с лечением

себя всем огорчениям курсового лечения, потому что нигде, кроме курортов, нельзя встретить такую массу мужских панталон и, стало быть, нигде нельзя так целесообразно освежить потухающее воображение. Словом сказать, «дамочки» – статья особая, которую вообще ни здесь, ни в другом каком человеческом деле в расчет принимать не надлежит.

Но в среде мужчин подобные оглашенные личности встречаются лишь как исключение. У всякого мужчины (ежели он, впрочем, не бонапартист и не отставной русский сановник, мечтающий, в виду Юнгфрау¹ (Комментарии к таким сноскам смотри в Примечаниях I), о коловратностях мира подачек) есть родина, и в этой родине есть какой-нибудь кровный интерес, в соприкосновении с которым он чувствует себя семьянином, гражданином, человеком. Развязаться с этим чувством, даже временно, ужасно тяжело; и я положительно убежден, что самый культ самосохранения должен от этого пострадать. Легко сказать: позабудь, что в Петербурге существует цензурное ведомство, и затем возьми одр твой и гряди; но выполнить этот совет на практике, право, не легко.

Недавно, проезжая через Берлин, я заехал в зоологический сад и посетил заключенного там чимпандзе. При случае советую и вам, читатель, последовать моему примеру. Вы увидите бедное дрожащее суще-

ство, до того угнетенное тоской по родине, что даже предлагаемое в изобилии молоко не утешает его. Скорчившись, сидит злосчастный пленник под теплым одеялом на соломенном одре и, закрывши глаза, дремлет предсмертного дремотой.²

Какие сны снятся старику – этого, конечно, нельзя угадать, но, судя по тоскливым вздохам, ясно, что перед умственным его взором мелькает нечто необыкновенно заманчивое и дорогое. Быть может, там, в родных лесах, он был исправником, а может быть, даже министром. В первом случае он предупреждал и пресекал; во втором – принимал в назначенные часы доклады о предупреждении и пресечении. Без сомнения, это были доклады не особенно мудрые, но ведь для чимпандзе, по части мудрости, не особенно много и требуется. И вот, теперь он умирает, не понимая, зачем понадобилось оторвать его от дорогих сердцу интересов родины и посадить за решеткой в берлинском зоологическом саду. Умирает в горьком сознании, что ему не позволили даже подать прошения об отставке (просто поймали, посадили в клетку и увезли), и вследствие этого там, на родине, за

² Замечательно, что тут же, за решеткой, у самого изголовья старого чимпандзе, заключен маленький чимпандзе, родившийся несколько месяцев тому назад, уже в Берлине. Этот ребенок стоит, ухватившись передними лапами за решетку, и положительно глаз не сводит с умирающего старика. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

ним числится тридцать тысяч неисполненных начальственных предписаний и девяносто тысяч (по числу населяющих его округ чимпандзе) непроизведенных обысков! Не знаю, как подействует это скорбное зрелище на вас, читатель, но на меня оно произвело поистине удручающее впечатление.

Во-вторых, мне кажется, что люди науки, осуждающие своих клиентов выдерживать курсы лечения, упускают из вида, что эти курсы влекут за собой обязательное цыганское житье, среди беспорядка, в тесноте, вне возможности отыскать хоть минуту укромного и самостоятельного существования. Из привычной атмосферы, в которой вы так или иначе обдержались, вас насильственно переносят в атмосферу чуждую, насыщенную иными нравами, иными привычками, иным говором и даже иным разумом. Перед глазами у вас снует взад и вперед пестрая толпа; в ушах гудит разноязычный говор, и все это сопровождается таким однообразием форм (вечный праздник со стороны наезжих, и вечная лакейская беготня – со стороны туземцев), что под конец утрачивается даже ясное сознание времен дня. Это однообразие маятного движения досаждаёт, волнует, вызывает ежеминутный ропот. Нет ничего изнурительнее, как не понимать и не быть понимаемым. Я говорю это не в смысле разности в языке – для культурного чело-

века это неудобство легко устранимое, – но трудно, почти невыносимо в молчании снестать боль сердца, ту щемящую боль, которая зародилась где-нибудь на берегах Иловли² и по пятам пришла за вами к самой подошве Мальберга.³ Там, в долине Иловли, эта боль напоминала вам о живучести в вас человеческого естества; здесь, в долине Лана, она ровно ни о чем не напоминает, ибо ее давно уже пережили (может быть, за несколько поколений назад), да и на боках развели. Мало того, эта боль становится признаком неблаговоспитанности с вашей стороны, потому что неприлично вздыхать и роптать среди людей, которым, в качестве восстанавливающего средства, прописано неперемное душевное спокойствие. Не ясно ли, что те катаральные улучшения, которые достигаются глотанием и вдыханием подлежащих щелочей, должны в значительной мере ослабляться полным отсутствием условий, составляющих обычную принадлежность той жизни, с которою вы, по крайней мере, лично привыкли соединять представление об оседлости.

В-третьих, наконец, культ самосохранения заключает в себе нечто, свидетельствующее не только о чрезмерном, но, быть может, и о незаслуженном жи-

³ Гора, командующая над Бад-Эмсом. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

вотолюбии. Русская пословица гласит так: «жить живи, однако и честь знай». И заметьте, что, как все народные пословицы, она имеет в виду не празднолюбца, а человека, до истощения сил тянувшего выпавшее на его долю жизненное тягло. Если даже ему, истомленному человеку тягла, надо «честь знать», то что же сказать о празднолюбце, о бонапартисте, у которого ни назади, ни впереди нет ничего, кроме умственного и нравственного декольте? Клянусь, надо знать честь, господа! Подумайте! миллионы людей изнемогают, прикованные к земле и к труду, не справляясь ни о почках, ни о легких и зная только одно: что они повинны работе, – и вдруг из этого беспредельного кабального моря выделяется горсть празднолюбцев, которые самовластно декретируют, что для кого-то и для чего-то нужно, чтоб почки действовали у них в исправности! Ах, господа, господа!

Все это я отлично понимал, и все эти возражения были у меня на языке прошлой весной, когда решался вопрос о доставлении мне возможности прожить «аридовы веки». Но – странное дело! – когда люди науки высказались в том смысле, что я месяца на три обязываюсь позабыть прошлое, настоящее и будущее, для того чтоб всецело посвятить себя нагуливанию животов, то я не только ничего не возразил, но сделал вид, что много доволен. Я знал, что, ради вос-

становления сил, я должен буду растратить свои последние силы, – и промолчал. Я очень хорошо провидел, что процесс самосохранения окончательно разорит мой и без того разоренный организм, – и сказал: помилуйте! куда угодно, хоть в тартарары! Я – человек дисциплины по преимуществу и твердо верую, что всякое «распоряжение» клонится к моему благу.

Словом сказать, я сел в вагон и поехал.

Но так как факт совершился, и нелегкая принесла уже меня на берега вонючего Лана, то я считаю себя вправе поделиться с читателями вынесенными мною впечатлениями. Пишу не для дамочек и не для бонапартистов, а для тех, кои, сидя на берегах Лопани, Вороны и Хопра, не ослабляючи вздыхают над вопросами об акклиматизации саранчи, колорадского жучка и гессенской мухи ⁴. Пусть дойдет до них мой голос и скажет им, что даже здесь, в виду башни, в которой, по преданию, Карл Великий замуровал свою дочь (здесь все башни таковы, что в каждой кто-нибудь кого-нибудь замучил или убил, а у нас башен нет), ни на минуту не покидало меня представление о саранче, опустошившей благословенные чембарские пажити. И пусть засвидетельствует этот голос, что, покуда человек не развяжется с представлением о саранче и других расхитителях народного достояния, до тех пор никакие Kraenchen и Kesselbrunnen ⁵ «аридовых ве-

ков» ему не дадут.

Но если бы и действительно глотание Краенчен, в соединении с ослиным молоком, способно было дать бессмертие, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня. Во-первых, мне кажется, что бессмертие, посвященное непрерывному наблюдению, дабы в организме не переставаячи совершался обмен веществ, было бы отчасти дурацкое; а во-вторых, я настолько совестлив, что не могу воздержаться, чтоб не спросить себя: ежели все мы, культурные люди, сделаемся бессмертными, то при чем же останутся попы и гробовщики?

В заключение настоящего введения, еще одно слово. Выражение «бонапартисты», с которым читателю не раз придется встретиться в предлежащих эскизах, отнюдь не следует понимать буквально. Под «бонапартистом» я разумею вообще всякого, кто смешивает выражение «отечество» с выражением «ваше превосходительство» и даже отдает предпочтение последнему перед первым. Таких людей во всех странах множество, а у нас до того довольно, что хоть лопатами огребай.

* * *

В одно прекрасное утро, часов около одиннадцати,

всех нас, «отпущенных по пачпорту», в Вержболове обыскали и, по сделании надлежащих отметок, переправили, как в старину певалось, «в гости к братьям пруссакам». Но нынешние братья пруссаки уж не те, что прежде были, и приняли нас не как «гостей», а как данников. Прежде всего они удостоверились, что у нас нет ни чумы, ни иных телесных озлоблений (за это удостоверение нас заставляют уплачивать в петербургском германском консульстве по 75 копеек с паспорта, чем крайне оскорбляются выезжающие из России иностранцы, а нам оскорбляться не предоставлено), а потом сказали милостивое слово: der Kurs 213 пф., то есть русский рубль с лишком на марку стоит дешевле против нормальной цены. В заключение, обыскав наши багажи (весьма, впрочем, деликатно) и удостоверившись по нашим простодушным физиономиям, что отныне все марки и пфенниги, сколько бы таковых у нас ни оказалось, мы не токмо за страх, но и за совесть обязываемся сполна расходовать на пользу германского отечества, объявили нас от мити-рогнозии свободными ⁶.

Странное дело! покуда мы пробирались к Вержболову (немцы уж называют его Wirballen), никому из нас не приходило в голову выглядывать в окна и любопытствовать, какой из них открывается пейзаж. Как-то само собой предполагалось, что все известно и пе-

реизвестно. «Мокрое место, по которому растет ненастоящий лес» – вот картина, которую ожидал встретить взор и во избежание которой всякий старался убить время независимо от впечатлений родной природы. Одни, не разгибая спины, «винтили». Другие во всеуслышание роптали, что никакой «заграницы» не нужно и что всю эту «заграницу» выдумали их дамочки, которые, под предлогом исправления супружеских почек и легких, собрались ловить по курзалам бонапартистов всех наименований. Третьи всеминутно тосковали, «каким-то нас курсом батюшка-Берлин наградит».

– Кажется, мы нынче смирно сидим... Ни румынов, ни греков, ни сербов, ни болгар – ничего за нами нет! пора бы уж и нам милостивое слово сказать! – слышалось в одном углу.

– Ну, батенька, и за саранчу тоже не похвалят! – где-то по соседству раздавалось в ответ.

Даже два старца (с претензией на государственность), ехавшие вместе с нами, – и те не интересовались своим отечеством, но считали его лишь местом для получения присвоенных по штатам окладов. По видимому, они ничего не ждали, ни на что не роптали, и даже ничего не мыслили, но в государственном безмолвии сидели друг против друга, спесиво хлопая глазами на прочих пассажиров и как бы говоря: мы на

счет казны нагуливать животы едем!

Живя в Петербурге, я знал об этих старцах по слухам; но эти слухи имели такой определенный характер, что, признаюсь, до самого Эйдткунена⁸ я с величайшим беспокойством взирал на них. Я так и ждал, что они вынут казенные подорожные и скажут: а нуте, предъявляйте свои сердца! И тогда прощай, Эмс, прощайте, Баден-Баден, Интерлакен, Париж! Один был малого роста, сложен кряжем и назывался по фамилии Дыба; другой был длинен, сухощав, взвивался и сокращался, словно змей, и назывался по фамилии Удав. Оба состояли в чине бесшабашного советника, и у каждого было по трещине вдоль черепа. Один прошел школу графа Михаила Николаевича в качестве чиновника для преступлений; другой прошел школу графа Алексея Андреевича в качестве чиновника для чтения в сердцах⁹. Оба служат представителями новой департаментско-курьерской аристократии. У одного в гербе была изображена, в червленом¹⁰ поле, рука, держащая серебряную урну с надписью: *не пролей!* у другого – на серебряном поле – рука, держащая золотую урну с надписью: *содержи в опрятности!* Из чего дозволялось заключать, что оба происходят не от Рюрика. Оба в юных летах думали скончать жизнь в столоначальнических должностях, но, бла-

годаря беззаветной свирепости при исполнении начальственных предписаний, были замечены, понравились и удостоены повышения в чинах и должностях. И, в довершение всего, у обоих, по смерти, вместо монументов будет воткнуто на могилах по осиновому колу. Спрашивается: в виду столь жестоковейных идолов можно ли было не трепетать, пока Эйдткунен не предстал перед нами в качестве несомненной действительности?

И в самом деле, в Эйдткунене картина изменилась, как бы волшебством. Винтившие бросили русские карты и на первых порах как бы совестились продолжать винт в немецком вагоне. Пассажиры, роптавшие на жен, смирились, а те, которые ожидали милости от «батюшки-Берлина», прочитавши: *der Kurs 213*, окончательно убедились, что за саранчу не похвалят. Что же касается до государственных старцев, то я просто их не узнал. Как только с них сняли в Эйдткунене чины, так они тотчас же отлучились и, выпустив угнетавшую их государственность, всем без разбора начали подмигивать. И шафнеру немецкого вагона, и француженке, ехавшей в Париж за товаром, и даже мне... И всем, казалось, говорили: не таите помышлений ваших, ибо нынче у нас в Петербурге... вольно! ¹²

И вот едва мы разместились в новом вагоне (мне

пришлось сесть в одном спальном отделении с бесшабашными советниками), как тотчас же бросились к окнам и начали смотреть.

Природа, которая открывалась перед нами, мало чем отличалась от только что оставленной мною природы русско-чухонского поморья, в песках которого ютилось знакомое читателю Монрепо ¹³. Та же низменная равнина, те же рудо-желтые пески, попеременно с торфяными низинками. Но ни кочкарника, ни мхов, ни лезущего отовсюду лозняка, ни еле дышащей, одиноко стоящей и во все стороны гнущейся березки – и в помине нет. И справа и слева тянутся засеянные поля, к которым гораздо более идет эпитет «необозримых», нежели, например, к полям Тверской или Ярославской губерний и вообще средней полосы России. Я видал такие обширные полевые пространства в южной половине Пензенской губернии ¹⁴, по, под опасением возбудить в читателе недоверие, утверждаю, что репутация производства так называемых «буйных» хлебов гораздо с большим нравом может быть применена к обиженному природой прусско-поморью, нежели к чембарским благословенным пажитям, где, как рассказывают, глубина черноземного слоя достигает двух аршин. В Чембаре так долго и легкомысленно рассчитывали на бесконечную способность почвы производить «буйные» хлеба, что и

не видали, как поля выпахались и хлеба присмирили. Здесь же, очевидно, ни на какие великие и богатые милости не рассчитывали, а, напротив, и денно и ночью только одну думу думали: как бы среди песков да болот с голоду не подохнуть. В Чембаре говорили: а в случае ежели бог дожжичка не пошлет, так нам, братцы, и помирать не в диковину! а в Эйдткунене говорили: там как будет угодно насчет дожжичка распорядиться, а мы помирать не согласны!

Почему на берегах Вороны говорили одно, а на берегах Прегеля другое – это я решить не берусь, но положительно утверждаю, что никогда в чембарских палестинах я не видал таких «буйных» хлебов, какие мне удалось видеть нынешним летом между Вержболовом и Кенигсбергом, и в особенности дальше, к Эльбингу. Это было до такой степени неожиданно (мы все заранее зарядились мыслью, что у немца хоть шаром покати и что без нашего хлеба немец подохнет), что некто из ехавших рискнул даже заметить:

– Вот увидите, что скоро отсюда к нам хлеб возить станут!

На что другой ехавший патриотически-задумчиво пробормотал:

– Ну, это уж, кажется, не тово... Этак, брат колбаса, ты, пожалуй, и вовсе нас в полон заберешь!

Но этого мало, что хлеба у немца на песках родят-

ся буйные, у него и коровам не житье, а рай, благодаря изобилию лугов. При тех же самых условиях (тот же торф) выйдешь, бывало, в Монрепо посмотреть, как оно там произрастает, – и разом делается как-то нестерпимо скучно. Кажется, все было сделано: и канавы в прошлом году по осени чистили, и золото из Кронштадта целую зиму возили и по полянкам разбрасывали, а все проку нет. Куда ни глянешь – либо мох сплошной, либо какая-то бурая болячка, либо целая щетка молоденьких березок выскочила, и только где-где занялась настоящая трава. Ну, разумеется, сейчас следствие.

– Иван! да точно ли вы золото из Кронштадта здесь валили?

– Помилуйте! вот и бумажки-с!

– Ну, стало быть, канавы осенью не прочистили как следует?

– И канавы нельзя лучше чистили, только в них вода, вишь, стоит...

– Отчего ж она не стекает?

– Да стеку ей нет – оттого. Еще спервоначалу Иван Павлыч (прежний вотчинник), как только эти самые луга затеял – все стеку искал. Сыщет, ан на следующую весну его песком затянет – давай песок разгребать. До воли мужик-от дешев был, разгребут стёк, канавы наново вычистят, – трава-то и уродится; а как по-

дошла воля, разгребать-то и некем стало. По канавкам лозняк пошел, по полянкам мох выскочил, затягивает каждый год, да и шабаш. Ну, Иван Павлыч-то видит, что ежели тут хозяйствовать, так последние штаны с себя снять придется, – осердился, плюнул и продал всю Палестину. «Пропадайте, говорит, вы пропадом, а я на теплые воды ездить стану!»

И точно, как ни безнадежно заключение Ивана Павлыча, но нельзя не согласиться, что ездить на теплые воды все-таки удобнее, нежели пропадать пропадом в Петергофском уезде ¹⁵. Есть люди, у которых так и в гербах значится: пропадайте вы пропадом – пускай они и пропадают. А нам с Иваном Павлычем это не с руки. Мы лучше в Эмс поедем да легкие пообчистим, а на зиму опять вернемся в отечество: неужто, мол, петергофские-то еще не пропали?

– Послушай, однако ж, Иван! как же мужики-то? у них ведь надел... обеспечение, братец, ведь это! Неужто ж и они стеку не могут сыскать?

– И мужики тоже бьются. Никто здесь на землю не надеется, все от нее бегут да около кое-чего побираются. Вон она, мельница-то наша, который уж месяц пустая стоит! Кругом на двадцать верст другой мельницы нет, а для нашей вряд до Филиппова заговенья ¹⁶ помолу достанет. Вот хлеба-то здесь каковы!

Таковы порядки в Монрепо. А здесь, под Инстер-

бургом ¹⁷, сумели и стёк отыскать, и луга расчистить, и коровье житье устроить. Везде канавы чистые, без лозняка, и везде вынутый из канав торф сформован и сложен в стопки. Этим торфом и отапливаются, и сдабривают поля. Даже лес – и тот совсем не так безнадежно здесь смотрит, как привыкли думать мы, отапливающие кизяком и гречневой шелухой наши жилища на берегах Лопани и Ворсклы. С чего-то мы вообразили себе (должно быть, Печорские леса слишком часто нам во сне снятся) ¹⁸, что как только перевалишь за Вержболово, так тотчас же представится глазам голое пространство, лишённое всякой лесной растительности. «Кабы не мы, немцу протопиться бы нечем» – эта фраза пользуется у нас почти такую же популярностью, как и та, которая удостоверяет, что без нашего хлеба немцу пришлось бы с голоду подохнуть. В действительности же все горы Германии покрыты отличным лесом, да и в Балтийском поморье недостатка в нем нет. Вот под Москвой, так точно что нет лесов, и та цена, которую здесь, в виду Куришгафа, платят за дрова (до 28 марок за клафтер, около $1\frac{1}{2}$ саж. нашего швырка), была бы для Москвы истинной благодатью, а для берегов Лопани, пожалуй, даже баснословием. И заметьте, что если цена на топливо здесь все-таки достаточно вы-

сока, то это только потому, что Германия вообще скупа на те произведения природы, которые возобновляются лишь в продолжительный период времени. А припустите-ка сюда похозяничать русского лесничего с двумя-тремя русскими лесопромышленниками – они разом все рынки запрудят такой массой дров, что последние немедленно подешевеют наполовину...

Мне скажут, может быть, что прусское правительство исстари производило в восточной Пруссии опыты разработки земли в обширных размерах и тратило на это громадные суммы без всякой надежды на их возврат... Что ж! против этого я, конечно, ничего возразить не имею.

Между тем наш поезд на всех парах несся к Кенигсбергу; в глазах мелькали разноцветные поля, луга, леса и деревни. Физиономия крестьянского двора тоже значительно видоизменилась против довержболовской. Изба с выбеленными стенами и черепичной крышей глядела веселее, довольнее, нежели довержболовский почерневший сруб с всклокоченной соломенной крышей. Это было *жилище*, а не изба в той форме, в какой мы, русские, привыкли себе ее представлять.

Я смотрел вместе с прочими на эту картину и невольно задумывался. Я не скажу, чтоб сравнения, которые при этом сами собой возникали, были обид-

ны для моего самолюбия (у меня на этот случай есть в запасе прекрасная поговорка: моя изба с краю), но не могу скрыть, что чувствовалась какая-то непобедимая неловкость. Передо мной воочию метался тот «повинный работе» человек, который, выбиваясь из сил, надрываясь и проливая кровавый пот, в награду за свою вечную страду получит кусок мякинного хлеба. Есть что-то мучительно загадочное в этом сопоставлении мякинного хлеба и вечной страды. Каким образом выработалось это сопоставление, и почему оно вылилось в такую неподвижную форму, что скорее можно разбить себе лоб, чем видоизменить ее? Ужели на этот вопрос никогда не будет другого ответа, кроме: не твое дело?

Пусть читатель не думает, однако ж, что я считаю прусские порядки совершенными и прусского человека счастливейшим из смертных. Я очень хорошо понимаю, что среди этих отлично возделанных полей речь идет совсем не о распределении богатств, а исключительно о накоплении их; что эти поля, луга и выбеленные жилища принадлежат таким же толстосумам-буржуа, каким в городах принадлежат дома и лавки, и что за каждым из этих толстосумов стоят десятки кнехтов¹⁹, в пользу которых выпадает очень ограниченная часть этого красивого довольства.

Я нимало не сомневаюсь, что в звании кнехта очень

мало лестного, но разве кнехты родятся, только начиная с Эйдткунена? разве политико-экономические основания, которые практикуются под Инстербургом, не совершенно равносильны тем, которые практикуются и под Петергофом? Увы! я совершенно искренно убежден, что в этом отношении обе местности могут аттестовать себя равно способными и достойными и что инстербургский толстосум едва ли даже не менее жаден, нежели, например, купец Колупаев, который разостлал паутину кругом Мопрепо. Я знаю, что многие думают так: мы бедны, но зато у нас на первом плане распределение богатств; однако ж, по мнению моему, это только одни слова. Поверьте, что в Петергофском уезде распределение богатств гораздо в большей степени зависит от господина Колупаева, нежели в Инстербургском уезде от господина Гехта (Hoescht – щука). И я убежден, что если бы Колупаеву даже во сне приснилось распределение, то он скорее сам на себя донес бы исправнику, нежели допустил бы подобную пропаганду на практике. Стало быть, никакого «распределения богатств» у нас нет, да, сверх того, нет и накопления богатств. А есть простое и наглое расхищение.

И еще говорят: в России не может быть пролетариата, ибо у нас каждый бедняк есть член общины и наделен участком земли. Но говорящие таким об-

разом прежде всего забывают, что существует громадная масса мещан, которая исстари не имеет иных средств существования, кроме личного труда, и что с упразднением крепостного права к мещанам присоединилась еще целая масса бывших дворовых людей, которые еще менее обеспечены, нежели мещане. А кроме того, забывают еще и то, что около каждого «обеспеченного наделом»²⁰ выскочил Колупаев, который высоко держит знамя кровопивства, и ежели назовет еще «обеспеченных» кнехтами, то уже довольно откровенно отзывается об мужике, что «в ём только тогда и прок будет, коли ежели его с утра до ночи на работе морить».

Вместо того чтоб уверять все, что вопрос о распределении уже разрешен нами на практике, мне кажется, приличнее было бы взглянуть в глаза Колупаевым и Разуваевым и разоблачить детали того кровопивственного процесса, которому они предаются без всякой опаски, при свете дня. *Cur? quomodo?*⁴ и в особенности – *quibus auxiliis*²¹.⁵ Вот, если это *quibus auxiliis* как следует выяснить, тогда сам собою разрешится и другой вопрос: что такое современная русская община и кого она наипаче обеспечивает, общин-

⁴ Почему? каким образом?

⁵ с чьей помощью?

ников или Колупаевых?

А то выдумали: нечего нам у немцев заимствовать-ся; куда-де они над «накоплением» корпят, мы, того гляди, и политическую-то экономию совсем упраздним ²². Так и упразднили... упразднители! Вот уже прослышит об вашем самохвальстве купец Колупаев, да quibus auxiliis и спросит: а знаете ли вы, робята, как Кузькину сестрицу зовут? И придется вам на этот вопрос по сущей совести ответ держать.

Вообще я полагаю, что у нас практически заниматься вопросом о «распределении богатств» могут только Политковские да Юханцевы ²³. Эти не поцеремонятся: придут, распределят, и никто их ни потрясателями основ, ни сеятелями превратных толкований не назовет, потому что они воры, а не сеятели. Да и теоретически заняться этим вопросом, то есть разговаривать или писать об нем, – тоже дело неподходящее, потому что для этого нужно выполнить множество подготовительных работ по вопросам о Кузькиной сестре, о бараньем роге, о Макаре, телят не гонящем, об истинном значении слова «фюить» и т. п. Спрашивается: много ли найдется людей, которым такой труд по силам? Напротив того, в Инстербурге подготовительные работы этого рода уже упразднены, так что теоретической разработкой вопроса о распределении можно заниматься и без них. Ибо это вопрос

человеческий, а здесь с давних пор повелось, что человеку о всех, до человека относящихся вопросах, и говорить, и рассуждать, и писать свойственно. У нас же свойственно говорить, рассуждать и писать: ура!

Итак, в Эйдткунене кнехты и в Вержболове кнехты, в Эйдткунене – господин Гехт, в Вержболове – господин Колупаев; в Эйдткунене нет распределения, но есть накопление; в Вержболове тоже нет распределения, но нет и накопления. Вот в каком положении находятся дела. Однако ж я был бы неправ, если бы скрыл, что на стороне Эйдткунена есть одно важное преимущество, а именно: общее признание, что человеку свойственно человеческое. Допустим, что признание это еще робкое и неполное и что господин Гехт, конечно, употребит все от него зависящее, чтоб не допустить его чрезмерного распространения, но несомненно, что просвет уже существует и что кнехтам от этого хоть капельку да веселее.

Мне кажется, что это признание есть начало всего и что из него должно вытечь все то разумное и благое, на чем зиждется прочное устройство общества. Только тогда, когда это признание сделается совершившимся фактом, смягчатся нравы, укротится людская дикость, исчезнут расхитители, процветут науки и искусства и даже начнут родиться «буйные» хлеба. И ежели раз общество добилось этого признания,

то нужно, чтоб оно держалось за него крепко и помнило всеминутно, что, чем шире прольется в жизнь струя «человеческого», тем светлее, счастливее, благодатнее будет существование самого общества. Но, во всяком случае, достижение этого признака должно быть первою и главнейшею целью всего общества, и худо рекомендует себя та страна, где сейчас слышится: отныне вы можете открыто выражать ваши мысли и желания, а следом за тем: а нуте, посмотрим, как-то вы будете открыто выражать ваши мысли и желания! Или: отныне вы будете сами свои дела ведать, а следом за тем: а нуте попробуйте и т. д. Такому обществу ничего другого не остается, как дать подписку, что члены его все до единого, от мала до велика, во всякое время помирать согласны.

* * *

Надо сказать правду, в России в наше время очень редко можно встретить довольного человека (конечно, я разумею исключительно культурный класс, так как некультурным людям нет времени быть недовольными). Кого ни послушаешь, все на что-то негодуют, жалуются, вопиют. Один говорит, что слишком мало свобод дают, другой, что слишком много; один ропщет на то, что власть бездействует, другой – на то, что

власть чересчур достаточно действует; одни находят, что глупость нас одолела, другие – что слишком мы умны стали; третьи, наконец, участвуют во всех пако-стях и, хохоча, приговаривают: ну где такое безобра-зие видано?! Даже расхитители казенного имущества – и те недовольны, что скоро нечего расхищать будет. И всякий требует лично для себя конституции: мне, говорит, подай конституцию, а прочие пусть по-преж-нему довольствуются ранами и скорпионами.

Эта всеобщность недовольства ²⁴, сопряженная с пожеланием самых приятных проектов лично для се-бя и с полнейшим равнодушием относительно жиз-ненной обстановки соседа, представляется для ме-ня фактом тем более замечательным, что фрондер-ство, по-видимому, заползает в сердце самых твер-дых. И вдобавок фрондерство до того разношерст-ное, что уловить оттенки его (а стало быть, и удовле-творить капризные требования этих оттенков) нет ни-какой возможности. За примерами ходить недалеко. Когда делили между чиновниками сначала западные губернии, а впоследствии Уфимскую ²⁵, то мы были свидетелями явлений, поистине поразительных. Ка-залось бы, уж на что лучше: урвал кусок казенного пирога – и проваливай! Так нет же, тут-то именно и разыгрались во всей силе свары, ненависть, глумле-ние и всякое бесстыжество, главною мишенью для ко-

торых – увы! – послужила именно та самая неоскудевающая рука, которая и дележку-то с тою специальною целью предприняла, чтоб угобзить господ чиновников и, само собой разумеется, в то же время положить начало корпорации довольных. Пускай, мол, хоть малый прыщ вначале вскочит, а потом, не торопясь да богу помолясь, и большого волдыря дождемся...

А между тем вышло совсем, совсем напротив.

Я помню, иду я в разгар одного из таких дележей по Невскому и думаю: непременно встречу кого-нибудь из знакомых, который хоть что-нибудь да утащил. Узнаю, как и что, да тут же уж кстати и поздравлю с благополучным похищением. И точно, едва я успел сойти с Аничкина моста, смотрю, его превосходительство Петр Петрович идет.

– Урвали? – спрашиваю.

– Помилуйте! на что похоже! выбросили кусок, да еще ограничивают! Говорят, пользуйся так-то и так-то: лесу не руби, травы не мни, рыбы не лови! А главное, не смей продавать, а эксплуатируй постепенно сам! Ведь только у нас могут *проходить даром* подобные нелепости.

– Сс... да ведь, я думаю, это больше на бумаге, а на деле, вероятно...

– Еще бы! Поймите, разве естественно, чтоб чело-

век сам себе зложелательствовал! Лесу не руби! ах, черт побери! Да я сейчас весь лес на сруб продал... ха-ха!

Пройдя еще несколько шагов, встречаю его превосходительство Ивана Иваныча.

– Урвали?

– Получил, между прочим, и я; да, кажется, только грех один. Помилуйте! плешь какую-то отвалили! Ни реки, ни лесу – ничего! «Чернозём», говорят. Да черта ли мне в вашем «чернозёме», коли цена ему – грош! А коллеге моему Ивану Семенычу – оба ведь под одной державой, кажется, служим – тому такое же количество леса, на подбор дерево к дереву, отвели! да при реке, да в семи верстах от пристани! Нет, батенька, не доросли мы! Ой-ой, как еще не доросли! Оттого у нас подобные дела и могут *проходить даром!*

– Ваше превосходительство! да вы бы на место съездили, осмотрелись бы, посоветовались бы, да и тово... В старину говаривали: по нужде и закону премена бывает, а нынче то же изречение только в другой редакции выразить – смотришь, и выйдет: по нужде и чернозёму премена бывает?! И будет у вас вместо плешу густорастущий лес!

– А что вы думаете, ведь это идея! съездить разве в самом деле... ха-ха! Ведь у нас... Право, отличная штука выйдет! Все была плешь, и вдруг на

ней строевой лес вырос... ха-ха! Ведь у нас волшебства-то эти... ха-ха! Благодарю, что надоумили! Съезжу, непременно съезжу... ха-ха!

Еще несколько шагов – идет навстречу его превосходительство Терентий Терентьевич. Этот даже вопроса не выжидает, прямо заливается-хохочет.

– Ха-ха! ведь и меня наделили! Как же! заполучил-таки тысячки две чернозёмцу! Вот так потеха была! Хотите? – говорят. Ну, как, мол, не хотеть: с моим, говорю, удовольствием! А! какова потеха! Да, батенька, только у нас такие дела могут *даром проходить!* Да-с, только у нас-с. Общественного мнения нет, печать безмолвствует – валяй по всем по трем! Ха-ха!

Вот какие результаты произвел факт, который в принципе должен был пролить мир и благоволение в сердцах получателей. Судите по этим образчикам, насколько наивны должны быть люди, которые мечтают, что есть какая-нибудь возможность удовлетворить человека, который урывает кусок пирога и тут же выдает головой и самого себя, и своих убогатворителей?

Но ежели такое смешливое настроение обнаруживают даже люди, получившие посильное угобжение, то с какими же чувствами должны относиться к дирижирующей современности те, которые не только ничего не урвали, но и в будущем никакой надежды на угобжение не имеют? Ясно, что они должны представ-

лять собой сплошную массу волнуемых завистью людей.

– Сказывают, что в Вятской губернии еще полезные лесочки втуне лежат? – говорил мне на днях один бесшабашный советник, о котором при дележках почему-то не вспомнили.

Перед этим он только что сквернословил, роптал и вопил. Рассказывал расхитительные анекдоты, цитировал свой формулярный список, перечислял по пальцам свои формулярные преступления и доказывал как дважды два, что преступления, совершенные теми, которым судьба поблагоприятствовала при дележке, ничто в сравнении с теми, которые выпали на долю его обделенного бесшабашного советника. И вдруг, в самом разгаре сквернословия, вспомнил, что остается еще в резерве Вятская губерния, и умилился. Ласковыми глазами глянул он мне в глаза, как бы ища в них подтверждения, что Вятская губерния еще не ушла. Глядел и как-то покорно ждал. Однако ж я, по совести, не мог доставить ему искомого утешения. Во-первых, я должен был указать ему, что ныне начальство строгое и никаких территориальных усовершенствований ради него, бесшабашного советника, в Вятской губернии не допустит; во-вторых, я вынужден был объяснить, что хотя и действительно слыхивал о полезных лесочках в Вятской губернии, но это было

уж очень давно, так что теперь от этих лесочков, вероятно, остались одни пеньки.

– Ну вот! – воскликнул он горестно, – не говорил ли я вам! Где это видано! где допустили бы такое расхищение! давно ли такая, можно сказать, непроходимость была – и вдруг налицо одни пеньки!

И вновь во всю мочь принялся сквернословить, роптать на начальство и вопиять об отмщении.

Вообще было бы и любопытно и поучительно изучить современную культурную Россию с точки зрения сквернословия. Рассмотреть в подробности этих алчущих наживы, вечно хватающих и все-таки живущих со дня на день людей; определить резон, на основании которого они находят возможным существовать, а затем, в этой бесшабашной массе, отыскать, если возможно, и человека, который имеет понятие о «собственных средствах», который помнит свой вчерашний день и знает наверное, что у него будет и завтрашний день. Увы! я вполне искренно убежден, что работа будет трудная, так как люди второй категории составляют положительную диковину.

Петербург полон наглыми, мечущимися людьми, которые хватают и тут же сыплют нахватанным, которые вечно глотают и никогда не насыщаются, и вдобавок даже не дают себе труда воздерживаться от цинического хохота, который возбуждает в них самих их

безнаказанность. Могут ли эти люди сознавать себя довольными? Могут ли они не скрежетать зубами, видя, что жизнь, несмотря на то, что они всячески стараются овладеть ею, все-таки не представляет вполне обеспеченного завтрашнего дня? Нет, по совести, не могут. Ибо самое беспорядочное положение вещей – и то не в состоянии удовлетворить той беспредельной жажды стяжания, той суеты и беспорядочности, которые в их глазах составляют истинный идеал беспечального жития. Вечный праздник, вечное скитание на чужой счет – очевидно, что никакое начальство, как бы оно ни было всемогуще, не может бессрочно обеспечить подобное существование.

Что же касается до провинций, то, по моему мнению, масса ропщущих и вопиющих должна быть в них еще компактнее, хотя причины, обуславливающие недовольство, имеют здесь совершенно иной характер. Все здесь соединилось, чтоб из бесконечно-го нитья сделать обычный провинциальный *modus vivendi*.⁶ И голодное житье, и неспособность приспособиться к новым условиям жизни, и насильственная праздность, и удаленность от пирога, и отсутствие правильных устоев жизни – все идет навстречу провинциалу, все ставит ему непреодолимые препоны на пути, все запутывает, заставляет останавливаться в

⁶ образ жизни

недоумении. Выкупные ссуды проедены или прожиты так, что почти, можно сказать, спущены в ватерклозет. Железнодорожными концессиями воспользовались немногие шустрые, которые украли и удрали в Петербург. Правда, остаются еще мировые ссуды и земства, около которых можно бы кой-как пощечиться, но, во-первых, ни те, ни другие не в силах приютить в своих недрах всех изувеченных жизнью, а, во-вторых, разве «благородному человеку» можно остаться довольным какими-нибудь полутора-двумя тысячами рублей, которые предоставляет нищенское земство? Мне скажут, может быть, что и в провинции уже успело образоваться довольно компактное сословие «кровопивцев», которые не имеют причин причислять себя к лику недовольных; но ведь это именно те самые люди, о которых уже говорено выше и которые, в одно и то же время и пирог зубами рвут, и глумятся над рукою, им благодееющею.

– Ну, уж времечко! – говорит купец Колупаев соседу своему купцу Разуваеву, удивляясь, что оба они сидят на воле, а не в остроге.

– Такое время, Иван Прокофьич, что только не зевай! – поясняет купец Разуваев.

– Так-то так, а только... И откуда только они берутся, эти деньги, прах их побери!

И оба уходят, каждый под свою смоковницу, оба

продолжают кровопивствовать, и каждый в глубине души говорит: «Ну, где ж это видано! у каких таких народов слыхано... ах, прах те побери!»

Нет, даже Колупаев с Разуваевым – и те недовольны. Они, конечно, понимают, что «жить ноне очень способно», но в то же время не могут не тревожиться, что есть тут что-то «необнакавенное», чудное, что, идя по этой покатоности, можно, того гляди, и голову свернуть. И оба начинают просить «констинтунциев»... Нам чтоб «констинтунциев» дали, а толоконников чтоб к нам под начал определили ²⁶, да чтоб за печатью: и ныне и присно и во веки веков.

.....

Натурально, я понимал, что около меня целый вагон кишит фрондерами, и только ожидал отвала из Эйдткунена, чтоб увидеть цветение этого фрондерства в самом его разгаре. Но, признаюсь, всего более меня интересовали в этом отношении бесшабашные советники. Наравне с другими, они любознательно вглядывались в расстилавшуюся по обеим сторонам дороги долину, и почему-то мне казалось, что они делают это неспроста. Наверное, думалось мне, они смотрят и в то же время какое-нибудь мероприятие выдумывают. Не вроде тех, какие у нас, «в прекрас-

ном далеко», через час по ложке прописывают ²⁷, а такое, чтоб сразу совсем тошно сделалось. Уже за границей, на досуге, выдумают, а домой приедут, изложат. Сколько смеху-то будет!

Говоря по совести, бесшабашные советники не только мне не претят, но я чувствую к ним почти непозволительную слабость. Все в них мне нравится: и неожиданность суждений, и безыскусственная несвязность речей, и простодушная готовность во всякое время совершить какое угодно мероприятие. Даже трещина в черепе, которая постепенно, по мере утолщения формулярного списка, у каждого из них образовывается, – и та не представляется мне зазорною, ибо я знаю, что она установлена для того, чтоб предписания начальства быстрее доходили по назначению. Бояться бесшабашных советников я, конечно, считаю своею прирожденною обязанностью, но боюсь не потому, чтоб они представлялись мне преисполненными злобы, а потолику, поколику они являются вместителями казенного интереса. По казенной надобности они воспламеняются и свирепеют с изумительной легкостью, но в домашнем быту, и в особенности на водах за границей, они такие же люди, как и прочие. У большинства их есть семейства, в которых они являются нежными супругами и любящими отцами, а у некоторых, сверх того, имеются и францужен-

ки, которых они, разумеется, содержат на казенный счет. В качестве партикулярных людей многие из них не прочь почитать и даже «писнуть» что-нибудь, в карамзинско-державинском роде ²⁸. Затем все вообще любят получать хорошие содержания и аренды. Словом сказать, это обыкновенные «русские люди», у которых брюхо болит, если где плохо лежит. Разумеется, однако ж, если б меня спросили, могу ли я хоть на один час поручиться, чтоб такой-то бесшабашный советник, будучи предоставлен самому себе, чего-нибудь не накуролесил, то я ответил бы: нет, не могу! Но так как никто об этом меня не спрашивает, то я ограничиваюсь тем, что озираюсь по сторонам и шепчу: твори, господи, волю свою! И затем, когда встречаюсь с бесшабашным советником лицом к лицу, то стоит только мне представить себе, что я иду мимо монумента, который, того гляди, на меня упадет, — и я спокоен. Ну, упадет, ну, раздавит — только и всего. А может быть, и не на меня упадет, а на другого, или и совсем ни на кого не упадет, а просто останется стоять на страх врагам. Ибо, повторяю, тут все зависит от того, какая в данную минуту казенная надобность на очереди состоит.

Вообще я весьма неохотно завиняю людей и знаю очень мало таких, которые были бы с ног до головы противуестественны. Но не могу умолчать, что де-

ательность большинства встречаемых нами нежных супругов и любящих отцов очень мало мне симпатична. Есть между ними такие, которые представляют собой как бы неистощимый сосуд вреднейших мероприятий, и есть другие, которые хотя самостоятельно мероприятий не выдумывают, но имеют специально усугублять вредоносную сущность чужих выдумок. Бывают даже такие личности, которые, покуда одеты в партикулярное платье, перелагают Давидовы псалмы ²⁹, а как только наденут вицмундир, так тотчас же начинают читать в сердцах посторонних людей, хотя бы последние совсем их об этом не просили. Вот почему я не со всяким встречным связываюсь и предпочитаю быть осторожным с людьми, не помнящими родства. Однажды со мной, по неопытности, ужаснейший случай был. Ходил я в Эмсе вокруг курзала и, по обыкновению, «жалел» об отечестве. И вдруг подходит ко мне простодушнейший мужчина, в теплом картузе с козырьком, точно вот сейчас из-под Гадяча выскочил. Словом сказать, один из тех, о которых в песне поется:

У огороди – бузина.
У Києви – дядя,
Я зато тебе люблю,
Що у тебе перстень...

Так вот этот самый «киевский дядя» подходит и голосом, исполненным умиления, говорит:

– Так и вы нашу Россию жалеете? Ах, как приятно! Признаюсь, я на здешней чужбине только тем и утешаюсь, что вместе с великим Ломоносовым восклицаю:

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь человек...³⁰

Не успел я опомниться, как он уж держал мою руку в своих и крепко ее жал. И очень возможно, что так бы и привел он меня за эту руку в места не столь отдаленные, если б из-за угла не налетел на нас другой соотечественник и не закричал на меня:

– Вы это что делаете? вы кому руку-то жмете? ведь это...³¹

И он назвал его «постоянное занятие»...

Как я уже сказал выше, мне пришлось поместиться в одном спальном отделении с бесшабашными советниками. Естественно, мы некоторое время дичились друг друга. Старики вполголоса переговаривались между собой и, тихо воркуя, сквернословили. Оба были недовольны, оба ссылались на графа Михаила Николаевича и на графа Алексея Андреича,

оба сетовали не то на произвол власти, не то на умаление ее – не поймешь, на что именно. Но что меня всего больше огорчило – оба искали спасения... в конституции!!

– Такую нам конституцию надо, – либеральничал Удав, – чтоб лбы затрещали!

А Дыба, с своей стороны, присовокуплял:

– Покойный граф Михаил Николаевич эту конституцию еще когда провидел! Сколько раз, бывало, при мне самолично говаривал: я им уже пропишу... конституцию!

И в заключение, не входя в дальнейшие разъяснения, оба порешили, что «как там ни вертись, а не минешь что-нибудь предпринять, чтоб „лбы затрещали“». А затем, грозя очами по направлению к Вержболову, перешли к вопросу о „кушах“. Как известно, „конституция“ и „куши“ составляют больное место русской современности, но „конституцию“ понимают смутно и каждый по-своему, а „куши“ всеми понимаются ясно и одинаково. Так было и тут. Как только зашла речь о „кушах“, бесшабашные советники почувствовали себя как рыба в воде и сразу насытили воздух вагона рассказами самого игривого свойства. С одной стороны, приводились бесчисленные примеры благополучного казнокрадства; с другой – произносились имена, высчитывались суммы, указывались лазейки. Без утай-

ки, нараспашку. Одним словом, повествовалось что-то до такой степени необъятное и неслыханное, что меня чуть не бросило в лихорадку. И в заключение опять:

– Именно конституцию прописать надо! такую конституцию, чтоб небу было жарко!

Наконец, наговорившись и нахохотавшись досыта между собой, бесшабашные советники нашли своевременным и меня привлечь к интимному сквернословью.

– Вот здесь хлеба-то каковы! – сказал Дыба, подмигивая мне, – и у нас бы, по расписанию, не хуже должны быть, а вместо того саранча... Ишь ведь! саранчу ухитрились акклиматизировать! Вы как об этом полагаете... а?

К счастью, я вспомнил про „киевского дядю“ и его „постоянное занятие“ и потому отвечал твердо, хотя и почтительно:

– Я так полагаю, ваши превосходительства, что ежели у нас жук и саранча даже весь хлеб поедят, то и тогда немец без нас с голоду подойдет!

Дыба с недоумением взглянул на меня.

– Гм... да, – произнес он, как бы поняв, – это ежели с точки зрения „предостережений“ и розничной продажи...³² Но согласитесь сами, что здесь, под Инстербургом, подобного рода опасения...

– И с розничной продажей, и без розничной продажи, одинаково утверждаю: подохнет немец без нас! – воскликнул я еще с большею настойчивостью.

Столь любезно-верная непреоборимость была до того необыкновенна, что Удав, по старой привычке, собрался было почитать у меня в сердце, но так как он умел читать только на пространстве от Восточного океана до Вержболова, то, разумеется, под Эйдткунем ничего прочесть не сумел.

– Но для чего же вы непременно настаиваете, чтоб немец подох? – спросил он в недоумении.

– Собственно говоря, я никому напрасной смерти не желаю, и если сейчас высказался не в пользу немца, то лишь потому, что полагал, что таковы требования современной внутренней политики. Но если вашим превосходительствам, по обстоятельствам службы, представляется более удобным, чтоб подход русский, а немец торжествовал, то я противодействовать предначертаниям начальства даже в сем крайнем случае не считаю себя вправе.

– Но почему же? почему?

– А потому, ваши превосходительства, что, во-первых, я ничего не знаю. Может быть, для пользы службы необходимо, чтоб русский подход или, по малой мере, обмер? Конечно, если бы он весь подход, без остатка – это было бы для меня лично прискорбно, но ведь

мое личное воззрение никому не нужно, а сверх того, я убежден, что поголовного умертвия все-таки не будет и что ваши превосходительства хоть сколько-нибудь на раззавод да оставите. А во-вторых, я отлично понимаю, что противодействие властям, даже в форме простого мнения, у нас не похваляется, а так как лета мои уже преклонные, то было бы в высшей степени неприятно, если б в ушах моих неожиданно раздалось... фюить!

– Что так! новых-то впечатлений, стало быть, уж не ищите? – любезно осклабился Дыба.

– Довольствуюсь старыми, ваши превосходительства. Люблю свое отечество, но подробно изучать его статистику предпочитаю из устных и печатных рассказов местных исследователей.

– Гм... да... А ведь истинному патриоту не так подобает... Покойный граф Михаил Николаевич недаром говаривал: путешествия в места не столь отдаленные не токмо не вредны, но даже не без пользы для молодых людей могут быть допускаемы, ибо они формируют характеры, обогащают умы понятиями, а сверх того разжигают в сердцах благородный пламень любви к отечеству! Вот-с.

– Знаю я это, ваши превосходительства, – ответил я кротко, – но думаю, что и независимо от путешествий люблю свое отечество самым настоящим ма-

нером. А именно: люблю ваши превосходительства и считаю священнейшею обязанностью исполнять все ваши предначертания. Знаю, что вам наверху виднее, и потому думаю лишь о том, чтоб снискать ваше расположение. Ежели я в этом успею, то у меня будет избыточествовать и произбыточествовать; если же не успею, то у меня отнимется и последнее. Вот в каком смысле я понимаю любовь к отечеству, а все прочие сорта таковой отвергаю, яко мечтательные. Полагаю, что этого достаточно?

– Гм... однако ж, в литературе не часто приходится читать подобные благоразумные мнения, – приятно огрызнулся Дыба.

– Ваши превосходительства! позвольте вам доложить! Я сам был много в этом отношении виноват и даже готов за вину свою пострадать, хотя, конечно, не до бесчувствия... Долгое время я думал, что любовь к отечеству выше даже любви к начальственным предписаниям; но с тех пор как прочитал брошюры г. Цитовича³³, то вполне убедился, что это совсем не любовь к отечеству, а фанатизм, и, разумеется, поспешил исправиться от своих заблуждений.

Это было высказано с такою горячего искренностью, что и Дыба и Удав – оба были тронуты.

– Может быть! может быть! – задумчиво молвил Дыба, – мне самому, по временам, кажется, что иногда

мы считаем человека заблуждающимся, а он между тем давно уже во всем принес оправдание и ожидает лишь случая, дабы запечатлеть... Как вы полагаете, ваше превосходительство? – обратился он к Удаву.

– На этот случай я могу рассказать вашему превосходительству следующее истинное происшествие, о котором мне передавал мой духовник, – отвечал Удав. – Жили в одном селении две Анны, и настал час одной из них умирать. Только послал бог к ней по душу своего ангела, а ангел-то и ошибись: вместо того, чтоб взять душу у подлежащей Анны, взял ее у другой. Хорошо-с. Та ли Анна, другая ли Анна – все равно приходится повам хоронить. И что ж! только что стали новопреставленную Анну на литии поминать, как вдруг сверху голос: Анна, да не та! Так точно, думается мне, и в настоящем случае: часто мы себе человека нераскаянным представляем, а он между тем за раскаяние давно уж в титулярные советники произведен. Федот, да не тот!

Высказавшись таким образом, мы подивились премудрости и на минуту смолкли.

– А впрочем, по нынешнему времени и мудреного мало, что некоторые впадают в заблуждения, – задорливо начал Дыба, – нельзя! Посмотрите, что кругом делается?

Где власть? где, спрашиваю вас, власть? Намед-

нись прихожу за справкой в департамент Расхищений и Раздач³⁴ – был уж второй час – спрашиваю: начальник отделения такой-то здесь? – Они, говорят, в три часа приходят. – А столоначальник здесь? – И они, говорят, раньше как через час не придут. – Кто же, спрашиваю, у вас дела-то делает? – Так, поверите ли, даже сторожа смеются!

– И после этого жалуются, что авторитеты попораны! основы потрясены!

– Нет, хорошо, что литература хоть изредка да подбадривает... Помилуйте! личной обеспеченности – и той нет! Сегодня – здесь, а завтра – фюить!

Сказавши это, Удав совсем было пристроился, чтоб непременно что-нибудь в моем сердце прочитает. И с этою целью даже предложил вопрос:

– Ну, а вы... как вы насчет этой личной обеспеченности... в газетах нынче что-то сильно об ней поговаривают...

– И на этот счет могу вашим превосходительствам доложить, – ответил я, – личная обеспеченность – это такое дело, что ежели я сижусь смиренно, то и личность моя обеспечена, а ежели я начну фыркать да фордыбачить, то, разумеется, никто за это меня не похвалит. Сейчас за ушко да на солнышко – не прогневайся!

– Не прогневайся! – словно эхо, хотя вполне машинально, повторили Дыба и Удав.

– Потому что, по мнению моему, только то общество можно назвать благоустроенным, где всякий к своему делу определен. Так, например: ежели в расписании сказано, что такой-то должен получать дани, – тот пусть и получает; а ежели про кого сказано, что такой-то обязывается уплачивать дани, – тот пусть уплачивает. А не наоборот.

– А не наоборот! – повторили бесшабашные советники, дивясь моему разуму.

– Если же мы станем фордыбачить, да не захотим по расписанию жить, то нас за это – в кутузку!

– В кутузку! – повторило эхо.

Но, испустив это восклицание, бесшабашные советники спохватились, что, по выезде из Эйдткунена, даже по расписанию положено либеральничать, и потому поспешили поправиться.

– Но по суду или без суда? – почти испуганно спросил меня Дыба.

– И по суду, и без суда – это как будет вашим превосходительствам угодно. Но что касается до меня, то я думаю, что без суда, просто по расписанию, лучше.

– Од-на-ко?!

– Я знаю, вашим превосходительствам угодно, вероятно, сказать, что в последнее время русская печать в особенности настаивала на том, чтоб всех русских жарили по суду ³⁵. Но я – не настаиваю. Прежде,

грешный человек, и я думал, что по суду крепче, а теперь вижу, что крепко и без суда. Вместо того, чтоб судиться, да по мытарствам ходить, я лучше прямо к вашим превосходительствам приду: виноват! Вы меня в одну минуту рассудите. Ежели я не очень виноват – сейчас меня мерами кротости доймете, а ежели виноват кругом – фюить! По пословице: любишь кататься, люби и саночки возить... не прогневайся!

– Не прогневаться! – цыркнул было Дыба, но опять спохватился и продолжал: – Позвольте, однако ж! если бы мы одни на всем земном шаре жили, конечно, тогда все равно... Но ведь нам и без того в Европу стыдно нос показать... надо же принять это в расчет... Неловко.

– А если неловко, то надо такой суд устроить, чтоб он был и все равно как бы его не было!

– **Вот...** это отлично!

– И все это я говорю перед вашими превосходительствами по сущей совести, так точно, как в том ответ перед вышним начальством дать надлежит!

Как ни лестно было для бесшабашных советников это признание, однако ж они сидели друг против друга и недоверчиво покачивали головами.

– Послушайте, однако ж! – сказал Удав, – а как же вы насчет этих расхищений полагаете? Ужели же и это можно... простить?

Он даже не договорил от волнения (очевидно, он принадлежал к числу „позабытых“), и в глазах его сверкнула слеза любостяжания.

– Расхищений не одобряю, – твердо ответил я, – но, с другой стороны, не могу не принять в соображение, что всякому человеку сладенького хочется.

После такого категорического ответа Удаву осталось только щелкнуть языком и замолчать. Но Дыба все еще не считал тему либерализма исчерпанною.

– Вот вы бы все это напечатали, – сказал он не то иронически, не то серьезно, – в том самом виде, как мы сейчас говорили... Вероятно, со стороны начальства препятствий не будет?

– У нас, ваши превосходительства, для выражения похвальных чувств никогда препятствий не бывает. Вот ежели бы кто непохвальные чувства захотел выражать – ну, разумеется, тогда не прогневайся!

– Не прогневайся! – подтвердил Дыба.

– Так вы, значит, думаете, что и свобода книгопечатания у нас существует? – попытался подловить меня Удав.

– У нас все существует, ваши превосходительства, только нам не всегда это известно. Я знаю, что многие отрицают существование свободы печати, но я – не отрицаю.

– Да... да! Чего бы, кажется: суды – дали, печать –

дали, земство – дали, а между тем посмотрите кругом – много ли найдете довольных?

– А я, ваши превосходительства, так даже по горло доволен!

– Вот хоть бы земство, – молвил Дыба, – ну, разве это... мечта?!³⁶

– И насчет земства, ваши превосходительства, скажу: многие сомневаются в его существовании, а я – не сомневаюсь!

– И полагаете, что оно процветет?

– Непременно, ваши превосходительства, процветет. Вообще я полагаю, что мы переживаем очень интересное время. Такое интересное, такое интересное, что, кажется, никогда и ни в одной стране такого не бывало... Ах, ваши превосходительства!

– Ну, дай бог! дай бог!

Бесшабашные советники набожно перекрестились, и тонкие, обесцвеченные губы их машинально шептали: дай бог! дай бог!

– Но чем же вы объясните, – востропнул Дыба, – отчего здесь на песке такой отличный хлеб растет, а у нас и на черноземе – то дожжичка нет, то чересчур его много? И молебны, кажется, служат, а все хлебушка нет?

– А тем и объясню, ваши превосходительства, что много уж очень свобод у нас развелось. Так что ежели

еще немножечко припустить, так, пожалуй, и совсем хлебушка перестанет произрастать...

Dixi et animam levavi,⁷ или в русском переводе: сказал – и стошнило меня. Дальше этого profession de foi⁸ идти было некуда. Я очень был рад, что в эту минуту наш поезд остановился и шафнер объявил, что мы на полчаса свободны для обеда.

* * *

Между Бромбергом и Берлином я заснул и видел чрезвычайно странный сон. Снилось мне, что я очутился в самой простой немецкой деревне и встретил семи-восьмилетнего крестьянского мальчика... в штанах! Никогда этого со мной не бывало. Много ездил я по нашим деревням, много видал в них крестьянских мальчиков – и всегда без штанов. Бежит кудластый мальчонка по деревенской улице, а ветер так и раздувает подол его замазанной рубашонки. Или шлепает мальчонка босыми ногами по грязи, или, заворотив подол, сидит в луже и играет камешками... ах, бедный! А тут, в немецкой деревне, ни грязи, ни традиционной лужи – ничего такого не видеть, да вдобавок

⁷ Сказал – и облегчил душу

⁸ исповедания веры

еще штаны! Это до такой степени меня заинтересовало, что я поманил мальчика и вступил с ним в разговор.

– Скажи, немецкий мальчик, – спросил я, – ты постоянно ходишь в штанах?

– Когда я в первый раз без посторонней помощи прошел по комнате нашего дома, то моя добрая мать, обращаясь к моему почтенному отцу, сказала следующее: „Не правда ли, мой добрый Карл, что наш Фриц с нынешнего дня достоин носить штаны?“ И с тех пор я расстаюсь с этой одеждой только на ночь.

Мальчик высказал это солидно, без похвальбы, и без всякого глумления над странностью моего вопроса. По-видимому, он понимал, что перед ним стоит иностранец (кстати: ужасно странно звучит это слово в применении к русскому путешественнику; по крайней мере, мне большого труда стоило свыкнуться с мыслью, что я где-нибудь могу быть... иностранцем!!), которому простительно не знать немецких обычаев.

– Изумительно! – воскликнул я, – и ты не боишься запачкать штаны в грязи? ты решаешься садиться в них в лужу?

– Вопрос ваш до крайности удивляет меня, господин! – скромно ответил мальчик, – зачем я буду пачкаться в грязи или садиться в лужу, когда могу иметь для моих прогулок и игр сухие и удобные места? А

главное, зачем я буду поступать таким образом, зная, что это огорчит моих добрых родителей?

– Великолепно! Но знаешь ли ты, немецкий мальчик, что существует страна, в которой не только мальчики, но даже вполне совершеннолетний камаринский мужик – и тот с голой... по улице бежит?

– Я еще не учился географии и потому не смею отрицать, что подобная страна возможна. Но... было бы очень жестоко с вашей стороны так шутить, господин!

– Я нимало не шучу, и ежели хочешь, то могу теперь же познакомить тебя с одним из таких мальчиков.

– Господин! вы в высшей степени возбудили во мне любопытство! Конечно, мне следовало не иначе принять ваше предложение, как с позволения моих добрых родителей; но так как в эту минуту они находятся в поле, и сверх того мне известно, что они тоже очень жалостливы к бедным, то надеюсь, что они не найдут ничего дурного в том, что я познакомлюсь с мальчиком без штанов. Поэтому если вы можете пригласить сюда моего бедного товарища, то я весь к его услугам.

Тогда, по манию волшебства (не надо забывать, что дело происходит в сновидении, где всякие волшебства дозволяются), в немецкую деревню врывается кудластый русский мальчик, в длинной рубахе, подол которой замочен, а ворот замазан мякинным хлебом. И между двумя сверстниками начинается драматиче-

ское представление под названием:

МАЛЬЧИК В ШТАНАХ И МАЛЬЧИК БЕЗ ШТАНОВ ³⁷ *Разговор в одном явлении*

(Эта пьеса рекомендуется для детских спектаклей)

Театр представляет шоссированную улицу немецкой деревни. **Мальчик в штанах** стоит под деревом и размышляет о том, как ему прожить на свете, не огорчая своих родителей. Внезапно в середину улицы вдвигается обыкновенная русская лужа, из которой выпрыгивает **Мальчик без штанов**.

Мальчик в штанах (*конфузясь и краснея в сторону*). Увы! Иностранный господин сказал правду: он без штанов! (*Громко.*) Здравствуйте, мальчик без штанов! (*Подает ему руку.*)

Мальчик без штанов (*не обращая внимания на протянутую руку*). Однако, брат, у вас здесь чисто!

Мальчик в штанах (*настойчиво*). Здравствуйте, мальчик без штанов!

Мальчик без штанов. Пристал как банный лист... Ну, здравствуй! Дай оглядеться сперва. Ишь ведь как

чисто – плюнуть некуда! Ты здешний, что ли?

Мальчик в штанах. Да, я мальчик из этой деревни. А вы – русский мальчик?

Мальчик без штанов. Мальчишко я. Постреленок.

Мальчик в штанах. Постреленок? что это за слово такое?

Мальчик без штанов. А это, когда мамка ругается, так говорит: ах, пострели те горой! Оттого и постреленок!

Мальчик в штанах (*старается понять и не понимает*).

Мальчик без штанов. Не понимаешь, колбаса? еще не дошел?

Мальчик в штанах. Вообще многое, с первого же взгляда, кажется мне непонятным в вас, русский мальчик. Правда, я начал ходить в школу очень недавно, и, вероятно, не все результаты современной науки открыты для меня, но, во всяком случае, не могу не сознаться, что ваш внешний вид, ваше появление сюда среди лужи и ваш способ выразаться сразу повергли меня в величайшее недоумение. Ни мои добрые родители, ни почтеннейшие наставники никогда не предупреждали меня ни о чем подобном... И, во-первых, с позволения вашего, объясните мне, отчего вы, русский мальчик, ходите без штанов?

Мальчик без штанов. Изволь, немец, скажу. Но

прежде ты мне скажи, отчего ты так скучно говоришь?

Мальчик в штанах. Скучно?

Мальчик без штанов. Да, скучно. Мямлишь, канитель разводишь, слюнями давишься. Инда голову разломил.

Мальчик в штанах. Я говорю так же, как говорят мои добрые родители, а когда они говорят, то мне бывает весело. И когда я говорю, то им тоже бывает весело. Еще на днях моя почтенная матушка сказала мне: когда я слышу, Фриц, как ты складно говоришь, то у меня сердце радуется!

Мальчик без штанов. А у нас за такой разговор камень на шею, да в воду. У нас по всей земле такой приказ: разговор чтоб веселый был!

Мальчик в штанах (испуганно). Позвольте, однако ж, русский мальчик! Допустим, что я говорю скучно, но неужели это такое преступление, чтоб за него справедливо было лишить человека жизни?

Мальчик без штанов. «Справедливо»! Эк куда хватил! Нужно, тебе говорят; нужно, потому что такое правило есть.

Мальчик в штанах (хочет понять и не понимает).

Мальчик без штанов. У нас, брат, без правила ни на шаг. Скучно тебе – правило; весело – опять правило. Сел – правило, встал – правило. Задуматься,

слово молвить – нельзя без правила. У нас, брат, даже прыщик и тот должен почесаться прежде, нежели вскочит. И в конце всякого правила или поронцы, или в холодную. Вот и я без штанов, *по правилу*, хожу. А тебе в штанах небось лучше?

Мальчик в штанах. Мне в штанах очень хорошо. И если б моим добрым родителям угодно было лишить меня этого одеяния, то я не иначе понял бы эту меру, как в виде справедливого возмездия за мое неодобрительное поведение. И, разумеется, употребил бы все меры, чтоб вновь возратить их милостивое ко мне расположение!

Мальчик без штанов. Сопляк ты – вот что!

Мальчик в штанах. И этого я не понимаю.

Мальчик без штанов. Дались тебе эти родители! «Добрая матушка», «почтеннейший батюшка» – к чему ты эту канитель завел! У нас, брат, дядя Кузьма намеднись отца на кобеля променял! Вот так раз!

Мальчик в штанах (в ужасе). Ах, нет! это невозможно!

Мальчик без штанов (поняв, что он слишком далеко зашел в деле отрицания). Ну, полно! это я так... пошутил! Пословица у нас такая есть, так я вспомнил.

Мальчик в штанах. Однако, ежели даже пословица... ах, как это жаль! И как бесчеловечно, что такие пословицы вслух повторяют при мальчиках! (Пла-

чет.)

Мальчик без штанов. Завыл, немчура! Ты лучше скажи, отчего у вас такие хлеба рождаются? Ехал я давеча в луже по дороге – смотрю, везде песок да торфик, а все-таки на полях страсть какие суслоны наворочены!

Мальчик в штанах. Я думаю, это оттого, что нам никто не препятствует быть трудолюбивыми. Никто не пугает нас, никто не заставляет производить такие действия, которые ни для чего не нужны. Было время, когда и в нашем прекрасном отечестве все жители состояли как бы под следствием и судом, когда воздух был насыщен сквернословием и когда всюду, где бы ни показался обыватель, навстречу ему несся один неумолимый окрик: куда лезешь? не твое дело! В эту мрачную эпоху головы немцев были до того заколочены, что они сделались не способными ни на какое дело. Земля обрабатывалась небрежно и давала скудную жатву, обыватели жили, как дикие, в тесных и смрадных логовищах, а немецкие мальчишки ходили без штанов. К счастью, эти варварские времена давно прошли, и с тех пор, как никто не мешает нам употреблять наши способности на личное и общественное благо, с тех пор, как из нас не выбивают податей и не ставят к нам экзекуций, мы стали усердно прилагать к земле наш труд и нашу опытность, и земля

возвращает нам за это сторицею. О, русский мальчик! может быть, я *скучно* говорю, но лучше пусть буду я говорить скучно, нежели вести веселый разговор и в то же время чувствовать, что нахожусь под следствием и судом!

Мальчик без штанов (тронутый). Это, брат, правда твоя, что мало хорошего всю жизнь из-под суда не выходить. Ну, да что уж! Лучше давай насчет хлебов... Вот у вас хлеба хорошие, а у нас весь хлеб нынче саранча сожрала!

Мальчик в штанах. Слышал и я об этом и очень об вас жалел. Когда наш добрый школьный учитель объявил нам, что дружественное нам государство страдает от недостатка питания, то он тоже об вас жалел. Слушайте, дети! – сказал он нам, – вы должны жалеть Россию не за то только, что половина ее чиновников и все без исключения аптекаря – немцы, но и за то, что она с твердостью выполняет свою историческую миссию. Как древле, выстрадав иго монголов, она избавила от них Европу, так и ныне, вынося иго саранчи, она той же Европе оказывает неоцененнейшую из услуг!

Мальчик без штанов. Нескладно что-то ты говоришь, немчура. Лучше, чем похабничать-то, ты мне вот что скажи: правда ли, что у вашего царя такие губернии есть, в которых яблоки и вишенья по дорогам

растут и прохожие не рвут их?

Мальчик в штанах. Здесь, под Бромбергом, этого нет, но матушка моя, которая родом из-под Вюрцбурга, сказывала, что в тамошней стороне все дороги обсажены плодовыми деревьями. И когда наш старый добрый император получил эти земли в награду за свою мудрость и храбрость, то его немецкое сердце очень радовалось, что отныне баденские, баварские и другие каштаны будут съедаемы его дорогой и лояльной Пруссией.

Мальчик без штанов. Да неужто деревья по дороге растут и так-таки никто даже яблочка не сорвет?

Мальчик в штанах (изумленно). Но кто же имеет право сорвать вещь, которая не принадлежит ему в собственность?!

Мальчик без штанов. Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас, намеднись, дядя Софрон мимо кружки с керосином шел – и тот весь выпил!

Мальчик в штанах. Но, конечно, он это по ошибке сделал?

Мальчик без штанов. Опохмелиться захотелось, а грошика не было – вот он и опохмелился керосином!

Мальчик в штанах. Но ведь он, наверное, болен сделался?

Мальчик без штанов. Разумеется, будешь болен,

как на другой день при сходе спину взбондируют!

Мальчик в штанах (пугаясь). Ах, неужели у вас...

Мальчик без штанов. А ты думал, гладят?

Мальчик в штанах (окончательно пугается и хочет бежать домой, но мальчик без штанов удерживает его).

Мальчик без штанов. Стой! чего испугался! Это нам, которые из простого звания, под рубашку смотрят, а ведь ты... иностранец?! (Помолчав.) У тебя звание-то есть ли?

Мальчик в штанах. Я – бауер.

Мальчик без штанов. Это мужик, что ли?

Мальчик в штанах. Не мужик, но земледелец!

Мальчик без штанов. Ну да, известно... мужик!

Мальчик в штанах. Нет, земледелец. Мужик – это русский, а у нас – земледелец.

Мальчик без штанов. На-тко, выкуси!

Мальчик в штанах. Ах, русский мальчик, какие вы странные слова употребляете и как, должно быть, недостаточно воспитание, которое вам дают! Я уверен, например, что вы не знаете, что такое бог?

Мальчик без штанов. А бог его знает, что такое бог! У нас, брат, в селе Успленью-матушке престольный праздник показан – вот мы в спожинки его и справляем! ³⁸

Мальчик в штанах (хочет понять и не может).

Мальчик без штанов. Не дошел? Ну, нечего толковать: я и сам, признаться, в этом не тверд. Знаю, что праздник у нас на селе, потому что и нам, мальчишкам, в этот день портки надевают, а от бога или от начальства эти праздники приказаны – не любопытствовал. А ты мне вот еще что скажи: слыхал я, что начальство здешнее вас, мужиков, никогда скверными словами не ругает – неужто это правда?

Мальчик в штанах. Отец мой сказывал, что он от своего дедушки слышал, будто в его время здешнее начальство ужасно скверно ругалось. И все тогдашние немцы до того от этого загрубели, что и между собой стали скверными словами ругаться. Но это было уж так давно, что и старики теперь ничего подобного не запомнят.

Мальчик без штанов. А нас, брат, так и сейчас походя ругают. Кому не лень, только тот не ругает, и всё самыми скверными словами. Даже нам надоело слушать. Исправник ругается, становой ругается, посредник ругается, старшина ругается, староста ругается, а нынче еще урядников ругаться наняли ³⁹.

Мальчик в штанах (испуганно). Но, может быть, это дурная болезнь какая-нибудь?

Мальчик без штанов. То-то что ты не дошел! Правило такое, а ты – болезнь! Намеднись приехал в нашу деревню старшина, увидел дядю Онисима, да как

вцепится ему в бороду – так и повис!

Мальчик в штанах. Ах, боже мой!

Мальчик без штанов. Говорю тебе, надоело и нам. С души прет, когда-нибудь перестать надо. Только как с этим быть? Коли ему сдачи дать, так тебя же засудят, а ему, ругателю, ничего. Вот один парень у нас и выдумал: в вечерни его отпорили, а он в ночь – удавился!

Мальчик в штанах. Ах, как мне вас жаль! как мне вас жаль!

Мальчик без штанов. Чего нас жалеть! Сами себя не жалеем – стало быть, так нам и надо!

Мальчик в штанах (с участием). Не говорите этого, друг мой! Иногда мы и очень хорошо понимаем, что с нами поступают низко и бесчеловечно, но бываем вынуждены безмолвно склонять голову под ударами судьбы. Наш школьный учитель говорит, что это – наследие прошлого. По моему мнению, тут один выход: чтоб начальники сами сделались настолько развитыми, чтоб устыдиться и сказать друг другу: отныне пусть постигнет кара закона того из нас, кто опозорит себя употреблением скверных слов! И тогда, конечно, будет лучше.

Мальчик без штанов. Держи карман! Это, брат, у нас «революцией сверху» называется!

Мальчик в штанах. А мы, немцы, называем это

просто справедливостью. Но откуда вы такое выражение знаете?

Мальчик без штанов. А это у нас бывший наш барин так говорит. Как ежели кого на сходе сечь приговорят, сейчас он выйдет на балкон, прислушивается и приговаривает: вот она, «революция сверху», в ход пошла!

Мальчик в штанах. Ах, нет, я совсем не в том смысле...

Мальчик без штанов. А он у нас во всех смыслах... Выкупные он давно проел, доходов с земли – грош; вот он похаживает у себя по хоромам, да и шутит... во всех смыслах!

Мальчик в штанах. Но каким же образом он живет без доходов? Работает?

Мальчик без штанов. У нас дворянам работать не полагается. У нас, коли ты дворянин, так живи, не тужи. Хошь на солнышке грейся, хошь по ляжке себя хлопай – живи. А чуть к работе пристроился, значит, пустое дело затеял! Превратное, значит, толкование.

Мальчик в штанах. Какой, однако ж, странный народ у вас живет! Находят, что полезнее по ляжке себя хлопать, нежели работать... изумительно!

Мальчик без штанов. Да, брат немец! про тебя говорят, будто ты обезьяну выдумал, а коли поглядеть да посмотреть, так куда мы против вас на выдумки то-

роваты!

Мальчик в штанах. Ну, это еще...

Мальчик без штанов. Верно говорю, я даже пример сейчас приведу. Слыхал я, правда ли, нет ли, что ты такую сигнацию выдумал, что куда хошь ее неси – сейчас тебе за нее настоящие деньги дадут... так, что ли?

Мальчик в штанах. Конечно, дадут настоящие золотые или серебряные деньги – как же иначе!

Мальчик без штанов. А я такую сигнацию выдумал: предъявителю выдается из разменной кассы... плюха!⁴⁰ Вот ты меня и понимай!

Мальчик в штанах (*хочет понять, но не может*).

Мальчик без штанов. И не старайся, не поймешь!

(Оба мальчика задумываются и некоторое время стоят молча.)

Мальчик в штанах. Знаете ли, русский мальчик, что я думаю? Остались бы вы у нас совсем! Господин Гехт охотно бы вас в кнехты принял. Вы подумайте только: вы как у себя спите? что кушаете? А тут вам сейчас войлок хороший для спанья дадут, а пища – даже в будни горох с свиным салом!

Мальчик без штанов. Пища хорошая... А правда ли, немец, что ты за грош черту душу продал?

Мальчик в штанах. Вы, вероятно, про господина Гехта говорите?.. Так ведь родители мои получают от него определенное жалованье...

Мальчик без штанов. Ну да, это самое я и говорю: за грош черту душу продал!

Мальчик в штанах. Позвольте, однако ж! Про вас хуже говорят: будто вы совсем задаром душу отдали?

Мальчик без штанов. Ты про Колупаева, что ли, говоришь? Ну, это, брат... об этом мы еще поговорим... Надоел он нам, го-спо-дин Ко-лу-па-ев!

Мальчик в штанах (резонно). Надоел или не надоел – это ваше дело; но заметьте, что всегда так бывает, когда в взаимных отношениях людей не существует самой строгой определенности. Между родителями моими и г. Гехтом никогда не случилось недоразумений – а почему? Потому что в контракте, ими заключенном, сказано ясно: господин Гехт дает грош, а родители мои – душу. Вот и все. Тогда как вы, русские, всё на какую-то «на водку» надеетесь. И потом, когда вместо «на водки» вас награждают ударами, вы ворчите, что вам... надоело! Сквернословие – надоело, господин Колупаев – надоел... Ну, надоело – что же из этого?

Мальчик без штанов. Погоди, немец, будет и на нашей улице праздник!

Мальчик в штанах. Никогда у вас ни улицы, ни

праздника не будет. Убеждаю вас, останьтесь у нас! Право, через месяц вы сами будете удивляться, как вы могли так жить, как до сих пор жили!

Мальчик без штанов (с некоторым раздражением). Врешь ты! Ишь ведь с гороховицей на свином сале подъехал... диковинка! У нас, брат, шаром покати, да зато занятно... Верное слово тебе говорю!

Мальчик в штанах. Что же тут занятного... «шаром покати»!

Мальчик без штанов. Это-то и занятно. Ты ждешь, что хлеб будет – ан вместо того лебеда. Сегодня лебеда, завтра лебеда, а послезавтра – саранча, а потом – выкупные подавай!⁴¹ Сказывай, немец, как бы ты тут выпутался?

Мальчик в штанах (хочет что-нибудь выдумать, но долгое время не может; наконец выдумывает). Я полагаю, что вам без немцев не обойтись!

Мальчик без штанов. На-тко, выкуси!

Мальчик в штанах. Опять это слово! Русский мальчик! я подаю вам благой совет, а вы затвердили какую-то глупость и думаете, что это ответ. Поймите меня. Мы, немцы, имеем старинную культуру, у нас есть солидная наука, блестящая литература, свободные учреждения, а вы делаете вид, как будто все это

вам не в диковину.⁹ У вас ничего подобного нет, даже хлеба у вас нет, – а когда я, от имени немцев, предлагаю вам свои услуги, вы отвечаете мне: выкуси! Берегитесь, русский мальчик! это с вашей стороны высокоумие, которое положительно ничем не оправдывается!

Мальчик без штанов. Нет, это не от высокоумия, а надоели вы нам, немцы, – вот что! Взяли в полон да и держите!

Мальчик в штанах. Но плен, в котором держит вас господин Колупаев, по мнению моему, гораздо...

Мальчик без штанов. Что Колупаев! С Колупаевым мы сочтемся... это верно! Давай-ка лучше об немцах говорить. Правду ты сказал: есть у вас и культура, и наука, и искусство, и свободные учреждения,¹⁰ да вот что худо: к нам-то вы приходите совсем не с этим, а только чтоб пакостничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека? – немец! кто самый безжалостный педагог? – немец! кто самый тупой администратор? – немец! кто вдохновляет произвол, кто служит для него самым неумоли-

⁹ Прошу читателя помнить, что все это происходит в сновидении, и не удивляться, что немецкий мальчик выражается не вполне свойственным его возрасту языком. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

¹⁰ Со стороны русского мальчика этот способ выражаться еще неестественнее, но, опять повторяю, в сновидении нет ничего невозможного. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

мым и всегда готовым орудием? – немец! И заметь, что сравнительно ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство – тоже, а ваши учреждения – и подавно. Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде. Вы подъезжаете с наукой, а всякому думается, что вы затем пришли, чтоб науку прекратить; вы указываете на ваши свободные учреждения, а всякий убежден, что при одном вашем появлении должна умереть всякая мысль о свободе. Все вас боятся, никто от вас ничего не ждет, кроме подвоха. Вон вы, сказывают, Берлин на славу отстроили, а никому на него глядеть не хочется. Даже свои «объединенные» немцы – и тех тошнит от вас, «объединителей». Есть же какая-нибудь этому причина!

Мальчик в штанах. Разумеется, от необразованности. Необразованный человек – все равно что низший организм, так чего же ждать от низших организмов!

Мальчик без штанов. Вот видишь, колбаса! тебя еще от земли не видать, а как уж ты поговариваешь!

Мальчик в штанах. «Колбаса»! «выкуси»! – какие несносные выражения! А вы, русские, еще хвалитесь богатством вашего языка! Целый час я говорю с ва-

ми, русский мальчик, и ничего не слышу, кроме загадочных слов, которых ни на один язык нельзя перевести. Между тем дело совершенно ясное. Вот уже двадцать лет, как вы хвастаетесь, что идете исполинскими шагами вперед, а некоторые из вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают – и что же оказывается – что вы беднее, нежели когда-нибудь, что сквернословие более, нежели когда-либо, регулирует ваши отношения к правящим классам, что Колупаевы держат в плену ваши души, что никто не доверяет вашей солидности, никто не рассчитывает ни на вашу дружбу, ни на вашу неприязнь... ах!⁴²

Мальчик без штанов. Ахай, немец! а я тебе говорю, что это-то именно и есть... занятное!

Мальчик в штанах. Решительно ничего не понимаю!

Мальчик без штанов. Где тебе понять! Сказывал уж я тебе, что ты за грош черту душу продал, – вот он теперь тебе и застит свет!

Мальчик в штанах. «Сказывал»! Но ведь и я вам говорил, что вы тому же черту задаром душу отдали... кажется, что и эта афера не особенно лестная...

Мальчик без штанов. Так то задаром, а не за грош. Задаром-то я отдал – стало быть, и опять могу назад взять... Ах, колбаса, колбаса!

Но тут разговор внезапно порвался, потому что я

проснулся. Кто-то в нашем отделении вскочил с своего ложа и благим матом кричал: караул! грабят! Это вопиял Удав, которому приснилось, что произошла третья дележка и что его и при этой дележке... опять позабыли!

Через час мы уже подъезжали к Берлину.

II

Переехавши границу, русский культурный человек становится необыкновенно деятельным. Всю жизнь он слыл фатюем, фетишом, фалалеем; теперь он во что бы то ни стало хочет доказать, что по природе он совсем не фатюй, и ежели являлся таковым в своем отечестве, то или потому только, что его «заела среда», или потому, что это было согласно с видами начальства. Он рано встает утром, не спит после обеда, не сидит по целым часам в ватерклозете, и с Бедкером в руках с утра до вечера нюхает, смотрит, слушает, глотает. С лихорадочною страстностью переезжает он с места на место, всходит на горы и сходит с оных, бродит по деревням, удивляется свежести горного воздуха и дешевизне табльдотов, не морщась пьет местное вино, вступает в собеседования с кельнерами и хаускнехтами и наконец, с наступлением ночи, падает в постель (снабженную, впрочем, дерюгой вместо белья и какими-то кисельными комками вместо подушек), измученный бегом и массой полученных впечатлений. Сегодня он едет во Франкфурт и восклицает: вот место рождения Гете! а завтра, в Страсбурге, возвещает: вот, брат, так колокольная! Сегодня, в Интерлакене, не сводит глаз с Юнг-

фрау, а завтра любитесь люцернским раненым львом с надписью: *Helvetiorum virtuti ac fidei*,¹¹ каковую надпись, в шутовском русском тоне, переводит: «Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1790 году, за поденную плату, французское престол-отечество»¹. Не успев познать самого себя – так как насчет этого в России строго, – он очень доволен, что никто ему не препятствует познавать других. Поэтому нет ничего мудреного, что, возвратясь из дневной экскурсии по окрестностям, он говорит самому себе: вот я и по деревням шлялся, и с мужичками разговаривал, и пиво в кабачке с ними пил – и ничего, сошло-таки с рук! а попробуй-ка я таким образом у нас в деревне, без предписания начальства, явиться – сейчас руки к лопаткам и марш к становому... ах, подлость какая! Словом сказать, с точки зрения подвижности, любознательности и предприимчивости, русский культурный человек за границей является совершенной противоположностью тому, чем он был в своем отечестве.

Но здесь я опять должен оговориться (пусть не посетует на меня читатель за частые оговорки), что под русскими культурными людьми я не разумею ни русских дамочек, которые устремляются за границу, потому что там каждый кельнер имеет вид наполеоновско-

¹¹ Доблести и верности швейцарцев

го камер-юнкера, ни русских бонапартистов, которые, вернувшись в отечество, с умилением рассказывают, в какой поразительной опрятности парижские кокотки содержат свои приманки. Равным образом я не стану говорить ни о действующих сановниках, которые, на казенный счет, ставят в тупик Вефура, Бребана и Маньи¹² несбыточностью своих кулинарных мечтаний, ни о сановниках опальных, которые поверяют Юнгфрау свои любезно-верные вздохи и пробуждают жалость в сердцах людей кадетской мудростью своих административно-полицейских выдумок. Я говорю о среднем культурном русском человеке, о литераторе, адвокате, чиновнике, художнике, купце, то есть о людях, которых прямо или косвенно уже коснулся луч мысли, которые до известной степени свыклись с идеей о труде и которые три четверти года живут под напоминанием о местах не столь отдаленных. Понятно, что они рады-радехоньки хоть два-три месяца прожить вне этого напоминания.

Я искренно убежден, что именно только это последнее обстоятельство может побуждать этих людей такими массами устремляться в "чужое место", и именно там, а не на берегах Ветлуги или Чусовой искать от-

¹² Содержатели известных в Париже ресторанов. Впрочем, заранее извиняюсь: быть может, есть имена и более известные. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

дыха от треволнений трудовой жизни. Ужасно приятно прожить хоть несколько времени, не боясь. Необходимость "ходить в струне", памятовать, что "выше лба уши не растут" и что с "суконным рылом" нельзя соваться в "калашный ряд", – это такая жестокая необходимость, что только любовь к родине, доходящая до ностальгии, может примириться с подобным бесчеловечием. Кажется, что может быть проще мысли, что жить в среде людей довольных и небоящихся гораздо удобнее, нежели быть окруженным толпою ропщущих и трепещущих несчастливцев, – однако ж с каким упорством торжествующая практика держится совершенно противоположных воззрений! И сколько еще встречается на свете людей, которые вполне искренно убеждены, что с жиру человек может только беситься и что поэтому самая мудрая внутренняя политика заключается в том, чтоб держать людской род в состоянии более или менее пришибленном! Что же удивительного, что на такие воззрения и жизнь дает вполне соответствующий ответ. С одной стороны, она производит людей-мучеников², которых повсюду преследует представление о родине, но которые все-таки по совести не могут отрицать, что на родине их ожидает разговор с становым приставом; с другой – людей-мудрецов, которые раз навсегда порешили: пускай родина процветает особо, а я буду процветать то-

же особо, ибо лучше два-три месяца подышать полною грудью, нежели просидеть их в «холодной»...

Решительно невозможно понять, почему появление русского культурного человека в русской деревне (если бы даже этот человек и не был местным обывателем) считается у нас чем-то необыкновенным, за что надо вывертывать руки к лопаткам и вести к станному. Почему желание знать, как живет русский деревенский человек, называется предосудительным, а желание поделиться с ним некоторыми небесполезными сведениями, которые повысили бы его умственный и нравственный уровень, – превратным толкованием? Ведь надо же, наконец, чтоб мужик когда-нибудь что-нибудь знал, надо же, чтоб он сознал себя и свое положение и когда-нибудь пожелал для себя лучшего удела, нежели тот, на который он осужден в данную минуту. Говорю: "надо" совсем не в смысле убоготворения мужицкой прихотливости, а просто потому, что без этого знания, без этого стремления к лучшему не может преуспевать страна. Уничтожьте идеалы (хотя бы и мужицкие), заставьте замереть желание лучшего, и вы увидите, как быстро загрузеет окружающая среда. А между тем благосостояние этой среды необходимо и для вас лично, потому что им, и только им одним, обуславливается ваше собственное благосостояние.

Мне скажут, может быть, что во всех этих беседах с "мужичком" и хождениях около него кроется достаточная доля опасности, так как они могут служить удобным орудием для известного рода происков, которые во всех новейших хрестоматиях известны под именем неблагонамеренных. Допустим, пожалуй, что подобные случаи не невозможны, но ведь дело не в том, возможна ли та или другая случайность, а в том, нужно ли эту случайность обобщать? нужно ли крутить руки к лопаткам всякому проходящему? нужно ли заставляя его беседовать с незнакомцем, хотя бы он назывался становым приставом? Ведь не делают же этого под Висбаденом, под Вюрцбургом или под Фонтенбло. Везде – сначала ожидают поступков, и ежели поступков нет, то оставляют человека в покое, а ежели есть поступки, то поступают согласно с обстоятельствами. Но даже и в последнем случае не сажают с закрученными руками в "холодную", а спокойно исследуют. Помилуйте! что это за манера такая – не говоря худого слова, крути руки к лопаткам! ведь это наконец подло! Неужто нельзя обойтись без тумачков, особенно если еще неизвестно, с чем имеешь дело, с превратным или с полезным толкованием?

Я знаю очень много полезных и даже приятного образа мыслей людей, которые прямо говорят: зачем я в деревню поеду – там мне, наверное, руки к лопат-

кам закрутят! В городе я гораздо меньше рискую. Я пишу, вчиняю иски, апеллирую, торгую, играю в карты – все это внешним образом берет мое время и вместе с тем дает мне возможность прятать мысль и избегать возмездий. Если в городе меня спросят, какого я образа мыслей насчет Успленья-матушки, я могу ответить: пасс! восемь в червах, шлем без козырей! – и всякий похвалит мою скромность. Напротив того, в деревне я непременно должен вести партикулярный разговор об Успенье-матушке и непременно иметь собеседником мужика. Не говоря уже о том, что иначе я пропаду со скуки, одичаю, но, сверх того, я положительно не понимаю, почему я обязан воздерживаться от собеседований с мужиком? Почему я, видя человека беспомощным, не имею права подать ему руку помощи? почему, имея возможность сообщить человеку полезный совет, обязываюсь вместо того осквернить его мозги благонамеренными благоглупостями? Ведь наконец в самой природе человеческой есть стремление симпатизировать своему ближнему и желать поднять его духовный уровень до своего духовного уровня! Почему я должен отказать себе в удовлетворении этого естественного требования? Почему, в случае отказа, я обязан иметь по сему предмету объяснение с становым приставом? С человеком, которого супруге я не имел чести быть представленным?

Лучше я совсем не поеду в деревню; пускай она процветает... без меня!

Жалуются, что русская деревня страдает от культурного абсентеизма, но разве может быть иначе? Возьмите самые простые сельскохозяйственные задачи, предстоящие культурному человеку, решившемуся посвятить себя деревне, каковы, например: способы пользоваться землею, расчеты с рабочими, степень личного участия в прибылях, привлечение к этим прибылям батрака и т. п. – разве все это не находится в самой несносной зависимости от каких-то волшебных веяний, сущность которых даже не для всякого понятна? А между тем эти веяния пристигают человека и в самом процессе его деятельности, и во всех последствиях этого процесса. Везде подозрение, везде донос, везде на страже стоит тысячеокий Колупаев, которому, конечно, невыгодно, чтоб "обеспеченный наделом" человек выскользнул из его загребистых рук. Нужно ли, чтобы Колупаев бессрочно оставался владыкою дум "обеспеченных"? Ежели нужно, то не сетуйте на абсентеизм, и пускай страна грубеет, а абориген ее пусть дичает. Если же это нежелательно, то пускай деревня освежится приливом новых, разумных сил, и пускай эти силы не встречаются с первых же шагов с выворачиванием рук и сажанием в "холодную".

Я не говорю, чтоб отношения русского культурного человека к мужику, в том виде, в каком они выработались после крестьянской реформы, представляли нечто идеальное, равно как не утверждаю и того, чтоб благодеяния, развиваемые русской культурой, были особенно ценны; но я не могу согласиться с одним: что приурочиваемое каким-то образом к обычаям культурного человека свойство пользоваться трудом мужика, не пытаясь обсчитать его, должно предполагаться равносильным ниспровержению основ. А у нас, к несчастью, именно этот взгляд и пользуется авторитетом, так что всякий протест против обсчитывания прямо приравнивается к социализму. И, что всего удивительнее, благодаря Колупаевым и спешествующим им *quibus auxiliis*,¹³ сам мужик почти убежден, что только вредный и преисполненный превратных толкований человек может не обсчитать его. Поистине, это ужаснейшая из всех пропаганд. Мало того, что она держит народ в невежестве и убивает в нем чувство самой простой справедливости к самому себе (до этого, по-видимому, никому нет дела), — она чревата последствиями иного, еще более опасного, с точки зрения предупреждения и пресечения, свойства. Ибо ежели в настоящую минуту еще можно сказать, что культурный человек является абсентеистом

¹³ покровителям

отчасти по собственной вине (недостаток мужества, терпения, знаний, привычка к роскоши и т. д.), то, быть может, недалеко время, когда он явится абсентеистом поневоле. И тогда... что станется с нашими исконными «опорами»?

Тем не менее я не могу не признать, что со стороны Колупаевых и их попустителей описанный сейчас образ действий не представляет ничего непонятного. Эти люди настолько угорели под игом стяжания и до того лишены дара провидения, что никакие перспективы будущего не могут волновать их. Но совершенно непонятно, почти страшно, что поощрения в подобном смысле от времени до времени раздаются и в литературе. Признаюсь, я никогда не мог читать без глубокого волнения газетных известий о том, что в такую-то, дескать, деревню явились неизвестные люди и начали с мужичками беседовать, но мужички, не теряя золотого времени, прикрутили им к лопаткам руки и отправили к станковому приставу. В особенности омерзительною казалась мне радостная редакция этих статей. Зачем приходили неизвестные люди, о чем они разговаривали – ничего не видно; достоверно только, что им закрутили руки, чтоб не терять золотого времени. Чему же тут, однако, радоваться? Ведь, может быть, эти "неизвестные" отыскивали способ бороться с саранчой или с колорадским жучком и прихо-

дили в деревню затем, чтоб поделиться своим открытием с ее обитателями? Или, быть может, они желали указать на какую-нибудь новую отрасль промышленности, которая могла бы с успехом привиться в этой местности? Или, наконец, просто хотели объяснить мужичкам, что такое бог? Неужто же это не полезно? А между тем этим полезным "неизвестным людям", не теряя золотого времени, скрутили назад руки...

Прошу читателя извинить меня, что я так часто повторяю фразу о вывернутых назад руках. По-видимому, это самая употребительная и самая совершенная из всех форм исследования, допускаемых обитателями российских палестин в наше просвещенное время. И я убежден, что всякий добросовестный урядник совершенно серьезно подтвердит, что если б этого метода исследования не существовало, то он был бы в высшей степени затруднен в отправлении своих обязанностей.

За всем тем, отнюдь не желая защищать превратные толкования, я все-таки думаю, что первая и наиболее обязательная добродетель для тех, которые, подобно урядникам, дают тон внутренней политике, есть терпение. Система быстрого и немедленного заезжания пользуется у нас уж чересчур большим доверием, и, право, она этого доверия не заслуживает. В сущности, это система дурная, и наименее опасный

из результатов, к которым она приводит, это отсутствие всяких результатов в смысле предупреждения и пресечения³. Если бы дело ограничивалось только этим, то бог бы с нею: пускай утешает бойцов; но есть и существенная опасность, которая ей присуща и которая заключается в том, что «заезжание» может надоесть. Конечно, «мальчик в штанах» был отчасти прав, говоря: «вам, русским, все надоело: и сквернословие, и Колупаев, и тумаки, да ведь до этого никому дела нет?», но сдаётся мне, что и «мальчик без штанов» не был далек от истины, настойчиво повторяя: надоело, надоело, надоело...

* * *

За одним из бесчисленных табльдотов Германии мне случилось однажды обедать в большой компании русских. Я сидел с краю компании, а рядом со мною помещался неизвестный юноша, до такой степени беловолосый, что я заподозрел: непременно это должен быть «скиталец» из Котельнического уездного училища, который каким-то чудом попал в Германию. Разумеется, это было с моей стороны только беллетристическое предположение, которое тотчас же и рассеялось, потому что юноша говорил на чистейшем

немецком диалекте и, очевидно, принадлежал к коренной немецкой семье, которая с нами же и обедала. Но тут-то именно и случилось действительно чудо. Между тем как в среде русских шла оживленная беседа на тему, для чего собственно нужен Берлин (многие предлагали такое решение: для человекоубиства), мне привелось передать моему беловолосому соседу какое-то кушанье. И вдруг, в ответ на мою любезность, я услышал от него по-русски:

– Блягодару вас!

Это было до того неожиданно, что я чуть не в ужасе воскликнул:

– Однако, брат, ты... угораздило-таки вас, mein Herr!

На что юноша, нимало не смущаясь, скромно ответил:

– Я сольдат; мы уф Берлин немного учим по-руску... на всяк случай!

Так вот оно как. Мы, русские, с самого Петра I усердно "учим по-немецку" и все никакого случая поймать не можем, а в Берлине уж и теперь "случай" предвидят, и, конечно, не для того, чтоб читать порнографическую литературу г. Цитовича, учат солдат "по-руску". Разумеется, я не преминул сообщить об этом моим товарищам по скитаниям, которые нашли, что факт этот служит новым подтверждением только что

формулированного решения: да, Берлин ни для чего другого не нужен, кроме как для человекоубийства.

Берлин, как столица Прусского королевства, был для всех понятен. Он скромно стоял во главе скромного государства и, находясь почти в центре его, был очень удобен в качестве административного распорядителя. Несколько скучный, как бы страдающий головной болью, он привлекал очень немного иностранцев, и ежели тем не менее из всех сил бился походить на прочие столицы, с точки зрения монументов и дворцов, то делал это *pro domo*,¹⁴ чтоб верные подданные прусской короны имели повод гордиться, что и их короли не отказывают себе в монументах. Милитаристские поползновения существовали в Берлине и тогда, но они казались столь безобидными, что никому не внушали ни подозрений, ни опасений, хотя под сению этой безобидности выросли Бисмарки и Мольтке. Неоднократно Прусское королевство находилось под угрозой распада, но всякий раз на помощь ему являлась дружественная рука, которая на бессрочное время обеспечивала за ним возможность делать разводы, парады и маневры. По временам в Европе ходили смутные слухи о том, что Берлин собирается снабдить Пруссию свободными учреждениями, и слухи эти вливали тревогу в сердца соседей. Но проходи-

¹⁴ для себя

ли годы, учреждений не появлялось, слухи затихали, и сердца соседей вновь загорались доверием. В 1848 году Берлин даже бунтовал, но непродолжительно и скучно ⁴. Были, однако ж, в старом Берлине и положительно-симпатичные стороны. Во-первых, он с незапамятных времен воздерживался от ежовых рукавиц и митирогнозии, что заставляло соседей говорить: да и куда ж им, колбасникам! Во-вторых, сознавая себя не безусловно немецким городом, он из всех сил старался быть немецким. Это вынуждало его состояться с другими центрами немецкой культуры, приглашать в свой университет лучших профессоров, покровительствовать литературе, искусствам и наукам. Все это, разумеется, делалось довольно экономно (и не без примеси коварства), но, право, даже экономно-коварное покровительство наукам все-таки лучше, нежели натиск и быстрота. Но лучшее право старого Берлина на общие симпатии, во всяком случае, заключалось в том, что никто его не боялся, никто не завидовал и ни в чем не подозревал, так что даже Москва-река ничего не имела против существования речки Шпрее.

В настоящее время от всех этих симпатичных качеств осталось за Берлином одно, наименее симпатичное: головная боль, которая и донныне свинцовой тучей продолжает царить над городом. Все

прочее радикально изменилось. Застенчивость заменилась самомнением, политическая уклончивость – ничем не оправдываемой претензией на вселенское господство, скромность – неудачным стремлением подкупить иностранцев мещанскою роскошью новых кварталов и каким-то второразрядным развратом, безобразный цинизм которого тщетно усиливается затмить красивый и щеголеватый парижский цинизм. Уже подъезжая к Берлину, иностранец чувствует, что на него пахнуло скукой, офицерским самодовольством и коллекцией неопрятных подолов из Орфеума. И так как ни то, ни другое, ни третье не заключает в себе ничего привлекательного, то путник спешит в первую попавшуюся гостиницу, чтоб почиститься и выспаться, и затем нимало не медля едет дальше.

Трудно представить себе что-нибудь более унылое, нежели улицы Берлина. Недостатка в движении, конечно, нет (да и не может не быть движения в городе с почти миллионным населением), но это какое-то озабоченное, почти вымученное движение, как будто всем этимдвигающимся взад и вперед людям до смерти хочется куда-то убежать. Каждому удаляющемуся экипажу так и хочется крикнуть вслед: счастливцев! ты, конечно, оставляешь Берлин навсегда! Ни гула, напоминающего пчелиный улей (такой гул слы-

шится иногда в курортах и всегда – в Париже), ни этой живой связи между улицей и окаймляющими ее домами, которая заставляет считать первую как бы продолжением последних, – ничего подобного нет. Одно непрерывное и молчаливое маятное движение – и ничего больше.

Нечто подобное можно наблюдать, часов около пяти перед обедом, в Петербурге на Невском, когда чиновники и адвокаты, вырвавшись с каторги, спешат голодные домой. Они не заглядываются по сторонам, потому что не на что смотреть, никуда не заходят, потому незачем заходить. Не до гляденья тут, а как бы подобру-поздорову домой добежать, да чтоб по дороге в участок не свели. Конечно, кроме чиновников и адвокатов, встречаются в это время на Невском еще железнодорожники и кокотки ⁵, но и они, по совести, едва ли ответят на вопрос, зачем они суеются и движутся. Вот этот железнодорожный хлыщ, который во всю прыть мчится на рысаке, – почему он так озабоченно смотрит? об чем думает? Увы! он самую простую думу думает, а именно: как бы ему так обожраться, чтоб штаны по целому месту лопнули (этого результата он почему-то не мог до сих пор добиться), или как бы ему «шелъму Альфонсинку» так изуродовать, чтобы она после этого целый месяц сесть не могла. Для чего ему это понадобилось, – он и сам не

ведает. Ему просто адски скучно, несмотря на то, что, с точки зрения жранья и Альфонсинок, ему не житье, а рай. Да и эта самая Альфонсинка, которую он собрался «изуродовать» и которая теперь, развалившись в коляске, летит по Невскому, – и она совсем не об том думает, как она будет через час *poser*¹⁵ у Бореля, а об том, сколько еще нужно времени, чтоб «отработать-ся» и потом удрать в Париж, где она начнет *poser* уж взаправду, как истинно доброй и бравой кокотке надлежит...

Ту же щемящую скуку, то же отсутствие непоказной жизни вы встречаете и на улицах Берлина. Я согласен, что в Берлине никому не придет в голову, что его "занапрасно" сведут в участок или обругают, но, по мнению моему, это придает уличной озабоченности еще более удручающий характер. Кажется, что весь этот люд высыпал на улицу затем, чтоб купить на грош колбасы; купил, и бежит поскорей домой, как бы знакомые не увидели и не выпросили.

В соответствие с улицами, и магазины берлинские смотрят уныло, хотя есть между ними достаточное число обширных и заваленных товаром. Это скорее кладовые, нежели магазины. Может быть, в них и спрятано где-нибудь что-нибудь подходящее, да заглядывать-то туда не хочется, потому что, поку-

¹⁵ кутить

да отыскиваешь это подходящее (а спросите-ка "дамочку", знает ли она даже, что для нее "подходящее"?), непременно сто раз час своего рождения проклянешь. Представьте себе, что вы хотите знать, каким образом и почему петербургские обер-полицай-мейстеры начали именоваться градоначальниками, а вам на это говорят, что для точного уразумения этого события необходимо прочитать "Историю России с древнейших времен" Соловьева. Зачем? ведь это наконец обременительно по поводу самой простой исторической справки каждый раз перечитывать "Историю" Соловьева. А в Берлине каждый магазин так, кажется, и говорит проходящему, что человек, желающий приобрести фланелевую куртку, тогда только получит искомое, ежели предварительно ознакомится с полным курсом "Истории фланелевых курток с древнейших времен". Даже русские культурные дамочки – уж на что охочи по магазинам бегать – и те чуть не со слезами на глазах жалуются: помилуйте! муж заставляет меня в Берлине платья покупать!

В Берлине можно купить одеяло, но не такое, чтоб им покрывать постель днем; можно купить резиновый мячик, но лишь для детей небогатых родителей; наконец, в Берлине можно купить колбасу, но не такую, чтоб потчевать ею людей, которым желаешь добра, а такую, чтоб съесть ее от нужды одному, при запер-

тых дверях, съесть, и когда желудочные боли утихнут, то позабыть. И за всем тем Берлин торгует, как говорится, в развал, и в особенности шерстяным товаром. Куда расходится эта громадная масса безвкусного, а отчасти и не особенно прочного товара? Разумеется, прежде всего по своим собственным Диршау, Бромбергам, Тарантам и проч., но главное количество все-таки уходит в Россию. Пензы, Тулы, Курски – все слопают, и тульская дамочка, которая визжала при одной мысли отремонтировать свой туалет в Берлине, охотно износит самого несомненного Герсона за самого несомненного Борта, если этот Герсон будет предложен ей в магазине дамского портного Страхова... в кредит.

Но самый гнетущий элемент берлинской уличной жизни – это военный. Сравнительно с Петербургом, военный гарнизон Берлина не весьма многочислен, но тела ли прусских офицеров дюжее, груди ли у них объемистее, как бы то ни было, но делается положительно тесно, когда по улице проходит прусский офицер. Одет он каким-то чудачком, в форму, напоминающую наши военные сюртуки и фуражки сороковых годов; грудь выпячена колесом, усы закручены в колечко... Идет румяный, крупчатый, довольный, точно сейчас получил жалованье, что не мешает ему, впрочем, относиться к ближнему с строгостью и ско-

ростью. Мне кажется, что Держиморда именно был бы таков, если б не заел его Сквозник-Дмухановский и он сам не имел бы слабости к спиртным напиткам.

Когда я прохожу мимо берлинского офицера, меня всегда берет оторопь. Даже в Баден-Бадене, в Эмсе мне делалось жутко, когда, бывало, привезут в курзал из Раштата или из Кобленца несколько десятков офицеров, чтоб доставить удовольствие *a ces dames*.¹⁶ Не потому жутко, чтоб я боялся, что офицер кликнет городского, а потому, что он всем своим складом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, выбритым подбородком так и тычет в меня: я – герой! Мне кажется, что если б, вместо этого, он сказал: я разбойник и сейчас начну тебя свежевать, – мне было бы легче. А то «герой» – шутка сказать! Перед героями простые люди обязываются падать ниц, обожать их, забыть об себе, чтоб исключительно любоваться и гордиться ими, – вот как я понимаю героев! Но как бы я ни был мал и ничтожен, ведь и у меня есть собственные делишки, которые требуют времени и забот. 14 вдобавок эти делишки, вместе с делишками других столь же простых людей, не бесполезны и для страны, в которой я живу. Неужели же я должен обо всем забыть, на все закрыть глаза, затем только, чтоб во всю глотку орать: ура, герой! Нет, право, самое мудрое дело

¹⁶ дамам

было бы, если б держали героев взаперти, потому что это развязало бы простым людям руки и в то же время дало бы возможность стране пользоваться плодами этих рук. Пускай герои между собой разговаривают и друг на друга любуются; пускай читают Плутарха, припоминают анекдоты из жизни древних и новых героев, и вообще поддерживают в себе вкус к истреблению «исконного» врага (а кто же теперь не «исконный» враг в глазах прусского офицера?). Но пусть они не показываются днем на улице, пусть не напоминают мне, смиренному и скромному колбаснику, что я ежемгновенно могу погибнуть как червь, если за меня не бдит недремлющее око его... героя!

Наш русский офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатления. Прежде всего, он в объеме тоньше, и грудей у него таких нет; во-вторых, он положительно никому не тычет в глаза: я герой! Русский человек способен быть действительным героем, но это не выпячивает ему груди и не заставляет таращить глаза. Он смотрит на геройство без панибратства и очевидно понимает, что это совсем не такая заурядная вещь, которую можно всегда носить с собою, в числе прочей амуниции. Напротив, пруссак убежден, что раз он произведен, с соизволения начальства, в герои, раз ему воздвигнут на Королевской площади памятник ⁶, то он обязывается с честью

носить это звание не только на улицах, но и в садах Орфеума. Разумеется, простых людей это стесняет.

Может быть, поэтому-то и берлинская веселость имеет какой-то неискренний, мрачный характер. Как тут искренно веселиться, когда обок с вами торчит "герой", который, того гляди, начнет повествовать об Верте или об Седане? ⁷ А между тем не веселиться – нельзя. Во-первых, современный берлинец чересчур взбаламучен рассказами о парижских веселостях, чтоб не попытаться завести и у себя что-нибудь а l'instar de Paris.¹⁷ Во-вторых, ежели он не будет веселиться, то не скажет ли об нем Европа: вот он прошел с мечом и огнем половину цивилизованного мира, а остался все тем же скорбным главою берлинцем. В-третьих, не скажут ли и самые «герои»: мы завалили вас лаврами, а вы ходите как заспанные – ужели нужно и еще разорить какую-нибудь страну, чтоб разбудить вас? И вот берлинец начинает веселиться. Он заводит шарабан mit einem ganz noblen Lakai¹⁸ и хвастается: wir haben unsere eigenen gamins de Paris!¹⁹ А затем отправляется в Орфеум, щиплет тамошних коток («не знает, как блеснуть очаровательнее», как

¹⁷ по примеру Парижа

¹⁸ с вполне благообразным лакеем

¹⁹ у нас свои собственные парижские сорванцы!

выражается у Островского Липочка Большова) ⁸, наливается шампанским точно так же, как отец или предок его наливался пивом, и пьяный отправляется на ночлег в сопровождении двух кокоток, вместо одной. И мечется на своем ложе, видя во сне, что и завтра ему предстоит веселиться точно тем же порядком.

Я с особенной настойчивостью останавливаюсь на уличной жизни, во-первых, потому, что она всего больше доступна наблюдению, а во-вторых, потому, что в городе, имеющем претензию быть кульминационным пунктом целой империи, уличная жизнь, по мнению моему, должна преимущественно отражать на себе степень большей или меньшей эмансипации общества от уз. Основать университет и населить его знаменитейшими и наилучше оплаченными профессорами можно всюду, даже при наличности самых нестерпимейших уз, равно как всюду же можно устроить музеи, коллекции, выставки и проч. Для этого нужны только добрая воля и материальные средства. Но общительность, но мягкость форм общежития нельзя декретировать ни начальственным предписанием, ни громом и блеском побед. Там, где эти свойства отсутствуют, где чувство собственного достоинства заменяется оскорбительным и в сущности довольно глупым самомнением, где шовинизм является обнаженным, без всякой примеси энтузиазма, где не горят

сердца ни любовью, ни ненавистью, а воспламеняются только подозрительностью к соседу, где нет ни истинной приветливости, ни искренней веселости, а есть только желание похвастаться и расчет на тринкгельд,²⁰ – там, говорю я, не может быть и большого хода свободе. Я не хочу, конечно, сказать этим, чтоб университеты, музеи и тому подобные образовательные учреждения играли ничтожную роль в политической и общественной жизни страны, – напротив! но для того, чтоб влияние этих учреждений оказалось действительно плодотворным, необходимо, чтоб между ними и обществом существовала живая связь, чтоб университеты, например, были светочами и вестниками жизни, а не комментаторами официально признанных формул, которые и сами по себе настолько крепки, что, право, не нуждаются в подтверждении и провозглашении с высоты профессорских кафедр.

Но здесь я не могу воздержаться, чтоб не припомнить одного любопытного факта из моего прошлого⁹. Когда я был в школе, то в нашем уголовном законодательстве еще весьма часто упоминалось слово «кнут». Нужно полагать, что это было очень серьезное орудие государственной Немезиды, потому что оно отпускалось в количестве, не превышавшем 41-

²⁰ чаевые

го удара, хотя опытный палач, как в то время удостоверяли, мог с трех ударов заколотить человека на смерть. Во всяком случае, орудие это несомненно существовало, и следовательно профессор уголовного права должен был так или иначе встретиться с ним на кафедре. И что же! выискался профессор, который не только не проглотил этого слова, не только не подавился им в виду десятков юношей, внимавших ему, не только не выразился хоть так, что как, дескать, ни печально такое орудие, но при известных формах общежития представляется затруднительным обойти его, а прямо и внятно повествовал, что кнут есть одна из форм, в которых высшая идея правды и справедливости находит себе наиболее приличное осуществление. Мало того: он утверждал, что сама злая воля преступника требует себе воздаяния в виде кнута и что, не будь этого воздаяния, она могла бы счесть себя неудовлетворенною. Но прошло немного времени, курс уголовщины не был еще закончен, как вдруг, перед самыми экзаменами, кнут отрешили и заменили треххвостую плетью с соответствующим угобжением с точки зрения числа ударов. Я помню, что нас, молодых школяров, чрезвычайно интересовало, как-то вывернется старый буквоед из этой неожиданности. Прольет ли он слезу на могиле кнута или надругается над этой могилой и воткнет в нее осиновый кол.

Оказалось, что он воткнул осиновый кол. Целую лекцию сквернословил он перед нами, как скорбела высшая идея правды и справедливости, когда она осуществлялась в форме кнута, и как ликует она теперь, когда, с соизволения вышнего начальства, ей предоставлено осуществляться в форме треххвостной плети, с соответствующим угобжением. Он говорил, и его не тошнило, а мы слушали и нас тоже не тошнило. Я не знаю, как потом справился этот профессор, когда телесные наказания были совсем устранены из уголовного кодекса, но думаю, что он и тут вышел сух из воды (быть может, ловкий старик внутренне посмеивался, что как, мол, ни вертись, а тумачи и митирогнозия все-таки остаются в прежней силе). Кто же, однако, бросит в него камень за выказанную им научную сноровистость? Разве от него требовалось, чтоб он стоял на дороге с свечечем в руках? Нет, от него требовалось одно: чтоб он подыскал обстановку для истины, уже отверженной и официально признанной таковою, и потом за эту послугу чтоб получал присвоенное по штатам содержание.

Весьма может статья, что я не прав (охотно сознаюсь в моей некомпетентности), но мне кажется, что именно для этой последней цели собраны в берлинском университете ученые знаменитости со всех концов Германии. Они устраивают обстановочки, придум-

мывают оправдательные теории в пользу совершившихся фактов и скромно пользуются присвоенным им отличным содержанием. Но влияния на ход жизни они не имеют и никого для будущего не воспитывают. Конечно, они не будут распинаться в пользу кнута в том виде, в каком он хранился, за печатями, в губернских правлениях, но ведь бывают кнуты и иносказательные...

Я не имею никаких данных утверждать, что Берлин *никогда* не сделается действительным руководителем германской умственной жизни, но, судя по современному настроению умов, думаю, что *в настоящее время* для доброй половины Германии Берлин не только не симпатичен, но даже прямо неприятен. Он у всех что-нибудь отнял и ничем за отнятое не вознаградил. И вдобавок везде насовал берлинского солдата с соответствующим количеством берлинских же офицеров. Какое, спрашивается, имел он право смущать сон добродушных баденцев вечно присущим представлением о выпяченных грудях и вытаращенных глазах? И была ли в том надобность?

Одним словом, вопрос, для чего нужен Берлин? — оказывается вовсе не столь праздным, как это может представиться с первого взгляда. Да и ответ на него не особенно затруднителен, так как вся суть современного Берлина, все мировое значение его сосредо-

точены в настоящую минуту в здании, возвышающемся в виду Королевской площади и носящем название: *Главный штаб...*

Рассказывают, правда, что никогда в Берлине не были так сильны демократические aspirations, как теперь, и в доказательство указывают на некоторые парламентские выборы. Но ведь рассказывают и то, что берлинское начальство очень ловко умеет справляться с aspirations и отнюдь не церемонится с изблюбленными берлинскими людьми...¹⁰

.....

Само собой разумеется, что каждый здравомыслящий берлинец по поводу сейчас изложенного может сказать мне: если тебе у нас нехорошо, то ступай домой и там наслаждайся! И я не только допускаю возможность такого возражения, но даже понимаю, что в ответ на него я могу только сконфузиться. Но, в сущности, я буду неправ, потому что дело совсем не в том, где и на сколько золотников жизнь угрюмее, а в том, где и на сколько она интереснее. Читатель! подивись! я совершенно без всякой иронии утверждаю, что нигде жизнь не представляет так много интересного, как в нашем бедном, захудалом отечестве.

Конечно, это интерес своеобразный, как говорится, на охотника, но все-таки интерес.

Бывают существования, с личной точки зрения, очень мучительные, почти невозможные, но, с точки зрения исследования и выводов, полные изумительнейших откровений. Наблюдать такие существования со стороны было бы, разумеется, удобнее, нежели знакомиться с ними при помощи собственных боков, но устроить это, без ущерба для полноты самых наблюдений, до крайности трудно. Во-первых, как бы ни было добросовестно и подробно исследование со стороны, никогда оно не заменит того интимного исследования, процесс которого оставляет неизгладимые следы на собственных боках исследователя. Во-вторых, существуют распорядки, при которых, несмотря на самые похвальные усилия остаться на почве объективности, эти усилия оказываются тщетными, и всякий наблюдатель, каковы бы ни были его намерения, силою вещей превращается в наблюдателя, собирающего нужные факты при помощи собственных боков. Поэтому, принимая на себя роль исследователя подобных загадочных существований, необходимо сказать себе: что ж делать! если меня и ожидают впереди некоторые ушибы, то я обязываюсь оные перенести!

Сказать это тем более необходимо, что предмет предстоящих исследований вполне того заслуживает. Каким образом этот предмет мог сделаться инте-

ресным, – вопрос довольно затруднительный для решения; но ведь и это уж само по себе очень интересно, что хоть и не можешь себе объяснить, почему предмет интересен, а все-таки интересуешься им. Тут можно сказать себе только одно: чем загадочнее жизнь, тем более она дает пищи для любознательности и тем больше подстрекает к раскрытию тайн этой загадочности. С этой точки зрения, я совершенно разделяю мнение "мальчика без штанов", который на все обольщения, представляемые гороховицей с свиным салом, отвечал: нет, у нас дома занятнее. Ежели можно сказать вообще про Европу, что она, в главных чертах, повторяет зады (по крайней мере, в настоящую минуту, она воистину ничего другого не делает) и, во всяком случае, знает, что ожидает ее завтра (что было вчера, то повторится и завтра, с малым разве изменением в подробностях), то к Берлину это замечание применимо в особенности. В Берлине самые камни вопиют: завтра должно быть то же самое, что было вчера! А мы – разве мы что-нибудь знаем? Каким образом разрешится вопрос об акклиматизации саранчи? Порвется ли когда-нибудь сеть сквернословия и тумачков, осыпавшая нас от верхнего края до нижнего? Произойдет ли когда-нибудь волшебство, при помощи которого народная школа, народное здоровье, занятие сельским хозяйством, то есть именно те по-

прища, на которых культурный человек может принести наибольшую пользу, перестанут считаться синонимами распространения превратных идей? Кто разрешит эти вопросы? – разумеется, никто... Но разве это не занято?

Я знаю, что жить среди этих загадочностей все равно, что быть вверженным в львиный ров...¹¹ Но зато какая радость, ежели львы не тронут или только слегка помнут ребра!

"Мальчик в штанах" во многом был прав. Гороховица с свиным салом воистину слаще, нежели мякинный хлеб, сдобренный одной водой; поля, приносящие постоянно сам-пятнадцать, воистину выгоднее, нежели поля, предоставляющие в перспективе награду на небесах; отсутствие митирогнозии лучше, нежели присутствие ее, а обычай не рвать яблоков с деревьев, растущих при дорого, похвальнее обычая опохмеляться чужим, плохо лежащим керосином. Но он был неправ, утверждая, что все эти блага цивилизации настолько ценны, чтоб за них можно было "по контракту" закрепить душу. В этом отношении, по мнению моему, "мальчик без штанов" правее. Он соглашается, что у пруссака чище и вольготнее, но утешается тем, что у него, "мальчика без штанов", по крайней мере, никакого контракта на руках нет. Положим, что его душа, точно так же как и немцева, не принадлежит

ему в собственность, но он не продал ее за грош, а отдал даром. Как хотите, а это очень и очень интересная разница!

Как бы то ни было, но первое чувство, которое должен испытать русский, попавший в Берлин, все-таки будет чувством искреннейшего огорчения, близко граничащего с досадой. Прежде всего, он увидит себя вынужденным сравнивать, и выводы, которые получаются путем этих сравнений, покажутся ему не особенно удовлетворительными. Но пусть он не останавливается перед этими первыми выводами, пусть не обольщается даже зрелищем признания прав мысли на оценку благодеяний свободы, первый акт которого несомненно начнется для него уже под Эйдткуненом. Пусть примет он на веру слова "мальчика без штанов": у нас дома занятнее, и с доверием возвратится в дом свой, чтобы занять соответствующее место в представлении той загадочной драмы, о которой нельзя даже сказать, началась она или нет.

* * *

За Берлином, по направлению к Рейну, начинается ряд лакейских городов. Это – курорты, где в общей массе наезжего люда и русские, по распоряжению медицинского начальства, посвящают себя нагу-

ливанию животов.

Курорт – миниатюрный, живописно расположенный городок, который зимой представляет ряд наглухо заколоченных отелей и въезжих домов, а летом превращается в гудящий пчелиный улей. Официальная привлекательность курортов заключается в целебной силе их водяных источников и в обновляющих свойствах воздуха окружающих гор; неофициальная – в том непрерывающемся празднике, который неразлучен с наплывом масс досужих и обладающих хорошими денежными средствами людей.

Я не могу представить себе зимнее существование этих городков. Ведут ли населяющие их жители какую бы то ни было самостоятельную жизнь и имеют ли свойственные всем земноводным постоянные занятия? пользуются ли благами общности, то есть держат ли, как в прочих местах, ухо остро, являются ли по начальству в мундирах для принесения поздравлений, фигурируют ли в процессах в качестве попустителей и укрывателей и затем уже, в свободное от явок время, женятся, рожают детей и умирают, или же представляют собой изнуренный летнею беготнёю сброд, который, сосчитав барыши, погружается в спячку, с тем чтоб проснуться в начале апреля и начать приготовление к новой летней беготне? Вообразить себе обывателя курорта не суетящегося, не

продающего себя со всеми потрохами столь же трудно, как и вообразить коренного русского человека, который забыл о существовании ежовых рукавиц. Поэтому я могу только догадываться, что зимою немецкий курорт превращается в сказочную долину, по которой разбросаны посещаемые привидениями дома и в которой не видно никаких признаков человеческой деятельности, кроме прилежной вывозки нечистот, оставленных щедрыми летними посетителями. Не только иностранец исчезает, но и вся разношерстная толпа лакеев, фигурировавшая летом в качестве местного колорита, – и та уплывает неизвестно куда, вместе с последним отбоем иностранной волны. Ибо и она, эта лакейская толпа, была совсем не местная, а пришлая, привлеченная сюда со всех концов Германии надеждой на иностранный тринкгельд. У нас, в России, наверное, такой город переименовали бы в заштатный, и только летом, в видах пресечения и предупреждения, переводили бы сюда станковую квартиру, с правом, на случай превратных толкований, выворачивать руки к лопаткам и сажать в "холодную".

Зато с наступлением весеннего тепла курорт начинает закипать, и чем больше подвигается время в глубь лета, тем гуще и гуще раздается пчелиное гудение вокруг курзала и бесчисленных табльдотов, простирающих свои объятия наезжему люду. Курзал при-

бодрятся и расцветиваются флагами и фонарями самых причудливых форм и сочетаний; лужайки около него украшаются вычурными цветниками, с изображением официальных гербов; армия лакеев стоит, притаив дыхание, готовая по первому знаку ринуться вперед; в кургаузе, около источников, появляются дородные вассерфрау¹²; всякий частный дом превращается в Privat-Hotel, напоминающий невзрачную провинциальную русскую гостиницу (к счастью, лишённую клопов), с дерюгой вместо постельного белья и с какими-то нелепыми подушками, которые расползаются при первом прикосновении головы; владельцы этих домов, зимой уютившиеся в конурах ради экономии в топливе, теперь переходят в ещё более тесные конуры ради прибытка; соседние деревни, не покладывая рук, доят коров, коз, ослиц и щупают кур; на всяком перекрестке стоят динстманы, пактрегеры¹³ и прочий подневольный люд, пришедший с специальной целью за грош продать душу; и тут же рядом ржут лошади, ревут ослы и без оглядки бежит жид, сам ещё не сознавая зачем, но чуя, что из каждого кармана пахнет талером или банковым билетом. Чувствуется, что в воздухе есть что-то ненормальное, что жизнь как будто сошла с ума, и, разумеется, по русскому обычаю, опасаясь, что вот-вот попадешь в «историю». Но чем больше живешь и вглядываешь-

ся, тем больше убеждаешься, что, несмотря на всякие ненормальности, никаких «историй» нет, что все кругом испокон веков намуштровано и теперь само собой так укладывается, чтоб никто никому не мешал. Пактрегеры не спотыкаются, не задевают друг друга, но степенно двигаются, гордые сознанием, что именно *они*, а не динстманы призваны заменять ломовых лошадей; динстманы не перебивают друг у друга работу, не кричат взапуски: я сбегаяю! я, ваше сиятельство! меня вчера за Анюткой посылали, господин купец! но солидно стоят в ожидании, кого из них потребитель облюбует, кому скажет: лоб! ¹⁴

У нас (в Москве, например) при таких обстоятельствах, по малой мере, потребителю фалды бы оборвали, и последствием этого было бы путешествие в кутузку, а здесь и кутузки нет, и фалды целы. Но ведь с другой стороны, если б мы вздумали подражать немецким образцам, то есть начали бы солидничать и в молчании ждть своей участи, то не вышло бы из этого другой, еще горшей беды? Молчишь – значит, есть что-нибудь на уме... А что не может быть на уме у динстмана, кроме превратных толкований? Ну и опять – марш в кутузку!

Благо странам, которые, в виде сдерживающего начала, имеют в своем распоряжении кутузку, но еще более благо тем, которые, отбив время кутузки, и ны-

не носят ее в сердцах благодарных детей своих. Достоин похвалы тот, который, видя кутузку очами телесными, согласно с сим регулирует свое поведение; во стократ блаженнее тот, который, видя кутузку лишь очами духовными, продолжает веровать в незыблемость ее руководящих свойств. Русская лошадь знает кнут и потому боится его (иногда даже до того уже знает, что и бояться перестает: бей, несытая душа, коли любо!); немецкая лошадь почти совсем не знает кнута, но она знает "историю" кнута, и потому при первом щелканье бича бежит вперед, не выжидая более действительных понуждений. Так точно и во всем. Тем не менее надобно, к чести людей, сознаться, что кнут все-таки есть только мера печальной необходимости, к которой редко кто прибегает, как к развлечению. Как легко жилось бы русским извозчикам, если бы русские лошади вдруг остепенились и начали возить не только за страх, но и за совесть! И как просто было б управлять людьми, если б, подобно немецким пактрегерам, все поняли, что священнейшая обязанность человеков в том заключается, чтоб, не спотыкаясь и не задевая друг друга, носить тяжести, принадлежащие "знатным иностранцам"! Но, может быть, если бы эта утопия осуществилась, то сами извозчики сбесились бы от жира и ничегонеделания? И, сбесившись, начали бы... Помилуйте! а кутузка на что?

А впрочем, довольно мечтать о том, кто более заслужил похвалы и кто менее. Пускай немецкие извозчики щелкают бичами по воздуху, а наши пускай бьют лошадей кнутами и вдоль спины, и поперек, и по брюху. Пускай немецкие динстманы носят кутузку в сердце своем, а наши, имея в оной жительство, пусть говорят: ах, чтоб ей ни дна ни покрывки! Конечно, от того или другого образа поведения зависит то или другое направление внутренней политики, но ведь за внутренней политикой не угонишься! Иной ведет себя отлично, да сосед напакостил – ан и его заодно ведут в кутузку. И потом: ах, как жаль! какое печальное недоразумение! Это кутузка-то... недоразумение!

Правда, я со всех сторон слышу, что недоразумений больше уж не будет, и вполне верю, что, в дополнение к прежним эмансипациям, возможна и эмансипация от недоразумений. Но, признаюсь, меня смущает вопрос: не будет ли слишком пресна наша жизнь без недоразумений, но с кутузкой? ведь мы привыкли! Театры у нас плохие, митингов нет, в трактирах порция бифштекса стоит рубль серебром, так, по моему мнению, лучше *по недоразумению* вечер в кутузке провести, нежели в Александринке глазами хлопать. Но только, ради Христа, не больше одного вечера!

Сродного сословия людей в курортах почти нет, ибо нельзя же считать таковыми ту незаметную горсть ту-

земных и иноземных негоциантов, которые торгуют (и бог весть, одним ли тем, что у них на полках лежит?) в бараках и колоннадах вдоль променад, или тех антрепренеров лакейских послуг, которые тем только и отличаются (разумеется, я не говорю о мошне) от обыкновенных лакеев и кнехтов, что имеют право громче произносить: pst! pst! Может быть, зимой, когда сосчитаны барыши, эти последние и сознают себя добрыми буржуа, но летом они, наравне с самым последним кельнером, продают душу наезжему человеку и не имеют иного критерииума для оценки вещей и людей, кроме того, сколько то или другое событие, тот или другой "гость" бросят им лишних пфеннигов в карман.

А наезжий человек так со всех сторон и напирает. Каждый день бесчисленные железнодорожные поезда выбрасывают на улицы курорта массы "гостей", которые тут же, с вытаращенными глазами, задыхаясь и спеша, начинают отыскивать себе конуру для ночлега. Это, так сказать, предвкушение утех. Тут и человек, всю зиму экспекторировавший, в чаянье, что потом будет лакомиться ослиными сыворотками и "обменивать вещества". Тут и бесшабашный советник, который согласен какую угодно мерзость глотать, лишь бы бог веку продлил и сотворил ему мирным и непостыдным получение присвоенных по штатам окладов

и аренд. Тут и юный бонапартист, которому только безмерное безрассудство до сих пор мешало обдумать, в чью пользу и за какую сумму ему придется продать отечество. Тут и пустоголовая, но хорошо выкормленная бонапартистка, которая, опираясь на руку инспекторирующего человека, мечтает о том, как она завтра появится на променаде в таком платье, что всё-всё (*mais tout!*)²¹ будет видно. Тут и милая старушка, которая уже теперь не может прийти в себя от умиления при виде той массы панталон, которая все больше и больше увеличивается, по мере приближения к центру городка. Тут и замученный хождениями по мытарствам литератор, и ошалевший от апелляций и кассаций адвокат, и оглохший от директорского звонка чиновник, которые надеются хоть на два, на три месяца стряхнуть с себя массу замученности и одурения, в течение 9 – 10 месяцев составлявшую их обычный *modus vivendi*²² (неблагодарные! они забывают, что именно эта масса и напоминала им, от времени до времени, что в Езопе скрывается человек!). Тут и шпион. И все они переходят от гостиницы к гостинице, от одного въезжего дома к другому, отыскивая конуру... самую простую конуру! И редко кому из них удается успокоиться в искомой конуре раньше

²¹ действительно, всё!

²² образ жизни

трех-четырёх часов изнурительнейших поисков.

Ночью гостиницы и въезжие дома наполняются звуками инспекторации "гостей" и громкими протестами бонапартисток: *eh bien, auras-tu bientot fini?*²³ – на что следует неизбежный ответ: ах; матушка! к-ха, к-ха... хрррр... Но вот легкие мало-помалу очищаются, и к полуночи все стихает. Утром, в шесть часов, опять инспекторация и опять протест... А между тем в кургаузе и около него гудит пчелиный рой. Семь часов утра. Одни уже отпили свою порцию, другие только что заручились кружками и спешат к источникам. Всякий народ тут: чиновные и нечиновные, большие и здоровые, каналы и честные люди, бонапартисты и простые, застенчивые люди, которые никак не могут прийти в себя от изумления, какое горькое волшебство привело их в соприкосновение со всем этим людом, которого они не искали и незнание которого составляло одну из счастливейших привилегий их существования. Тут и англичанка-пэреса, которая в Англии оплодотворилась, а здесь заставляет возить себя в ручной колясочке, дабы не потревожить плода. Тут и упраздненный принц крови, который, изнемогая в конвульсиях высокопоставленного одиночества, разыскивает через кельнеров, не пожелает ли кто-нибудь иметь честь быть ему представленным. Тут и ря-

²³ ну, скоро ли ты кончишь?

занский землевладелец, у которого на лице написано: наплюю я на эти воды, закачусь на целую ночь в Линденбах, дам Доре двадцать пять марок в зубы: скидывай, бестья, лишнюю одежду... служи! Тут и шпион. В воздухе стоит разноязычный говор, в общей массе которого не последнее место занимает и русская речь.

– Какими судьбами? вы!!

– Да вот в горле все что-то сверлит.

– С кем это вы сейчас говорили?

– Мошенник! знаете ли, какую он штуку удрал...

Через минуту другая встреча.

– И вы здесь? давно?

– Дней с пять. С легкими справиться не могу.

– С кем вы сейчас говорили?

– Ужаснейшая, батюшка, каналья. Знаете ли, какую он вещь с родной сестрой сделал...

Еще через минуту.

– Доктор! я уж третий стакан выпил.

– Ходите, обменивайте вещества!

– Доктор! вчера я получил письмо из России. У нас ведь вы знаете что?.. Са-ран-ча!!

– Я бы особенным повелением запретил писать из России письма больным. Ходите, обменивайте вещества!

– Доктор! а *это*... можно.

Следует обмен мыслей шепотом.

– Гм... если уж вы... Но вы знаете мое мнение: это положительно не kurgemaess...

– Доктор! чуточку!

– Да, но я все-таки должен предупредить... Удивительный вы народ, господа русские! все вы прежде всего об *этом* спрашиваете... Ну, что с вами делать, можно, можно... А теперь ходите и обменивайте вещества!

И бегут осчастливленные докторским разрешением "знатные иностранцы" обменивать вещества. Сначала обменивают около курзала, надеясь обмануть время и принюхиваясь к запаху жженого цикория, который так и валит из всех кухонь. Но потом, видя, что время все-таки продолжает идти черепашьим шагом (требуется, по малой мере, час на обмен веществ), уходит в подгородние ресторанчики, за полчаса или за сорок минут ходьбы от кургауза.

Подождите еще несколько минут, и вы увидите новый наплыв публики: запоздавших. Вот и вчерашняя бонапартистка, с кружкой в руках, проталкивается сквозь толпу в каком-то вязаном трико, которое так плотно ее облипает, что, действительно, бонапартисты могут пожирать глазами... все. Рядом с нею бредет милая старушка, усиливаясь подпрыгивать, вся разрисованная, восхищенная, готовая в огонь и в во-

ду... toute pimpante!²⁴ И вдали, в дверях кургауза, следит за старушкой обер-кельнер, завитой белокурый детина, с перстнем, украшенным крупной бирюзой, на указательном пальце, и на вопрос, что может стоить такой камень, самодовольно отвечает: *das hat mir eine hochwohlgeborene russische Dame geschenkt.*²⁵

Я знаю многих русских дам, которые, наверное, обидятся наглостью обер-кельнера и воскликнут: как он смеет клеветать? С своей стороны, отнюдь не оправдывая нескромности табльдотного Рюи-Блаза¹⁵ и даже не имея ничего против того, чтоб назвать ее клеветой, я позволяю себе, однако ж, один вопрос: почему ни один кельнер не назовет ни *eine englische*, ни *eine deutsche*, ни *eine französische Dame*,²⁶ а непременно из всех национальностей выберет русскую? Уж на что, кажется, повадлива румынская национальность, но и об ней обер-кельнеры умалчивают. Стало быть, есть в русской даме какое-то внутреннее благоволение (вероятно, вполне невинное), которое влечет к ней сердца хаускнехтов и заставляет кельнеров мечтать: уж если суждено мне от кого-нибудь получить перстенок с бирюзой, так не иначе, как от русской

²⁴ во всем блеске!

²⁵ это подарила мне одна высокородная русская дама

²⁶ ни английскую, ни немецкую, ни французскую даму

«дамы».

Очень может быть, что дело происходило так. Приехала на воды инспекторствующая старушка-вдова, и ни в ком, на чужбине, не нашла участия, кроме обер-кельнера своей гостиницы. Этот человек сразу оказался "золотым" малым. Он допускал, в пользу ее, отступления от правил табльдота; он предоставлял ей лучшее место за столом, придвигал и отодвигал ее стул, собственноручно накладывал ей на тарелку лакомый кусок, наливал в стакан вино и после обеда, надевая ей на плечи мантилью, говорил: so!²⁷ А вечером лично носил ей в номер поднос с чаем, справлялся, спокойно ли ей почивать и не нужно ли промыслить другую подушку. Словом сказать, самоотвергался. Разумеется, старушка была тронута. Вспомнила, что у нее в саквояже лежит перстенок с бирюзой, который когда-то носил на указательном пальце ее покойный муж, вынула, немножко всплакнула (надо же память покойного «друга» почитать!) и... отдала. Отдавши, уехала на другие воды, где опять встретила точь-в-точь такого же обер-кельнера, вспомнила, что у нее в саквояже лежит перстенок с изумрудом (тоже покойный муж на указательном пальце носил), опять всплакнула и опять... отдала. И, таким образом, объехавши многие курорты, добралась до Швейцарии, но

²⁷ так!

тут запас перстеньков истощился и, в соответствии с этим, истощилось и обер-кельнерское самоотвержение. И вот теперь она живет в деревне Проплëванной и дарит старосте Максимушке, за самоотвержение, желтенькую бумажку...

Et voila comme on ecrit l'histoire.²⁸

Около половины десятого кургауз пустеет; гудение удаляется и расходится по отелям. Это время первого насыщения, за которым наступает время побочных лечений. Позавтракавши, одни идут в Gurgl-cabinet,²⁹ другие в Inhalations Anstalt,³⁰ третьи – берут ванны. Но те, которые удивляют мир силою экспекторации, – те обыкновенно проделывают все отрасли лечения и продолжают экспекторировать с прежнею силою. Зато им решительно не только нет времени об чем-либо думать, но некогда и отдохнуть, так как все эти леченья нужно проделать в разных местах города, которые хотя и не весьма удалены друг от друга, но все-таки достаточно, чтоб больной человек почувствовал. И во всяком месте нужно обождать, во всяком нужно выслушать признание соотечественника: «с вас за сеанс берут полторы марки, а с меня только марку; а вот эта старуха-немка платит всего восемьдесят пфенни-

²⁸ И вот так пишется история

²⁹ кабинет по горловым болезням

³⁰ отделение для ингаляции

гов». И вся эта история повторяется изо дня в день, несмотря ни на какую погоду. Подумайте! с шести часов дня до часу пополудни ничего, кроме беготни и каких-то бесконечных тринкгельдов, которые, подобно древней дыбе, приводят истязуемого субъекта в «изумление». Как должно это действовать на человека, страдающего, кроме болезни сердца, эмфиземы, воспаления дыхательных путей, астмы – еще мозолями!

Это же время (от десяти до часу) – самое горячее и для бопапартистки, ибо она примеривает костюм, в котором должна явиться к обеду. Процесс этого примеривания она отбывает с самою невозмутимую серьезностью. Наденет одно платье, встанет перед зеркалом, оглядит себя сперва спереди, потом сзади, что-то подправит, в одном месте взбодрит, в другом пригнетет, слизнет языком соринку, приставшую к губе, пошевелит бровями, возьмет маленькое зеркальце и несколько раз кивнет перед ним головой то вправо, то влево, положит зеркальце, опять его возьмет и опять слизнет с губ соринку... И все время мечется у ней перед глазами молодой бонапартист, который молит: ах, эта ножка! ужели вы будете так бессердечны, что не дадите ее поцеловать! Но мольба эта не волнует ее, не вливает ей в кровь отраву... Как истинная кокотка по духу, она даже *этим* не волнует-

ся, а думает только: как нынче молодые люди умеют мило говорить!.. и начинает примеривать другое платье. Новое стояние перед зеркалом, удаление и приближение к нему; есть что-то неладное назади, именно там, где все должно быть ладно. Что такое? *quel est ce mystere?*³¹ Ну вот, теперь хорошо... *tout ce qu'il faut!*³² И опять бонапартист перед глазами, который успел уже поцеловать ножку и теперь вопрошает грядущее... Третье платье и новое повертыванье перед зеркалом. Это платье, по-видимому, уж совсем хорошо, но вот тут... нужно, чтоб было две ноги, а где они, «две ноги»? "За что же, однако, меня в институте учитель прозвал *tete de linotte!*³³ совсем уж я не такая..." И опять бонапартист перед глазами, но уж не тот, не прежний. Тот был с усиками, а этот с бородой... ах, какой он большой! Опять платье, четвертое и последнее. Пора. Последнее платье надевается наскоро, потому что часы показывают без десяти минут час, и, сверх того, в изгибах *tete de linotte* мелькает стих Богдановича: «во всех ты, душенька, нарядах хороша...»¹⁷ Это единственное «знание», которое она вынесла из шестилетней мучительной институтской практики.

³¹ в чем секрет?

³² все как следует!

³³ ветреницей

В это же время бодрствует в своей конуре и шпион. Он приводит в порядок собранные матерьялы, проводит их сквозь горнило своего понимания и, чувствуя, что от этого "понимания" воняет, сдабривает его клеветою. И – о, чудо! – клевета оказывается правдоподобнее и даже грамотнее, потому что образцом для нее послужила полемика "благонамеренных" русских, газет...

Бьет час, и весь этот людской сброд, измученный отчасти беготней, отчасти легкомыслием, отчасти праздностью, сосредоточивается за табльдотами. На некоторое время город кажется пустым.

Послеобеденное время – самое тяжкое. До обеда все как-нибудь отличились, отштукатурились и обрядились; после обеда – даже этих ресурсов нет. Возвращаться "домой" незачем, да и некуда: никакого "дома" нет, а есть конура. Даже у самого богатого человека, и у того, сравнительно с "домом", конура. Надо где-нибудь прошляться, чтоб погубить остальные шесть-семь часов. Где прошляться? Я сказал выше, что окрестности курорта почти всегда живописны, но число экскурсий вовсе не так велико, чтоб не быть исчерпанным в самое короткое время. Пять-шесть прогулок – вот и весь репертуар. Правда, что в "своем месте" вы каждый день гуляете по одному и тому же саду, любуетесь одними и теми же полями, и вам это

не надоедает. Но, во-первых, "свое место" избавляет вас от культурно-кокотских отрав, которые одолевают вас здесь на каждом шагу; а во-вторых, в том-то и чарующая сила "своего места", что там вас интересуется судьба каждого дерева, каждого куста, каждой былинки. И каждая былинка, в свою очередь, как бы хранит память об вас. На что вы ни взглянете, к чему ни прикоснетесь, – на всем легла целая повесть злоключений и отрад (ведь и у обделенных могут быть отрады!), и вы не оторветесь от этой повести, не дочитав ее до конца, потому что каждое ее слово, каждый штрих или терзает ваше сердце, или растворяет его блаженством... Тогда как за границу вы уже, по преданию, являетесь с требованием чего-то грандиозного и совсем-совсем нового (мне, за мои деньги, подавай!) и, вместо того, встречаете путь, усеянный кокотками, которые различаются друг от друга только тем, что одни из них въезжают на горы в колясках, а другие, завидуя и впривскочку, взбираются пешком.

Часов до четырех дело, однако ж, кой-как идет. На променаде играет порядочная музыка; в ресторане курзала и на столиках около него толпится публика и "потребляет". Кокотка по ремеслу отсутствует (управление вод очень строго изгоняет все, что не kurgemaess, хотя во времена владычества рулетки и отступало от этого правила), но кокотка по духу

– царит. Но вот музыканты, один за другим, разбрелись, послеобеденный кофе выпит, мороженое съедено; дальнейшее пребывание под навесом платанов становится нестерпимым. Необходимо гулять. В сущности, еще очень рано; день едва достиг того часа, когда дома приканчиваются дела, и многим по привычке кажется, что сейчас скажут, что суп на столе. Напрасное обольщение! – надобно гулять! – вы до усталости ходили утром, но то было утром, а теперь вечер. Обменивайте вещества! Перед вами Altes-Schloss, потом Eberstein-Schloss, потом Rothenfels.³⁴ Выбирайте любое! А завтра будет Rothenfels, Eberstein-Schloss, Altes-Schloss... А то не хотите ли в Фавориту¹⁸, десять раз в Фавориту, двадцать раз в Фавориту!

Бонапартисты и бонапартистки плавают в этой суматохе, как рыба в воде. Они всходят и взъезжают на горы, жеманятся, провоцируют, мелькают и вообще восполняют свое провиденциальное назначение, то есть выставляют напоказ: первые – покрои своих жакеток и сьютов, вторые – данные им природой атуры. Нельзя себе представить ничего более жалкого, как человеческое существо, с головы до ног погруженное в показывание атуров. А современная культурная женщина почти сплошь занята одним этим. И не толь-

³⁴ Прогулки в окрестностях Баден-Бадена. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

ко молодая tete de linotte, но и старушка. Ничто ее не интересует, ни книга (за исключением порнографической литературы), ни картина (за исключением порнографических фотографий), ни пейзаж (за исключением порнографических cabinets particuliers).³⁵ Ничто, кроме заботы о том, чтоб наряд как можно меньше скрывал ее округлости. Она даже насыщается не ради того, чтоб поддерживать жизнь или удовлетворять своей gourmandise,³⁶ а потому, что, как ей сказывали, при помощи хорошего и обильного питания нагуливаются хорошие и обильные атуры. Иметь высокую грудь и выдающуюся поясницу – вот конечная цель ее самолюбия. И, как дополнение к этому, обладать немногосложным, но в высшей степени точным порнографическим жаргоном. Не все ли равно этим двуногим, где выполнять свое провиденциальное назначение, на вершине ли Schone Aussicht или в Линденбахе? Какое ей дело до того, что с вершины Schone Aussicht видны Siebengebirge и стальная полоса Рейна, что там благоухает сосна, а Линденбах провонял кухонным чадом. Линденбах, пожалуй, привлекательнее, потому что там есть просторный ресторан, в котором можно прислониться.

Этот бонапартистско-кокотский элемент вместе с

³⁵ отдельных кабинетов

³⁶ обжорству

особью людей, которые не могут представить оправдательных документов для объяснения средств своего существования, составляют истинную отраву всякого курорта. Рулетка исчезла, но рулеточные обычаи, рулеточный запах еще остались. Всякий курорт есть место неожиданных встреч. Некогда вы знали человека, ходившего чуть не без штанов, потом потеряли его из вида, и вдруг встречаете его здесь и некоторое время думаете, что перед вами мелькнуло сонное видение. У этого человека все курортное лакейство находится в рабстве; он живет не в конуре, а занимает апартамент; спит не на дерюге, а на тончайшем белье; обедает не за табльдотом, а особо жрет что-то мудреное; и в довершение всего жена его гуляет на музыке под руку с сановником. Ясно, что он что-то украл, но здесь, в курорте, в первый раз вам приходит на мысль вопрос: что такое вор? У себя, на берегах Ворсклы или Вороны, или совсем не пришел бы на мысль этот вопрос, или вы совершенно точно ответили бы на него, но среди этой кажущейся жизни, исполненной кажущихся поступков, кажущихся разговоров и даже кажущегося леченья – все самые ясные вопросы принимают какой-то кажущийся характер. Да уж не слишком ли прямолинейно смотрел я на вещи там, на берегах Хопра? думается вам, и самое большое, что вы делаете, – и то для того, чтоб не совсем погрязнуть

в тине уступок, – это откладываете слишком щекотливые определения до возвращения в "свое место". Там можно будет и опять в Юханцеве видеть Юханцева, а здесь, на водах...

– С кем вы сейчас говорили?

– Помилуйте, скотина!

Сегодня "скотина", завтра "скотина", а послезавтра и сам черт не разберет: полно, "скотина" ли?

Между тем бьет семь часов, и волна людская опять растет около курзала. Оркестр гремит; бонапартистки, переменявши туалет, скользят между столами; около одной, очень красивой и роскошно одетой, собралось целое стадо *habitués*³⁷ и далеко, под сводом платанов, несется беззаветный хохот этой привилегированной группы, которая, по всей линии променад, прижилась как у себя дома. Все прочие бонапартистки отчасти завидуют ей, отчасти млеют перед ней в благоговении. Это белокурая испанка от колена Монтихова, которую сама «вдова» благословила¹⁹ летом разъезжать по курзалам, а зимой блистать в Париже и наблюдать за мосье Гамбетта. Она дает тон курорту; на ней одной можно воочию убедиться, до какого совершенства может быть доведена выкормка женщины, поставившей себе целью останавливать на сво-

³⁷ завсегдаев

их атурах вождедеющие взоры мужчин, и в какой мере платье должно служить, так сказать, осуществлением этой выкормки. Да, платье именно должно быть таково. Оно не обязывается ни подчеркивать, ни комментировать, ни увлекаться в область парадоксов, а именно только осуществлять.

Статуя должна быть проста и ясна, как сама правда, и, как правда же, должна предстоять перед всеми в безразличии своей наготы, никому не обещаая воздаяния и всем говоря: вот я такая! Что же касается до того, какие представления "в случае чего" надлежит иметь относительно этой статуи-правды, то роль путеводителей в этом разе предоставляется перехватам, бантам, цветам и другим архитектурным украшениям. Где бант – там остановка, где перехват – там гляди. Единственное темное пятно в современном женском туалете – это юбка, которую, несмотря на все усилия, никак не могут упразднить "законодатели мод". Она одна оставляет в статус некоторые неясности, одна служит оградительницей интересов современной семьи. Впрочем, эти неясности отчасти уже устраняются при помощи ноги. Нога (а не ножка, как выражались любезники сороковых годов) должна быть видна во всей своей скульптурной образности; нога и часть икры... Вот вам на первый раз, а остальное, конечно, тоже придет, но нужно же иметь сколько-нибудь тер-

пения!

Толпа гудит, сама не сознавая, к чему она стремится, чего желает. Ничего, кроме праздных мыслей, праздных слов и праздных поступков. Это самое полное, самое беззаветное осуществление идеала равенства... перед праздностью. Если кто "дома" сознавал за собою что-нибудь оригинальное, тот забывает об этом, стушевывается перед общим уровнем ликующей толпы. И это происходит не по принуждению, а незаметно, само собой. Вдруг как-то исчезает всякая гадливость.

Это обезличение людей в смысле нравственном и умственном и, напротив, слишком яркое выделение их с точки зрения покроя жилетов и количества съедаемых "шатобрианов", это отсутствие всяких поводов для заявления о своей самостоятельности – вот в чем, по моему мнению, заключается самая неприглядная сторона заграничных шатаний. Ежели обязательно суетливая праздность производит скуку, то продолжительное отсутствие проявлений самостоятельности может иметь последствием полнейшую умственную и нравственную анемию. И я убежден, что многие, воротясь домой, не без удивления вспоминают о месяцах, проведенных в чуждой среде, под игом понятий и привычек, о существовании которых они только тут в первый раз узнали.

По крайней мере, я испытал нечто подобное на себе. Представьте себе, вновь встретился с Удавом и Дыбой – и обрадовался. И они мне обрадовались и в один голос воскликнули: Вот как! ну, и слава богу!

Они ходили всегда вместе, во-первых, потому, что были равны в чинах и могли понимать друг друга, и, во-вторых, потому, что оба чувствовали себя изолированными среди курортной толкотни. Хотя и кроме их в курорте была целая масса бесшабашных советников, но Дыба и Удав добыли свои чины еще по старому положению и притом имели довольно странные гербы. Поэтому прочие бесшабашные советники, добывшие свои чины повадливостью и тщательно расчесанными на затылках проборами, перекидывались с ними двумя-тремя учтивостями и устремлялись дальше, как бы задыхаясь в атмосфере старческих грехов, которую распространяли кругом себя вышедшие из употребления сановники. Не было явного пренебрежения, но не было и предупредительности. Однако ж старики в первое время все-таки тянулись за так называемой избранной публикой, то есть обедали не в час и не за табльдотом, а в шесть и *a la carte*,³⁸ одевались в коротенькие клетчатые визитки, которые совершенно открывали их убогие оконечности, подсаживались к молодым бонапартистам и жа-

³⁸ по карточке, порционно

ловались, что доктор не позволяет пить шампанское, выслушивали гривуазные анекдоты и сами пытались рассказать что-то неуклюжее, засматривались на бо-напартисток и при этом слюнявили переда своих рубашек и проч. Но все эти усилия ни к чему не привели. Избранная публика даже одним ухом не слушала их, но совершенно явно показывала, что совсем ничего не слышит, так что, в конце концов, всегда оказывалось, что, думая обращаться к публике, старики исключительно разговаривали друг с другом. Не раз случалось и так, что «знатные иностранцы», пораженные настойчивостью, с которой старики усиливались прорваться в ряды «милых негодяев», взглядывали на них с недоумением, как бы вопрошая: откуда эти выходцы? – на что прочие бесшабашные советники, разумеется, поспешали объяснить, что это загнившие продукты дореформенной русской культуры, не имеющие никакого понятия об «увенчании здания»²⁰. К несчастью, старики проведдали об этом и огорчились. А в довершение приключилось и еще одно обстоятельство. В курорт прибыл какой-то вновь определенный принц, и некоторый русский сановник, приводивший в это время в порядок свои легкие, счел долгом почтить высокопоставленного гостя обедом. Все «знатные иностранцы» получили приглашения, но Удав и Дыба были забыты. Это тем более их пора-

зило, что они невольно вспомнили дележку в Уфимской губернии, при которой тоже были забыты. Поступят ли в дележку «полезные лесочки» Вятской губернии – это еще бабушка надвое сказала, а Уфимская-то губерния – ау! Словом сказать, старики заскучили и круто переменили свой образ жизни.

От обедов *a la carte* в курзале перешли к табльдоту в кургаузе, перестали говорить о шампанском и обратились к местному кислому вину, приговаривая: вот так винцо! бросили погоню за молодыми бесшабашными советниками и начали заигрывать с коллежскими и надворными советниками. По вечерам посещали друг друга в конурах, причем Дыба читал вслух "Ключ к таинствам природы" Эккартсгаузена и рассказывал анекдоты из жизни графа Михаила Николаевича, сопровождая эти рассказы приличным экспекторированием.

Итак, мы встретились и взаимно друг другу обрадовались.

– Вот вы как! – удивился Дыба, – а мы было думали, что вы прямо в Швейцарию стопы направите?

– Да, было-таки предположение, – подтвердил и Удав, не без угрозы, а скорее с шутливой снисходительностью.

– Но почему же ваши превосходительства думали, что я непременно поеду в Швейцарию, а не в Испа-

нию, например?

– Зачем в Испанию? что там делать? Там, батюшка, нынче Изабелла в ход пошла! ²¹ Ну, да уж что! Кто старое помянет...

И Удав с улыбкой протянул мне руку, в знак забвения, но вслед за этим словно обеспокоился и спросил:

– Не одобряете?

– Не одобряю! – воскликнул я твердо.

– И нельзя одобрить. Хотя, с одной стороны, конечно... однако, тем не менее... Лучше не ездить.

Это было ужасно доброжелательно. Но так как будущее сокрыто от смертных и могло представить необходимость в поездке в Швейцарию независимо от всяких превратных толкований, то я все-таки поспешил оградить себя.

– Ваши превосходительства! – сказал я, – вы напрасно считаете Швейцарию месторождением исключительно превратных толкований. Есть, например, в Люцерне "Раненый Лев" – это, я вам доложу, такая штука, что хоть бы и нам с вами!

Я изложил, как умел, смысл и содержание памятника и, разумеется, привел бесшабашных советников в восхищение.

– Так вот они, швейцары, каковы! – воскликнул Дыба, который о швейцарах знал только то, что случайно слышал от графа Михаила Николаевича, а именно: что

некогда они изменили законному австрийскому правительству, и с тех пор опера "Вильгельм Телль" дается в Петербурге под именем "Карла Смелого" ²².

– А впрочем, бог с ней, с Швейцарией... Из России, ваши превосходительства, не имеете ли известий? – переменял я разговор.

– Как же! почитываем кое-что; и в своих, и в иностранных газетах; ну, и письма...

– Чай, хорошо теперь там?

– Об "увенчании здания" поговаривают... будто бы без этого никак невозможно...

– Ну, и слава богу!

– Бога благодарить всегда время, – как-то загадочно ответил Удав и затем, наклонившись ко мне, шепотком прибавил: – а только вряд ли...

– Не надеетесь?

– Верно говорю: не будет толку!

– Ах, ваше превосходительство!

– Людей нет-с! И здание можно бы выстроить, и полы в нем настлать, и крышу вывести, да за малым делом стало: людей нет-с! – настаивал Удав.

– И мыслей нет! – добавил Дыба.

– Нас, стариков, фофанами называют, а между тем...

Удав, видимо, хотел сдержаться, но вспомнил, как еще недавно русский сановник (русский-с!) исключил

его из числа "знатных иностранцев", и не сдержался.

– Мы, по крайней мере, могли объяснить, кто мы, откуда вышли и какую школу прошли. Ну, фофаны так фофаны... с тем и возьмите! А нынешние... вон он! вон он, смотрите на него! – вдруг воскликнул Удав, указывая на какого-то едва прикрытого петанлерчиком ²³ бесшабашного советника «из молодых», – смотрите, вон он бедрами пошевеливает!

– Это на него "увенчание здания" так действует! – ехидно хихикнул Дыба.

– Спросите у него, откуда он взялся? с каким багажом людей уловлять явился? что в жизни видел? что совершил? – так он не только на эти вопросы не ответит, а даже не сумеет сказать, где вчерашнюю ночь ночевал. Свалился с неба – и шабаш!

– В старину "непомнящие родства" бывали, а нынче, сказывают, таковых уж нет! – вновь съехидничал Дыба.

– Приведут, бывало, его, "непомнящего"-то, в присутствие: "откуда родом"? – Не помню. "Отец с матерью есть?" – не помню. "Где проживание имел?" – Не помню. "Где вчерашнюю ночь ночевал?" – В стогу. – Ну, выслушают, запишут – и в острог!

– А нынче изловят в стогу, да под образа-с!

– И мыслей нынче нет – это его превосходительство верно заметил: нет нынче мыслей-с! – все боль-

ше и больше горячился Удав. – В наше время *настоящие* мысли бывали, такие мысли, которые и обстановку имели, и излагаемы быть могли. А нынче – экспромты пошли-с. Ни обстановки, ни изложения – одна середка. Откуда что взялось? держи! лови!

Произнося эту филиппику, Удав был так хорош, что я положительно залюбовался им. Невольно думалось: вот он, настоящий-то русский трибун! Но, с другой стороны, думалось и так: а ну, как кто-нибудь нас подслушает?

– Да вы, может быть, полагаете, что это ихнее "увенчание здания" – диковинка-с? – продолжал греметь Удав.

– По крайней мере, до сих пор я ни о чем подобном не слыхивал.

– А я вам докладываю: всегда эти "увенчания" были, и всегда они будут-с. Еще когда устав о кантонистах был сочинен ²⁴, так уж тогда покойный граф Алексей Андреич мне говорил: Удав! поздравь меня! ибо сим уставом увенчивается здание, которое я, в течение многих лет, на песце созидал!

– Сколько одних прогонных и подъемных денег на эти "увенчания" было потрачено! – свидетельствовал, в свою очередь, Дыба, – и что же-с! только что, бывало, успеют одно здание увенчать, – смотришь, а другое здание на песце без покрывки стоит – опять

венчать надо! И опять прогонные и подъемные деньги требуют!

– Так вот оно с которых пор канитель-то эта пошла! Возьмем хоть бы вопрос об учреждении губернских правлений...²⁵

К счастью, Удав поперхнулся и принялся экспекторировать, а Дыба постоял-постоял и тоже последовал его примеру. Что же касается до меня, то я смотрел на них и чувствовал, что в душе моей поднимается какая-то смута. Несомненно, что до сих пор идея "увенчания здания" ни в ком не встречала такого страстного сторонника, как во мне. Я не только восхищался ею, не только не жалел в пользу ее похвал и трубных звуков, но, по временам, возвышался даже до иллюзий. И вот теперь, каким-то двум жалким старикам выпало на долю посеять в моем сердце плевелы двоегласия! Хорошо-то оно хорошо, думалось мне, а что, ежели и в самом деле вся штука разрешится уставом о кантонистах. Что, ежели встанет из гроба граф Алексей Андрейч, отыщет в архиве изъеденный мышами "устав" и, дополнив оный краткими правилами насчет могущего быть светопреставления, воскликнет: шабаш! – Ах, ваше превосходительство! – рискнул я заметить, – да не сердиты ли вы на что-нибудь?

.....

Что было дальше – я не помню. Кажется, я хотел еще что-то спросить, но, к счастью, не спросил, а оглянулся кругом. Вижу: с одной стороны высится Мальберг, с другой – Бедерлей, а я... стою в дыре и рассуждаю с бесшабашными советниками об «увенчании здания», о том, что людей нет, мыслей нет, а есть только устав о кантонистах, да и тот еще надо в архиве отыскивать... И так мне вдруг сделалось совестно, так совестно, что я круто оборвал разговор, воскликнув:

– Какие вы, однако ж, глупости говорите, ваши превосходительства!

К удивлению, старики не только не обиделись, но на другой же день, встретив меня на той же площадке, опять возобновили разговор об "увенчании здания". На третий день – тоже, на четвертый – тоже... Наконец судьба-таки растащила нас: их увлекла домой, меня... в Швейцарию!!

.....

Но иногда мне думается: что, если бы русского «меньшего брата» перенести на часок в немецкий курорт и показать, как гуляют русские культурные господа?.. Что бы он сказал?

III

Я ехал в Швейцарию не без страха. Думалось, что как только перееду швейцарскую границу, так сейчас же, со всех сторон, и вопьются в меня превратные толкования. За свою личную «совратимость» я, конечно, не боялся – слава богу, не маленький! – но опасался, как бы начальство, по доведении о сем до сведения, не огорчилось. «Не выдержит!», «погибнет!» – доносились до меня попечительные голоса с берегов Невы. И потом, вдруг строго: «Гм... так вы и в Швейцарии изволили побывать?» – Виноват-с – «С акушерками повидаться ездили?»¹ – Виноват-с – «О формах правления изволили рассуждение иметь?» – Вино...

Однако все обошлось благополучно. Я не только не "соблазнился", но даже не имел повода для соблазна. Превратных идей – ни одной. Напротив, русских, коренных русских идей – столько, что не продохнешь. Наступают, берут в полон, рвут на части сердце, прожигают мозг – точь-в-точь как в России. Даже прелестные швейцарские озера и величественные хребты гор – и те застилаются ими, словно пеленою. Риги-Кульм, Пилат, Низен, Фаульгорн – все кажется окутанным туманом. Одна только мысль отчетливо светится: как-

то теперь там насчет «увенчания здания» поговаривают?.. Неужто пошабашили?

Ах, право, не до превратных идей в такое время, когда русские идеи, шаг за шагом, без отдыха, так и колотят в загорбок!

Помнится, когда нам в первый раз отворили двери за границу², то мне думалось: напрасно нас, русских, за границу стали пускать – наверное, мы заразимся. И точно, примеры заражения случались в то время нередко. Приедем мы, бывало, за границу, и точно голодные накинемся. Формы правления – прекраснейшие, климат – хоть в одной рубашке ходи, табльдоты и рестораны – и того лучше. Нигде не кричат караул, нигде не грозят свести в участок, не заезжают, не напоминают о Кузьке и его родственницах. Мудрено ли, что при таких условиях ни Валдайские горы, ни Палкин трактир не пойдут на ум, а того меньше крутогорский губернатор Петр Толстолобов.

Ах, и сквернословили же мы в это веселое время! Смешные анекдоты так и лились рекой из уст культурных сынов России. "La Russie... ха-ха!" "le peuple russe...³⁹ ха-ха!" "les boyards russes...⁴⁰ ха-ха!" «Да вы знаете ли, что наш рубль полтинник стоит... ха-

³⁹ Россия... русский народ

⁴⁰ русские бояре

ха!» «Да вы знаете ли, что у нас целую губернию на днях чиновники растащили... ха-ха!» «Где это видано... ха-ха!» Словом сказать, сыны России не только не сдерживали себя, но шли друг другу на перебой, как бы опасаясь, чтоб кто-нибудь не успел напаскудить прежде. И ежели репертуар «рассказов из русского быта» оказывался довольно скудным, то совсем не от недостатка желания сквернословить, а скорее от неумения пользоваться материалом и от недостатка изобретательности.

Само собой разумеется, что западные люди, выслушивая эти рассказы, выводили из них не особенно лестные для России заключения. Страна эта, говорили они, бедная, населенная лапотниками и мякинниками. Когда-то она торговала с Византией шкурами, воском и медом, но ныне, когда шкуры спущены, а воск и мед за недоимки пошли, торговать стало нечем. Поэтому нет у нее ни баланса, ни монетной единицы, а остались только желтенькие бумажки, да и те имеют свойство только вызывать веселость местных культурных людей.

Но с тех пор прошло много лет, и многое, в течение этого времени, изменилось. Увлечение заграничными табльдотами остыло; анекдоты опостылели, хотя запас материалов для них ничуть не истощился. А главное, недобровольная замена рублей полтинника-

ми оказалась далеко не столь смешною, как это сгоряча представлялось. Поэтому ныне мы уже не гарцуем, выгнув шеи, по курзалам, как заколдованные принцы, у которых, несмотря на анекдоты, руки все-таки полны козырей, но бродим понуро, как люди, понимающие, что у них в игре остались только двойки. Даже формы правления не веселят нас, потому что и на этот счет крепко-накрепко нам сказано: делу – время, а потехе – час.

На первый взгляд, все это приметы настолько роковые (должно быть, шкуры-то еще больше на убыль пошли!), что западный человек сразу решил: теперь самое время объявить цену рублю – двугривенный. И были бы мы теперь при двугривенном, если бы рядом с этим решением совсем неожиданно не выдвинулся довольно замысловатый вопрос: "Странное дело! люди без шкур – а живут? Что положено – уплачивают, кого нужно – содержат, даже воровства и те предвидят и следующие на сей предмет суммы вносят без задержания... Каким образом это сходит им с рук? в силу чего?" Но что еще замысловатее: если люди без шкур ухитряются жить, то какую же степень живучести предъявят они, если случайно опять обростут?

Вопросы эти представляются западному человеку в виде загадки, для объяснения которой он ждет поступков. И, в ожидании их, то прибавит копейку к на-

шему рублю, то две копейки убавит, но сразу объявить рублю цену двугривенный – сомневается...

Мы в этом отношении поставлены несомненно выгоднее. Мы рождаемся с загадкой в сердцах и потом всю жизнь лелеем ее на собственных боках. А кроме того, мы отлично знаем, что никаких поступков не будет. Но на этом наши преимущества и кончаются, ибо дальнейшие наши отношения к загадке заключаются совсем не в разъяснении ее, а только в известных приспособлениях. Или, говоря другими словами, мы стараемся так приспособиться, чтоб жить без шкур, но как бы с оными.

Приспособление это, несомненно, облегчило бы нашу жизнь, если бы оно могло навсегда устранить мелькание "загадки". Но этого-то именно оно и не достигает. Времена уже настолько созрели, (полтинники-то ведь тоже не сладость!), что "загадка" с каждым днем приобретает все большую и большую рельефность, все выпуклее и выпуклее выступает наружу... и, разумеется, вводит людей в искушение. Мне скажут, может быть, что на то человеку дан ум, чтоб устраниваться от искушений, но ведь это легче сказать, нежели выполнить. Самая обыкновенная жизненная обстановка – и та на каждом шагу ставит нас лицом к лицу с искушениями. Уж на что, кажется, проще: да ни платить – ан и тут навстречу вопрос летит: а от-

куда ты их возьмешь? Словом сказать, до того дело дошло, что даже если повиноваться вздумаешь, так и тут на искушение наскочишь: по сущей ли совести повинуешься или так, ради соблюдения одной формальности? "Проникни!", "рассмотри!", "обсуди!" – так и ползут со всех сторон шепоты. Шепоты да шепоты – и вдруг... бунт! Куда "проникнуть" собрался? но какому случаю "рассмотреть"? что задумал "обсудить"? Кто это говорит? Кто зачинщик? Тяпкин-Ляпкин зачинщик? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Выходит из рядов Тяпкин-Ляпкин и отдувается. Разумеется, ищут, где у него шкура, и не находят. На нет и суда нет – ступай с глаз долой... бунтовщик! Тяпкин-Ляпкин смотрит веселее: слава богу, отделался! Мы тоже наматываем себе на ус: значит, "проникать", "рассматривать", "обсуждать" не велено. А все-таки каким же образом дани платить? – вот, брат, так штука!

Должно же, однако, чем-нибудь разрешиться это недоумение. В сущности, впрочем, оно и разрешается, но только разрешение-то выходит бесплодное. А именно: разрешается всеобщим недомогательством и какою-то бесформенною, лишенною характерных признаков, тоскою.

Безмерно и как-то тягуче тоскует современный русский человек; до того тоскует, что, кажется, это одно

и обуславливает его живучесть. Благодаря тоске он кое-как еще барахтается, бьется и сознает себя человеком. Не будь ее, он, наверное, допустил бы болоту засосать себя. Тоскует он и дома, но не стыдится и в люди свою тоску нести. В надежде, разумеется, что прикосновение нового жизненного строя хоть сколько-нибудь облегчит измученное сердце. Как бы не так! Эти "новые жизненные строи" не только не освежают и не облегчают, а, напротив, еще больше замучивают. Памяти-то ведь никакими "новыми строениями" не отшибешь...

По крайней мере, нечто подобное случилось недавно со мною. И дома живучи, я не знал, куда уйти от тоски, но как только пропал из глаз вержболовский ручей, так я окончательно почувствовал себя отданным в жертву унынию. Дома мне все-таки казалось – разумеется, это был обман чувств, не больше, – что я что-нибудь могу, наблюсти, закричать караул, ухватить похитителя за руку; а тут даже эта эфемерная надежда исчезла. Тоска, одна тоска – и ничего больше. Думал, что хоть швейцарские "превратные толкования" на время заслонят тоску – ничуть не бывало! Превратных толкований нет и в помине (не нарочно же их разыскивать!), а тоска сосет да сосет. И об чем

тоска? – risum teneatis, amici!^{3 41} – тоска об деле, во-
все до меня не относящемся.

* * *

Позволю себе небольшое отступление.

Было время, когда в литературе довольно ход-
ко пропагандировалось, что России предстоит возве-
стить миру "новое слово". Мысль эта, сама по себе
похвальная, не имела, однако ж, успеха благодаря то-
му, что никто из провозвестников "нового слова" не
дал себе труда объяснить, хотя приблизительно, в
чем состоит его содержание. Трубные звуки какие-то,
потом многоточия, потом опять трубные звуки – раз-
ве это объяснение? Признаюсь откровенно, в числе
скептиков был и я. Возвестители "нового слова" пред-
ставлялись мне вроде чревовещателей, которые ур-
чания собственной утробы принимают за прорицания
пифии. Чем-то подозрительным от них отдавало: не
то кудесничеством, не то проспектусом о вновь изоб-
ретенной мази для ращения волос. Даже не тайною
(хотя и тайна в деле пропаганды никуда не годится),
а секретом.

Теперь, однако ж, я начинаю догадываться, в чем

⁴¹ не смейтесь, друзья!

заклучалась причина неуспеха этих людей. А именно: не в отсутствии "нового слова", но в том, что возвести-тели брали слишком высокую ноту. Они искали *неизвестного* «нового слова» и, не обладая достаточной изобретательностью, чтоб выдумать его, ни достаточным проворством, чтоб осуществить «невидимых вещей обличение», думали заменить это трубными звуками, многоточиями и криком. Тогда как им следовало только осмотреться кругом себя, чтобы просто с полу находку поднять, и притом не одну, а целую уйму таковых. Именно только осмотреться, без чревоуважительств, без трубных звуков, без натуги. Бери полной горстью из кошницы – и сей!

Да, я убежден, что даже на улице, на каждом шагу можно услышать слова, которые для западного человека покажутся не только новыми, но и совершенно неожиданными. Правда, я не скажу, чтоб эти слова были отменные, но, по моему мнению, качество слов – дело наживное. Сегодня нехорошее слово сказали, завтра – и того хуже скажем, а послезавтра – возьмем да и вымолвим. И вдруг объявится просияние, "его же тьма не объят"... Только спрашивается: долго ли оно продержится, просияние-то это? А нуте, признавайтесь! кто из вас иллюминацию эту устроил? кто зачинщики? Тяпкин-Ляпкин зачинщик? Подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Возьмем для примера хоть эту фразу: "тоска об неотносящемся деле" – разве что-нибудь подобное известно западному человеку? По западным понятиям, "неотносящимся" делом называется или то, к которому человек недостаточно приговорен, или то, для успешного ведения которого он не имеет соответствующих способностей, или, наконец, то, из которого он, вследствие своей нравственной испорченности, может сделать источник злоупотреблений. Так, например, берейтор не может творить суд и расправу; идиоту не предоставляется уловлять человеческие сердца; вору не вручается ключ от кассы; расточителю не дозволяется быть распорядителем общественного или частного достояния. Ибо, повторяю, все это, по западным понятиям, дела "неотносящиеся". Напротив того, негодовать по поводу подобных дел, ежели они по временам прорываются в жизнь, требовать их разъяснения и преследования – это не только считается "относящимся" делом, но и для всякого честного человека обязательным.

Я, разумеется, далек от того, чтобы утверждать, что русская жизнь имеет исключительно дело с берейторами, идиотами и расточителями, но для меня вполне несомненно, что всякое негодующее и настойчивое слово, посланное навстречу расхищению и идиотству, неизбежно и как-то само собой зачисляется в

катеорию "неотносящихся" дел. Такой-то украл... да не у вас ведь – какое вам дело? Такой-то идиотски сгубил целую массу людей... да не вас ведь сгубил – какое вам дело? Такой-то позорным образом расхитил и расточил вверенное его охране имущество... да ведь не ваше – какое вам дело? Вот ответы, какие дает обыденная жизненная практика на негодующие и настойчивые запросы. Она снисходительно отнесется к вору, ходатайствующему по своему делу, и назовет беспокойным, безалаберным (а может быть, даже распространителем «превратных толкований») человека, которому дорого дело *общее*, дело его страны.

Да, нельзя даже на минуту усомниться, что подобные отношения к интересам, мало-мальски выходящим из Тесной сферы личных требований, действительно представляют для западного человека "новое слово". Но вопрос: нужно ли ему это слово?

Затем самая "тоска" – разве это не "новое слово" для западного человека? Западный человек может негодовать, ожесточаться, настаивать, но "тосковать" он положительно не умеет. Ни англичанин, ни француз, ни немец не сделают из тоски постоянного занятия и тем менее не будут хвалиться, что вот, дескать, мы страдаем "благородной" тоской. Ибо даже иаиблагороднейшая тоска – и та представляет собой нечто несознанное, безвыходное, свойственное лишь бес-

сильным и недоумевающим людям. Человек ничего другого не видит перед собой, кроме "неотносящихся дел", а между тем понятие о "неотносящихся делах" уже настолько выяснилось, что даже в субъекте наиболее недоумевающем пробуждается сознание всей жестокости и бесчеловечности обязательного стояния с разинутым ртом перед глухой стеной. Очевидно, тут кроется мучительнейшее двоегласие, которое потому только не считается позорным, что оно все-таки составляет шаг вперед сравнительно с самодовольным стоянием с разинутым ртом. Но, чтоб сознать себя воистину человеком, во всяком случае, нужно выйти из этого двоегласия, нужно признать права одного голоса и несостоятельность другого. Одним словом, нужно начать борьбу. А где же взять сил для борьбы? Увы! геройство еще не выработалось, а на добровольные уступки жизнь отзывается с такою обидною скарденостью, что целые десятилетия кажутся как бы застывшими в преднамеренной неподвижности. Остается один выход: благородным образом тосковать.⁴ Несомненно, что ничего подобного не встретишь ни у подошвы Пилата, ни на берегах Сены, ни на берегах Шпрее. Я, конечно, не хочу этим сказать, чтоб западный человек был свободен от забот, недоумений и даже опасностей, – всего этого у него даже более чем достаточно, – но он свободен от обязательного стоя-

ния с опущенными руками и разинутым ртом, и это в значительной мере облегчает для него борьбу с недомоганиями. Так что в этом смысле наша «благородная тоска» воистину представляет для него «новое слово». Но спрашивается: нужно ли оно ему?

Еще пример (тоже намеченный уже выше). Всякое веяние, сколько-нибудь выходящее из пределов обыденности, всегда представляется у нас чем-то злостным, требующим не регулирования, но подавления, и притом всегда же сопрягается с представлением о "зачинщике". Обыкновенно таким зачинщиком является Тяпкин-Ляпкин. Этого Тяпкина-Ляпкина мнут и трут. Сотрут в порошок, думают: ну, теперь слава богу! Смотрят, а он опять вынырнул. И опять начинают мять и тереть. И так до сего дня. Коли хотите, этот вечный Тяпкин-Ляпкин, этот козел отпущения, в лице которого мы стараемся устранить "созревшие времена", – ведь и это, пожалуй, тоже "новое слово" для западного человека, но опять-таки спрашивается: нужно ли оно ему?

Откровенно говоря, я думаю, что слова эти даже не представляют для западного человека интереса новизны. Несомненно, что и он в свое время прошел сквозь все эти "слова", но только *позабыл* их. И «неотносящиеся дела» у него были, и «тоска» была, и Тяпкин-Ляпкин, в качестве козла отпущения, был, и мно-

гое другое, чем мы мним его удивить. Все было, но все позабылось, сделалось ненужным...

Для нас-то нужно ли?

Впрочем, я и сам догадываюсь, что это вопрос праздный. Важность совсем не в том, нужно или не нужно то или другое явление, а в том, что, при известных условиях, и ненужное становится неизбежным. Поди достучись в этой массе дверей, которые сплошь наглухо заперты, – ведь только того и добьешься, что лоб себе разобьешь. Это даже уж не загадка, а какое-то колдовство, которое я назвал бы историческим, если б не боялся, чтоб этот эпитет не послужил прикрытием для всякого рода малодушия. Куда ни обернитесь, на всех лицах вы видите страстное желание проникнуть за пределы загадочной области, и в то же время на тех же лицах читаете какое-то фаталистическое осуждение: нет, не проникнуть туда никогда. Ужели это не колдовство? Ибо, в сущности, что означает это выражение "проникнуть", которое переполняет тоской все сердца? Означает ли оно взлом, насилие, бунт? Нет, оно означает стремление осветить и осмыслить жизнь. Ужели нужно еще доказывать, что такого рода стремление не только вполне естественно, но и не заключает в себе никаких угроз? Доказывать! да разве кому-нибудь доказательства нужны? Так лучше уже прямо, без рассуж-

дений, принять на веру, что все эти стремления, надежды и порывы суть "неотносящиеся дела", которые злоухищренно и преднамеренно выдумал зачинщик Тяпкин-Ляпкин. Пускай он за них и ответит, а вы, не желающие подвергать себя участи Тяпкина-Ляпкина, должны позабыть об "неотносящихся делах" и только, в виде неизреченной льготы, можете слегка об них тосковать. Эта тоска да будет вам во спасение. Пускай она освежает вашу память и не дает вам заоченеть.

Слушать разглагольствия Удава и Дыбы и не чувствовать при этом глубочайшей тоски можно только под условием несомненного нравственного разложения. Ничему подобному западный человек не подвергается, потому что он во всякое время имеет возможность повернуться к сквернословию спиной и уйти. Но мы не можем так поступить. Мы обязаны выслушивать сквернословие и считаться с ним. И не по тому одному, что легкомысленное отношение к нему может смутить беспечальность нашего жития, но и потому, что некуда нам от него скрыться. В форме ли авторитета или в форме простой обиденности, так или иначе, но оно заставит нас выслушать себя. Слушай и чувствуй, как замирает весь организм под игом подавляющей тоски.

И заметьте, что основание этого сквернословия со-

всем не фантастическое, а прямо выхваченное из жизни. Ни Дыба, ни Удав ничего не выдумали, а только возвели в перл создания и издали в свет. Вы тоскуете об "увенчании здания", а Удав на это в упор напоминает об уставе о кантонистах. У вас в глазах мерещатся "гарантии", а Дыба подлавливает ваши мечтания и переводит их на свой подьячески определенный язык: учреждение управы благочиния ⁵. Каким образом произошли эти превращения? – это тайна; но вы чувствуете, что в основе тайны лежит жизненная практика. Ужели же можно представить себе, что вы, партикулярный тоскующий человек, победили этих сквернословящих мудрецов, устами которых говорит сама жизнь?

Поэтому ежели я позволил себе сказать бесшабашным мудрецам, что они говорят "глупости", то поступил в этом случае, как западный человек, в надежде, что Мальберг и Бедерлей возьмут меня под свою защиту. Я *заразился*. Конечно, я заразился на самое короткое время и теперь готов принести в том раскаяние, но ужасно подумать, как я был опрометчив и даже несправедлив. Напротив того, *они* высказали в этом случае милосердие поистине неизреченное, ибо не только предоставили мне, по-прежнему, пользоваться правами состояния, но даже, по приезде в Петербург, никому о моем грубиянстве на зависящее

распоряжение не сообщили. И я никогда не забуду этого одолжения. Буду себе потихоньку тосковать; но чтобы прерывать сквернословие особ, за которыми право на такое признано самими регламентами... никогда!

Никогда, никогда и никогда, потому что, независимо от всяких других соображений, сквернословие это представляет такую неистощимую сокровищницу готовых "новых слов", которая навсегда избавляет от выдумок, а прямо позволяет черпать и приговаривать: на, гнилой Запад, ешь! Только согласится ли он есть?

Итак, тоска, и ни малейшего превратного толкования. Тем не менее мысль, что представление о Швейцарии как-то обязательно отождествляется с представлением о превратных толкованиях, положительно отравляет путешествие по этой стране. Едешь в вагоне и во всяком соседе видишь сосуд злопахательства; приедешь в гостиницу и все думаешь: да где же они, превратные идеи, застряли? как бы их обойти? как бы не встретиться с "киевским дядей", который, пожалуй, не задумается и налгать? Оглянешься кругом – вся природа словно изнемогает под наплывом внутреннего ликования. Все блещет: и небо, и горы, и озёра. Даже гроза – и та летит навстречу, вся блистающая, вся пылающая целым пожаром сверканий. И что же! все это пропускаешь мимо глаз и ушей,

ко всему прислушиваешься и присматриваешься вяло, почти безучастно... И почему?.. потому только, что впечатлительность уже заранее загажена предположением о каких-то "превратных толкованиях"... Risum teneatis, amici!

* * *

Дело было так. Сидел я лунными сумерками под сенью гигантских интерлакенских орешников и по секрету вел разговор с Юнгфрау. Вот, Юнгфрау, говорил я, кабы ты была в Уфимской губернии, и тебя бы причислили к лику башкирских земель. И отдали бы тебя задешево какому-нибудь бесшабашному советнику (как в старинной русской песне поется: «отдал меня сударь-батюшка за немилого; за немилого, за старого, за гадёнка»), который смотрел бы на тебя и роптал. Вот, мол, другим леса да поймы достались, а мне, в награду за любезно-верное житие, дылду отвалили – черта ли я с ней поделаю! И стояла бы ты в своей незапятнанной белой одежде, девственная, неоскверняемая взорами «знатных иностранцев», довлеющая сама себе... Но, разумеется, стояла бы до тех пор, пока, с размножением новоявленных башкирских припущенников, опыт не указал бы, что наступил час открыть на твоей вершине харчевню с арфистка-

ми. Тогда... ах, что бы мы тогда над тобою, Юнгфрау, сделали!

Так вопрошал я Юнгфрау, а луна между тем все ярче и ярче освещала белый лик Девственницы, и в соответствии с этим пуще и пуще разгоралось мое воображение. Незаметно для себя самого я стал прорицать, и, надо сказать правду, нехорошо прорицал. Мнилось мне, будто бы старый бесшабашный советник (или, по выражению песни, "гадёнок"), скучая скромными доходами, получаемыми с харчевни, ходатайствует о перенесении Юнгфрау в Кунавино ⁶, намекая при этом и о потребных на сей предмет прогонных и подъемных деньгах... Шлетя будто бы этот проект в Петербург и, разумеется, прежде всего рассматривается с точки зрения пользы российской промышленности, имеющей, «как известно», главный сбыт на нижегородской ярмарке... Образуется, конечно, комиссия; бесшабашный советник доказывает, что он патриот... Являются евреи... С одной стороны, «тормозят» дело, с другой – «подмазывают»... В городе ходят слухи, что в деле принимает участие баронесса Мухобоева, которая будто бы ездила в Берлин и уж переговорила с Мендельсоном... Остается, стало быть, в «последний раз» подмазать и двинуть... Но только что я было занялся окончательным разрешением вопроса, подлежит ли ходатайство сие удовле-

творению или не подлежит, как вдруг мечтания мои оборвались. С соседней скамьи до меня совершенно отчетливо донеслись родные звуки.

– Послужил – и будет! – говорил неизвестный голос, – и заметь, я ни о чем никогда не просил, ничего не, ждал... кроме спасибо! Простого, русского спасибо... кажется, немного! И вот... Но нет, довольно, довольно, довольно!

Последовало минутное молчание; затем другой голос патетически продекламировал:

– Простого, русского спасибо!.. c'est bien dit... tu es un noble coeur, Theodor!⁴²

– Конечно, я знаю, что мой час еще придет, – продолжал первый голос, – но уж тогда... Мы все здесь путники... nous ne sommes que des pauvres voyageurs egares dans ce pauvre bas monde...⁴³ Но!

На этой угрожающей ноте голос пресекся. Мимо меня, по направлению к Неве, пронесся густой вздох... и все смолкло.

Можно себе представить, как встрепенулось при этих звуках мое русское сердце! Я жадно начал вглядываться сквозь лунные сумерки и после некоторых усилий успел рассмотреть двух "знатных иностран-

⁴² хорошо сказано... ты благородное сердце, Теодор!

⁴³ мы всего только бедные путешественники, заблудившиеся в этом жалком мире

цев", которых лица показались мне несколько знакомыми. Действительно, собравши мои воспоминания, я, наконец, доискался. То были два графа: граф ТвердоонтС ⁷ и граф Мамелфин. Первый из них, в свое время, был знаменит и, подобно прочим подвижникам русской земли, мечтал об увенчании здания; но, получив лишь скудное образование к кадетском корпусе, ни до чего не мог додуматься, что было бы равносильно даже управе благочиния. Что-то необычайно смутное мелькало в его голове, чего ни он сам, ни его подчиненные не были в состоянии ни изловить, ни изложить. Какой-то вселенский смерч, который надлежало навсегда и повсеместно водворить и которому предстояло все знать, все слышать, все видеть и в особенности наблюдать, чтобы не было превратных идей и недоумок. Когда он излагал свои мысли, — излагал беспорядочно, с употреблением неподлежащих выражений, — то никто ничего не понимал, но всякий догадывался, что если дать этому безвыходному кадету волю, то он непременно учинит что-нибудь до того неизгладимое, чего впоследствии ни под каким видом не отскоблить. И, может быть, именно в силу этой неотскоблимости он и держался. Был такой момент, когда казалось, что русское общество одержимо сверхъестественным недугом, от которого может избавить его только смерч. Тот смерч, о котором не

упоминается ни в каких регламентах и перед которым всякий партикулярный человек, как бы он ни был злонаправлен, непременно спасует. Но ТвэрдоонтС был кадет, и не спасовал. Настоящего смерча, положим, у него не вышло, но был ужас, было потрясение великое. Все в страхе спрашивали себя: «кто осла дивия быстра соделал? узы ему кто развязал?» – и не находили ответа. А граф ТвэрдоонтС между тем гарцевал и все твердил одно и то же слово: смерч, смерч, смерч! К счастью, на пути его встретились препятствия. Во-первых, кадетская полуграмотность и сопряженное с нею неумение дать форму смутности обуревающих чувств и, во-вторых, – что важное всего – неумение держаться на высоте, не наполнив вселенной болтовней и хвастовством. Не успел еще Удав прийти на помощь мятущемуся кадету, чтобы формулировать учение о вселенском смерче, как кадет уж шархнул. Шархнул, как мальчишка, которого за лганье и непотребные шашни исключили из «заведения».

Что же касается до графа Мамелфина, то он был замечателен лишь тем, что происходил по прямой линии от боярыни Мамелфы Тимофеевны. Каким образом произошел на свет первый граф Мамелфин – предания молчали; в документах же объяснялось просто: "по сей причине". Этот же девиз значился и в гербе графов Мамелфиных. Но сам по себе граф, о кото-

ром идет речь, ничего самостоятельного не представлял, а был известен только в качестве приспешника и стремянного при графе ТвэрдоонтС.

Эта встреча произвела на меня двойственное впечатление. Прежде всего меня объял священный ужас. Вспомнились стихи:

Так храм оставленный – все храм,
Кумир поверженный – все бог...⁸

И в то же время как-то само собою сказалось: а ну, как укусит? Хотя у нас на это счет довольно простые приметы: коли кусается человек – значит, во власти находится, коли не кусается – значит, наплевать, и хотя я доподлинно знал, что в эту минуту графу Пустомыслову⁹ даже нечем кусить; но кто же может поручиться, совсем ли погасла эта сопка или же в ней осталось еще настолько горячего матерьяла, чтоб и опять, при случае, разыграть роль Везувия? Разве не бывало примеров, что и в оставленных храмах вновь раздавались урчания авгуров, что и низверженные кумиры вновь взбирались на старые пьедесталы и начинали вращать алмазными очами? Но главную роль, повторяю, все-таки играл священный ужас, который заставляет невольно трепетать при мысли: вот храм, в котором еще недавно курились фимиамы и разда-

валось пение и в котором теперь живет домовой!

Но с другой стороны, меня так и подмывало устроить какую-нибудь проказу. Раб ведь я, а потому что же мудреного, что меня привлекают только удовольствия вероломства. Потрясти когда-то злонравного, а ныне бессильного идола за нос: что, мол, небось еще жив? Узнать, чем он теперь пробавляется, и достаточно ли одних воспоминаний о смерче, чтоб поддерживать жизнь в этом идольском организме? Толкнуть его как бы невзначай, посмотреть ему запанибрата в глаза, похлопать по плечу... Одним словом, проделать все, что истинно русское подневольное вероломство повелевает. И в конце концов допытаться, действительно ли это "оставленный храм", а не...

И вдруг меня осенила мысль: скажусь репортером от газеты "И шило бреет" и явлюсь побеседовать. Нынче ведь насчет этого строго: явился репортер – хочешь не хочешь, а распоясывайся! Даже если Подхалимов или "наш парижский корреспондент" зайдет, – и тут держи ухо востро! Ежели спросит: где воспитание получил? – отвечай скромно: воспитание получил недостаточное, но, будучи одарен от природы светлым умом, и т. д. Ежели спросит: что означает слово "смерч"? – отвечай: слово сие русское, в переводе на еврейский язык означающее Вифезда... Но, может быть, ты не знаешь, что такое Вифезда? –

Вифезда, братец, это купель Силоамская ¹⁰. – А купель Силоамская что? – Ах, братец мой, какой же ты...

Обыкновенный партикулярный человек ни за что подобных вопросов не предложит, – не сочтет себя вправе, – а Подхалимов предложит. Подхалимовы – это особенная порода такая объявилась, у которой на знамени написано: ври и будь свободен от меры! Всюду проникнет Подхалимов; придет к Гамбетте – Гамбетту проэкзаменует; потом съездит к Гладстону – и его обнюхает. А то и не ездивши скажет: был. Чем больше к человеку Подхалимовых шляется, тем несомненнее для темного люда, что тот человек славен. А ежели к кому совсем Подхалимов не заезжает, то это означает, что человек тот изображает собой даже не "храм оставленный", а упраздненную ретираду. И в эту ретираду сам "наш парижский корреспондент" не зайдет, а, зажав нос, пробежит мимо. Гм... а что, ежели и в самом деле прикинуться Подхалимовым?

* * *

Сказано – сделано. Не откладывая дела в дальний ящик, я сейчас же отправился в гостиницу и предварил графа о своих намерениях следующим письмом:

"Сиятельнейший граф!

Я – Подхалимов, и завтра, в десятом часу утра, буду у Вашего сиятельства. Нет сомнений, что Вы заранее угадываете значение и цель этого визита. Вы – одна из недавних звезд современного горизонта; я – скромный репортер газеты «И шило бреет». Но в самой скромности я представляю собой силу. Русская публика имеет право знать, как предполагаете Вы поступить с нею в том случае, ежели фортуна вновь улыбнется Вам. Фортуна слепа, сиятельнейший граф! и Вам, больше нежели кому-нибудь, должно быть это известно. Не желая застать Вас врасплох, я даю Вашему сиятельству эту ночь на размышление.

С истинным почтением и проч.

Iwan de Podkhalimoff".

На другой день, в назначенный час, я уже стоял в швейцарской аристократического отеля Jungfraublick (chambres a partir de 4 fr., dej. 2, din. 5, serv. 1, boug. 1, omnib. 1 fr. 50 c.)⁴⁴ и требовал графа ТвэрдоонтС к ответу. Я пришел в черном сьюте, в сиреневого цвета перчатках и в лакированных полусапожках; волосы мои были на помажены, лицо – вымыто. На губах игра-

⁴⁴ «Вид на Юнгфрау» (комнаты для приезжающих от 4 фр., завтраки 2, обеды 5, прислуга 1, свеча 1, омнибус 1 фр. 50 с)

ла улыбка, говорившая, что я обрадован и польщен, но в глазах, на всякий случай, светилась гражданская скорбь. Общее выражение лица внушало доверие. С своей стороны, граф не заставил меня ждать и вышел ко мне, одетый в легкую жакетку и в белый однобортный жилет с светлыми пуговицами, застегнутыми сверху донизу *a la militaire*.⁴⁵ Это был мужчина средних лет (между 45 и 50), высокого роста, бравый и нимало не отяжелевший. Выражение его лица я затрудняюсь определить, но знаю, что оно напомнило мне свеженаписанный масляными красками портрет, по которому неосторожный прохожий слегка задел рукавом. Нечто смутное и в то же время... как бы благородное. Но подлинно ли благородное – на этот вопрос, по нынешнему времени, трудно ответить. Ибо бывает благородство, так сказать, самую природой на лице человека написанное, и бывает такое, которое «наводится» на лицо тщательными омовениями, употреблением соответствующих духов и мыл, долгими сеансами перед зеркалом и проч. Как бы то ни было, но он был, видимо, взволнован, хотя, подавая мне руку, ни одним мускулом не обнаружил, что это стоит ему усилий. Кажется, это называется на ихнем языке «выдержкой». С своей стороны, я сжал эту руку с почтительностью, к которой, однако ж, на всякий случай,

⁴⁵ по-военному

примешал тонкий оттенок наглости. И тогда между нами произошел следующий colloquium.⁴⁶

⁴⁶ разговор

ГРАФ И РЕПОРТЕР ¹¹ **ДРАМАТИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР ОДНОМ ЯВЛЕНИИ**

Действующие лица:

Граф *Твэрдоонто*, странствующий администратор.

Подхалимов, репортер русской газеты «И шило бреет».

Сцена представляет салон в хорошей гостинице; из окон вид на Юнгфрау.

Подхалимов (в наглом восторге). Ваше сиятельство! сиятельнейший граф!

Граф. Рад, очень рад. Очень рад с вами познакомиться, мсьё (делает видимое усилие, чтоб произнести частицу «де»)… де Подхалимов. Я всегда к услугам прессы. Ведь пресса – это нынче шестая держава, а в том число и русская… «Печатать дозволяется» – так, кажется? (Кличет.) Andre! Vous apporterez

un carafon de Gorki pour monsieur...⁴⁷⁴⁸ (*К Подхалимову.*) Потребляете?

Подхалимов. Бросил-с... Конечно, путешествуя, например, по Волге... ваше сиятельство сами изволили знать... трудно, чтоб воздержаться совсем.

Граф (*с чувством*). Я понимаю вас!

Подхалимов. А здесь это не в обычае, да притом и тепло-с...

Граф (*с возрастающим чувством*). Я понимаю вас... *de Podkhalimoff!* (*Подает Подхалимову руку, которую последний принимает, слегка отделившись от стула.*)

Минутное молчание, в продолжение которого влетает в комнату муха и садится графу на нос. Граф хочет ее изловить, но убеждается, что это гораздо труднее, нежели уловлять людей. Наконец, Подхалимов успевает переманить муху на свой нос.

Граф. Благодарю вас. Ах, эти мухи! Вы, конечно, знаете стих Пушкина:

⁴⁷ Андрей! Принесите господину графинчик горькой

⁴⁸ Водка горькая, двойная померанцовая, завода Штритера, продается за границей во всех *debits de vins* (виноторговля) под именем Gorki. (*Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.*)

Красного лета отравы, муха несносная, что ты...¹²

Charmant!⁴⁹ Кстати: вы были на этом празднике... в Москве?¹³

Подхалимов (смущенно, как бы предвидя опасность). Был, ваше сиятельство.

Граф (внезапно вообразив себе, что он вновь призвал к делам. Строго). И вместе с прочими... а? (Машет указательным перстом перед носом Подхалимова.)

Подхалимов (уклончиво). Ваше сиятельство! ведь нынче дозволено-с!

Граф (спохватившись). Да... нынче... я и забыл! А впрочем, я и всегда!.. Pouschkin! quel geant!⁵⁰ (Декламирует.)

Красного лета отравы, муха несносная, что ты...

Кстати о Пушкине. Я недавно с одним его родственником познакомился... Представьте себе! из всего Пушкина знает только стих: «Мне вручила талисман»...¹⁴ Это... родственник!! А впрочем, довольно об

⁴⁹ Великолепно!

⁵⁰ Пушкин! что за исполин!

этом; приступим к нашему делу. Прошу предлагать вопросы.

Подхалимов (*некоторое время собирается с мыслями*). Граф! кто ваши родители?

Граф (*изумленно, но покоряясь своей участи*). Я происхожу от боковой линии. Это несколько странно, но... Словом сказать, я – граф ТвэрдоонтС! Скажите, однако ж, разве прессе необходимо знать эти подробности?

Подхалимов. Пресса все должна знать, ваше сиятельство. (*Вынимает записную книжку и пишет: "найден в корзине на крыльце; сравнить: Moise sauve des eaux* ¹⁵ .⁵¹) Будем продолжать. Где ваше сиятельство изволили продолжать воспитание?

Граф. Я должен сознаться, что воспитание я получил недостаточное... в одном из кадетских корпусов. Но... (*хочет сказать нечто в свою похвалу*).

Подхалимов. Понимаю. Но впоследствии вы, конечно, постарались восполнить недостаток солидного образования чтением известных авторов?

Граф. Да, я читал довольно много. Всего Поль до Кока, всего Феваля и, наконец, «Напа»... Из серьезных писателей – Цитовича.

Подхалимов. Прекрасно-с. (*Записывает: «воспи-*

⁵¹ Моисей, спасенный из воды

тание получил недостаточное, но, будучи одарен светлым умом, уже в чине поручика решился обогатить оный разнообразным чтением»).) Но имеете ли каких наружных пороков?

Граф (выпрямляясь и опустив руки по швам). Без отметин-с.

Подхалимов (осматривает его). Действительно! Но будем продолжать наш опрос. Граф! как вы думаете, обильно ли наше отечество?

Граф (на минуту задумывается, как бы соображая). Что вам сказать на это? Есть данные, которые заставляют думать, что да, есть и другие данные, которые прямо говорят: нет.

Подхалимов. Однако же, граф!

Граф. Признаюсь вам, я никогда не придавал этому вопросу особенной важности. Мне всегда казалось, что для нашего отечества нужно не столько изобилие, сколько расторопные исправники.

Подхалимов. Так что, например, ежели известную местность постиг неурожай, то, по мнению вашего сиятельства, достаточно послать в ту местность двоих исправников вместо одного, и вредные последствия неурожая устранятся сами собой?

Граф. Не вполне так, но в значительной мере – да. Бывают, конечно, примеры, когда даже экзекуция оказывается недостаточною; но в большинстве случаев

– я твердо в этом убежден – довольно одного хорошо выполненного окрика, и дело в шляпе. Вот почему, когда я был при делах, то всегда повторял господам исправникам: от вас зависит – все, вам дано – все, и потому вы должны будете ответить – *за все!*

Подхалимов (умиленный). Ах, ваше сиятельство!

Граф (одушевляясь). Скажу вам откровенно: вся наша беда в том именно и заключается, что мы слишком охотно возбуждаем вопросы о *неизобилии*. Напоминая голодному об еде, мы тем самым, так сказать, искусственно вызываем в нем мысль о необходимости таковой. И притом, непременно в *изобилии*. Тогда как если б мы этого не делали, то, наверное, из десяти случаев в девяти самые *неизобильные* люди сочли бы себя достаточно *изобильными*, чтоб, ввиду соответствующих напоминаний, своевременно выполнить лежащие на них повинности.

Подхалимов (удивляясь премудрости). Это, ваше сиятельство, в своем роде... идея!!

Граф (хвастаясь). В моей служебной практике был замечательный в этом роде случай. Когда повсюду заговорили о *неизобилии* и о необходимости заменить оное *изобилием*, – грешный человек, соблазнился и я! Думаю: надобно что-нибудь сделать и мне. Сажусь, пишу, предписываю: чтоб везде было *изобилие!* И что ж! от одного этого неосторожного слова *неизобилие*,

до тех пор тлевшее под пеплом и даже казавшееся изобилием, – вдруг так и поползло изо всех щелей! И такой вдруг сделался голод, такой голод...

Подхалимов. Но, конечно, ваше сиятельство...

Граф (*играя брелоками*). Через месяц спокойствие было водворено.

Подхалимов. Ах!! (*Хочет бежать.*)

Граф. Успокойтесь, de Podkhalimoff, потому что теперь все это уж сделалось достоянием истории. Но тогда я вынужден был так поступить. Почему вынужден? – а потому просто (*смешивает настоящее с прошедшим*), что для меня главное – чтоб в пределах моего ведомства царствовало спокойствие. И чтоб никто ничего не говорил. Когда все спокойны – и я спокоен; когда я спокоен – и все спокойны. А ежели при этом все довольствуются тем «изобилием», какое кому предназначено – я своим, вы – своим, то лучше и не надо. Такова моя система. Не дальше, как сегодня, призвав моего секретаря (*вдруг вспоминает, что он не более как «достояние истории»*)... Тьфу! Продолжайте, прошу вас.

Подхалимов (*записывает: «об изобилии России думает, что изобильна, но не весьма; недостаток сей полагает устранить, удвоив комплект исправников»*). Граф! какого вы мнения о русском народе?

Граф (*постепенно утрачивает стыд*). Различно-

го. Русский народ добр, гостеприимен и... легковерен. Таковы его хорошие стороны, но и только. Подлинно добродетельным он едва ли может сделаться, ибо чересчур пристрастен к спиртным напиткам.

Подхалимов. Но вы забываете, ваше сиятельство, что акциз с спиртных напитков представляет собой добрую часть нашего бюджета, и следовательно...

Граф. Не только не забываю, но всечасно о том помышляю. И даже, однажды, быв спрошен по этому предмету, отвечал так: если б русский мужик и добровольно отказался от употребления спиртных напитков, то и тогда надлежало бы кроткими мерами вновь побудить его возвратиться к оным.

Подхалимов. Но, в таком случае, каким образом согласовать ваше требование, чтоб русский мужик был добродетелен, с таким, можно сказать, бюджетным осуждением его на обязательное пьянство?

Граф (*разводит руками*). Вот это именно и есть... наша ахиллесова пята!

Подхалимов. Но так как и на этой пяте покоятся все наши упования, то выходит, что и во всех исходящих отсюда распоряжениях должна главным образом господствовать ахиллесова нята? Или, говоря иными словами, русский бюрократ...

Граф. Не доканчивайте. C'est terrible, mais... c'est

vrai!⁵²

Подхалимов (*записывает: «о свойствах русского народа мнения хорошего, но не вполне; полагает, что навсегда осужден пить водку»*).

Граф (*вновь смешивает прошедшее с настоящим*). Много у нас этих ахиллесовых пят, mon cher monsieur de Podkhalimoff! и ежели ближе всмотреться в наше положение... ah, mais vraiment ce n'est pas du tout si trou-la-la qu'on se plait a le dire!⁵³ Сегодня, например, призываю я своего делопроизводителя (*вновь внезапно вспоминает, что он уже не при делах*)... тьфу!

Подхалимов (*почтительно, но не без наглости*). Ваше сиятельство! простите меня, но мне кажется, что вы... огорчены?

Граф (*с достоинством осматривает Подхалимова с ног до головы*). Чем... сударь?

Подхалимов (*заискивающе*). А хоть бы тем, ваше сиятельство, что вы находитесь в невозможности излить на Россию всю ту массу добра, которую вы предназначили для нее в вашем добром русском сердце?!

Граф (*восчувствовал*). Вы правы... мой друг! (*По-*

⁵² Это ужасно, но... это правда!

⁵³ ah, но по-настоящему это совсем не такие пустяки, как об этом любяют говорить!

дает ему руку.) Au fond, je suis bon.⁵⁴ И я люблю Россию... La Russie! Swiataia Rouss! parlez-moi de Га!⁵⁵ (Хлопает себя по ляжке.) Сколько беспокойных ночей я провел, думая, что бы такое придумать... И представьте себе – всегда и везде один ответ: ахиллесова пята! Не далее как час тому назад я говорил моему другу, графу Мамелфину: да сделаем же хоть что-нибудь для России... И хоть убей! Смотрите! вон он о сю пору ходит под орехами... Но вряд ли что-нибудь выдумает!

Подхалимов (смотрит в окно). Ничего не выдумает, ваше сиятельство. Но, во всяком случае, уже и то приятно, что ваши сиятельства изволите любить Россию и, стало быть, находите ее заслуживающею снисхождения... Не правда ли, граф?

Граф. Ежели вы хотите, чтоб я откровенно выразил мое мнение, то скажу вам: да, Россия виновата. Она во многих отношениях ведет себя неделикатно и, в особенности, не ценит... заслуг! Но я не злопамятен, мой друг! и, разумеется, если когда-нибудь потребую, чтоб я определил степень ее виновности, то я отвечу: да, виновна, но в высшей степени заслуживает снисхождения. Подхалимов! вы, конечно, имеете понятие об идее, которою я руководился, когда был при

⁵⁴ В сущности, я добр

⁵⁵ Россия! Святая Русь! что и говорить!

делах. Сознаюсь, это была идея несколько суровая. Я хотел все видеть, все слышать, все знать. Разумеется, это было необходимо мне для того, чтоб иметь возможность вырвать с корнем плевела, а добрым колосьям предоставить дозреть, дабы употребить их в пищу впоследствии. Повторяю: это была идея грандиозная, благодетельная, но... чересчур суровая! В настоящее время я понял это и значительно-таки смягчил свою систему. И знаете ли – почему?

Подхалимов. Почему, ваше сиятельство?

Граф. А потому, мой друг, что, думая вырывать плевела, я почти всегда вырывал добрые колосья... То есть, разумеется, не всегда... однако!

Подхалимов (содрогаясь при мысли, что и он мог быть вырванным). Ах, ваше сиятельство!

Граф (восторженно). И в довершение всего, представьте себе: желая все знать – я ничего не знал; желая все видеть и слышать – я ничего не видал и не слышал. Одно время я просто боялся, что сойду с ума!

Подхалимов. Значит, только напрасно изволили беспокоиться... А впрочем, я полагаю, что и особенно тревожиться тем, что вырвано больше добрых колосьев, чем плевел, нет причин. Ведь все равно, если б добрые колосья и созрели – все-таки ваше сиятельство в той или другой форме скушали бы их!

Граф. Непременно! Только это соображение и уте-

шает меня. Потому что, признаюсь, я порядочно таки в свое время напроказил.

Подхалимов. Но ныне... Как бы ваше сиятельство поступили, если б отечество вновь обратилось к вам и к графу Мамелфину с кличем: «шестуйте, сыны!»?

Граф. Я думаю, что мы предпочли бы сидеть смиренно и получать присвоенное содержание. Ах, верьте мне, что в наше время это самая плодотворная внутренняя политика!

Подхалимов. Но ахиллесовы пяты, ваше сиятельство! надо же какое-нибудь насчет их распоряжение сделать?

Граф. Я думаю, что они заживут сами собой. Но, впрочем, разумеется, ежели бы...

Подхалимов. То-то вот и есть, что «впрочем»... Трудно, ваше сиятельство! трудно, стоя на известной высоте, воздержаться, чтоб не сделать хоть маленького распоряженьица! Положим, что ахиллесовы пяты и сами собой заживут, но ведь это когда-то будет! А между тем вашим сиятельствам хочется, чтоб поскорее...

Граф. А что вы думаете... ведь это очень-очень верное замечание! Вы глубоко изучили человеческую душу, Подхалимов! Но если б даже было и так... что ж, я готов! *(Неожиданно вынимает из кармана трубу и трубит.)*

Рассыпьте, молодцы!

За горы, за кусты!

По-два в ряд!¹⁶

Подхалимов (наскоро записывает: «отечество любит и даже находит заслуживающим снисхождения; но, впрочем, готов поступить и по всей строгости законов». Встает). Ваше сиятельство! не смею больше утруждать вас! Хотя вопросы так и теснятся в голове, но вижу, что ваше сиятельство уже изволите испытывать потребность в иных развлечениях... (Становится в позу.) Ваше сиятельство! Позвольте вам доложить! Никогда не проводил я времени так приятно и не выносил таких для себя поучений, как в течение сегодняшнего нашего собеседования! И, мне кажется, если б я мог следовать только влечению моего сердца... (Хочет сделать что-то нехорошее, но только в бессилии машет руками.) Ваше сиятельство! позвольте, во всяком случае, надеяться, что эта беседа не будет последнею?

Граф (пристально смотрит на Подхалимова). Подхалимов! говорите откровенно! вы хотите водки?

Подхалимов (после мгновенного колебания). Позвольте, ваше сиятельство!

Приносят графин водки и рюмку. Подхалимов нали-
вает. Занавес медленно опускается.

* * *

Следя за современным жизненным процессом, я чаще всего поражаюсь постепенным оскудением нашего бюрократического творчества. И именно за последнее время как-то особенно обострилось это явление. Прежде, бывало, все распоряжения с «понеже» начинались. "Понеже – например – из практики других стран явствует, что свобода книгопечатания, в рассуждении смягчения нравов, а такжеде приумножения полезных промыслов и художеств, зело великие пользы приносит, и хотя генерал-маёр Отчаянный таковой отрицает, но без рассудка. Тогда ради *признано за благо*: цензурное ведомство упразднить на вечные времена, на место же оногo учредить особый благопопечительный о науках и искусствах комитет, возложив на таковой наблюдение, дабы в Российской империи быстрым разумом Невтонам без помехи процветать было можно". Не длинно, но чрезвычайно хорошо. Или, по протечении времени, наоборот: "Понеже из опыта, а такжеде из полицейских рапортов усматривается, что чрезмерное быстрых ра-

зумом Невтонов ¹⁷ размножение приводит не к смягчению нравов, но токмо к обременению должностных мест и лиц излишнею перепискою, в чем и наблюдения генерал-маёра Отчаянного согласно утверждают. И того ради *приказали*: Попечительный о размножении Невтонов комитет упразднить, а на место оно-го восстановить цензурное ведомство в прежних пределах, предписав таковому наблюсти, дабы впредь Невтонам проявлять себя неповадно было". Опять не длинно и хорошо. Видно, что выдумщик не только сам сознаёт мотивы своей выдумки, но желает, чтоб эти мотивы были признаны и теми, до кого выдумка относится. Было ваше времечко, господа, пожуировали; теперь «времечко» прошло. Почему прошло? – потому что «из опыта и полицейских рапортов усматривается...». Право, хорошо. Напротив того, ныне пишут не длинно, но нехорошо. Оттого ли, что потухло у бюрократии воображение, или оттого, что развелось слишком много кафешантанов и нет времени думать о деле; как бы то ни было, но в бюрократическую практику мало-помалу начинают проникать прискорбные фельдъегерские предания. Ни «понеже», ни «поелику» – ничего уже нет; осталось одно безнадежное слово: пошел!

Но что всего замечательнее, это оскудение творчества замечается именно только в сфере бюрократии

– и нигде больше.

Начать хоть с законов. Во всей обширной сфере законодательства вы не только не встретитесь с оскудением, но, напротив, скорее найдете излишество творчества. Прочтите указы губернаторам, губернским правлениям, палатам государственных имуществ, врачебным управам – чего только тут не предусмотрено? Затем проштудируйте осьмой, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый томы ¹⁸ – какое богатство прозорливости, попечительности и даже фантазии! И везде в выноске либо «понеже», либо «поелику». Человеку предстоит только родиться, а там уж и пошла писать. Так было, по крайней мере, лет пятнадцать, двадцать тому назад, а теперь... я не знаю даже, не упразднены ли все эти законы совсем? Знаю, например, что палаты государственных имуществ, врачебные управы, строительные комиссии и проч. упразднены, но между кем распределены все «поелику» и «понеже», которые были на них возложены, – не знаю. Вероятно, если внимательнее поискать, то в какой-нибудь щелчке они и найдутся, но, с другой стороны, сколько есть людей, которые, за упразднением, мечутся в тоске, не зная, в какую щель обратиться с своей документом?

Или возьмите сферу русского адвокатства. Тут что ни шаг, то богатство фантазии, что ни слово, то вы-

мысел. И, к чести сословия нужно сказать, вымысел – всегда мотивированный. Ни один самый плохонький адвокат не начнет защитительную речь ни с "тем не менее", ни с "а дабы" (а граф Твэрдоонто так именно и начнет), но непременно какой-нибудь фортель да выкинет. Особенно ежели по соглашению. Соглашение – святое дело; оно подстрекает адвоката, поддерживает в нем бодрость, обязывает быть изобретательным. Ежели сумеешь убедить судей – вот деньги: ешь, пей и веселись! ежели не сумеешь – вот шиш. В сей крайности поневоле будешь выдумывать. А затем, выдумывая да выдумывая, получишь привычку быть изобретательным и в делах по назначению поручаемых. Тогда как чиновнику – какая корысть? Будет ли он мозгами шевелить или не будет – все одно двадцатого числа наравне с другими жалованье получит. А иногда даже и зазорно мозгами шевелить: пусть лучше не я, а какая-нибудь бестия шевелит! Конечно, можно за эти провинности места лишиться, или награды к празднику не получить, но и тут лазеечка есть: тетенька попросит. А в адвокатском сословии даже самые лучшие тетеньки и те не помогут. Отдувайся, как знаешь, сам...

Об литературе и говорить нечего: известно, что голь на выдумки хитра. Литература живет выдумкой, и чем больше в ней встречается "понеже" и "поели-

ку", тем осязательнее ее влияние на мир. Говорят, будто современная русская литература тоже, подобно бюрократии, предпочитает краткословность винословности, но это едва ли так. Действительно, литература наша находится как бы в переходном положении, именно по случаю постепенного упразднения того округленного пустословия, которое многими принималось за винословность, но, в сущности, эта последняя совсем не изгибла, а только преподносится не в форме эмульсии, а в виде пилюли – глотай! Но если бы даже литература и впрямь захудала, то это явление случайное и временное. Для литературы нет расчета "худать", потому что в ней принцип соглашения с читателями играет главную роль. Хочешь не хочешь, а шевели мозгами, уловляй сердца, убеждай!

Одним словом, везде, куда ни обратитесь, везде вы увидите проникновение возбуждающего начала, которое устраняет преждевременное одряхление. В одной только бюрократической профессии это начало отсутствует. Правда, что все эти "понеже" и "поелику", которыми так богаты наши бюрократические предания, такими же чиновниками изобретены и прописаны, как и те, которые ныне ограничиваются фельдъегерским окриком: пошел! – но не нужно забывать, что первые изобретатели "понеже" были люди свежие, не замученные, которым в охотку было изобретать. То

было время насаждения наук и художеств, фабрик и заводов, армий и флотов. И дело было новое, и люди новые – от этого и "понеже" выходило само собой, независимо от надежды на увеличение окладов. А нынче все это примелькалось, прислушалось, приелось. Иной и рад бы "понеже" вернуть – ан у него с души прет. Вот он и тянет канитель, дела не делает, от дела не бегают. А прикрикнут на него, заставят какую ни на есть выдумку по начальству представить – он присядет на минуту, начертит: "пошел!" – и готов.

Вероятно, в этих видах начали ныне прибегать к комиссиям. Все, дескать, на народе постыднее будет. Но тут опять другая беда: с представлением о комиссии неизбежно сопрягается представление о пререканиях. Одному нравится арбуз, другому – свиной хрящик. А так как в чиновничьем мире разногласий не полагается, то, дабы дать время арбузу войти в соглашение с свиным хрящиком, начинают отлынивать и предаваться боковым движениям. Собирают справки, раздают командировки, делаются извлечения из архивных дел, а "понеже" тем временам спит да спит непробудным сном. Да вряд ли когда-нибудь и проснется, потому что для того, чтоб осуществилось это пробуждение, необходимо, чтоб оно кого-нибудь интересовало. А кого же оно может интересовать? Те два члена, которые на первых порах погоря-

чилились и упорно остались один при арбузе, другой – при свином хрящике, давно уж махнули на все рукой. "Нечего сказать, – находка! – рассудили они, – собрали какую-то комиссию, нагнали со всех сторон народу, заставили о светопреставлении толковать, да еще и мнений не выражай: предосудительно, вишь!" И кончается обыкновенно затея тем, что "комиссия" глохнет да глохнет, пока не выищется делопроизводитель по-предприимчивее, который на все "труды" и "мнения" наложит крест, а внизу напишет: "пошел!" И готово.

Сознаюсь откровенно: я никак не могу понять, почему пререкания считаются в настоящее время предосудительными. Пререкания в качестве элемента, содействующего правильному ходу административной машины, издавна были у нас в употреблении, и я даже теперь знаю старых служак, которые не могут вспоминать об них иначе, как с умилением. Еще недавно Удав объяснял мне:

– В пререканиях власть почерпала не слабость, а силу-с; обыватели же надежды мерцание в них видели. Граф Михаил Николаевич – уж на что суров был! – но и тот, будучи на одре смерти и собрав сподвижников, говорил: отстаивайте пререкания, друзья! ибо в них – наш пантеон!

А Дыба с своей стороны удостоверял:

– Что положение пререкателей было небезопасно

– это так; что большинство их кончало служебную карьеру, рассеянное по лицу земли, – и это верно. Но бывали, однако ж, случаи, когда и скромный голос советника губернского правления достигал до ступеней-с...

И затем, застыдившись и крякнув (дело, очевидно, касалось его личности), присовокуплял:

– Я сам один пример такой знаю. Простой советник, а на целую губернию сенаторский гнев навлек-с. Позвольте вас спросить: если б этого не было, могла ли бы истина воссиять-с?

Как хотите, а я положительно стою на стороне Удава и Дыбы. Конечно, я понимаю, что собственно "пантеона" тут нет, но ежели уж ничего другого не выработалось, то пусть остаются хоть пререкания. Если нет подлинной надежды, то пусть будет хоть мерцание надежды. Если нет подлинных перспектив, то пусть остается в перспективе "сенаторский гнев". Не придется нам быть прихотливыми, и до тех пор, покуда в основании нашей жизни лежит пословица: выше лба уши не растут, то ладно будет, если хоть кой-какие обрывочки "перспектив" на нашу долю выпадут. Если что выпадет – лови! а не выпадет – жди и воспитывай в себе "надежды мерцание". Все-таки хоть что-нибудь, а не голое "ничего". Что же касается до власти, то и в этом отношении я согласен с Удавом: не сла-

бость она почерпала в пререканиях, а силу. Прежде всего, общее правило: ежели надоел пререкатель, то ничего не стоит его расточить – разве это не сила? А затем и другая сила: обыватель, зная, что у него есть за спиной пререкатель, смотрит веселее, думает: пока у нас Иван Иванович в советниках сидит, опасаться мне нечего. Так что ежели Иван Иванович сидит долго (бывали в старину, по упущению, и такие случаи), то обыватель начинает даже гордиться и впадает в самонадеянный тон. "Совсем уж у нас не такая форма правления, как внутренние враги пишут! нет! у нас чуть немного... Иван Иванович как раз сократит!"

Право, это было очень удобно. И прежде всего удобно для самой бюрократии, потому что смягчало ее ответственность и ограждало ее репутацию от нареканий. А главное, заставляло ее мотивировать свои действия и в "понеже" и "поелику" искать прибежища от внезапностей. Мысль остепенялась, да и сам бюрократ смотрел осанистее, умнее. А обыватель утешался тем, что он хоть что-нибудь да понимает...

Но опытные служаки идут еще дальше. Удав, например, охотно брал на себя даже защиту ябедников и ябедничества, и опять-таки ссылался на авторитет графа Михаила Николаевича.

– Вы, сударь, не шутите с ябедниками, – говорил он мне, – в древние времена ябедник представлял со-

бою сосуд, в котором общественная скорбь находила единственное и всегда готовое убежище. И без торгу, сударь; бери двугривенный и пиши! За двугривенный человек рисковал, что его и в бараний рог согнут, и в табак сотрут, и туда зашвырнут, куда ворон костей не заносил! Где нынче таких героев сыщешь! И сколько, спрошу я вас, было нужно скорбей, сколько презрения к жизненным благам в сердце накопить, чтобы, несмотря ни на какие перспективы, в столь опасном ремесле упражнение иметь? Всю жизнь видеть перед собой "раба лукавого" ¹⁹, все интересы сосредоточить на нем одном и об нем одном не уставаючи вопиять и к царю земному, и к царю небесному – сколь крепка должна быть в человеке вера, чтоб эту пытку вынести! А сколько их погибло... всячески погибло-с! и под бременем прозрения от своих, и под начальственным давлением! Полки можно было бы из этих ревнителей поруганной общественной совести сформировать!

– Но какую же пользу они могли приносить, коль скоро с ними так легко можно было по всей строгости поступить? – возражал я.

– А ту пользу, что сегодня, например, десять "ябедников" загублено, а завтра на их месте новых двадцать явилось! А кроме того, смотришь, одного какого-нибудь и проглядели. Сидел он где-нибудь тихим манером в кабачке, пописывал да пописывал – глядь,

ан в губернию сенаторский гнев едет! Откуда? как? кто навлек?.. Ябедник-с!

Как это ни странно с первого взгляда, но приходится согласиться, что устами Удава говорит сама истина. Да, хорошо в те времена жилось. Ежели тебе тошно или Сквозник-Дмухановский одолел – беги к Ивану Иванычу. Иван Иваныч не помог (не сумел "застоять") – недалеко и в кабак сходить. Там уж с утра ябедник Ризположенский с пером за ухом ждет. Настроил, запечатал, послал... Не успел оглянуться – вдруг, динь-динь, колокольчик звенит. Кто приехал? Иван Александров Хлестаков приехал! Ну, слава богу!

Я не утверждаю, конечно, чтоб все это, вместе взятое, представляло настоящие гарантии; я говорю только, что было мерцание надежд. Были пререкания (даже два чиновника специально для пререканий: прокурор и жандармский штаб-офицер; им же предоставлялось отирать слезы), были ябедники. Теперь пререкания признаны предосудительными, и ябедники, с распространением хороших манер, извелись сами собой. Вместе с ними извелось и исчезло достопочтенное "понеже", которое так или иначе, но все-таки остепеняло разнузданную бюрократическую мысль и налагало на нее известные обязанности. Все прочее осталось. То есть остался граф ТвэрдоонтС с теорией повсеместного смерча и с ее краткословной фор-

мулой: пошел!

Мне скажут, быть может, что теория смерча оказалась, однако ж, несостоятельной, и вследствие этого граф ТвэрдоонтС ныне уже находится не у дел. Стало быть, правда воссияла-таки...

А сколько он народу погубил, покуда его теория оказалась несостоятельной? И кто же поручится, что он не воспрянет и опять? что у него уж не созрела в голове теория кукиша с маслом, и что он, с свойственной ему ретивостью, не поспешит положить и эту новинку на алтарь отечества при первом кличе: шествуйте, сыны!

* * *

По-настоящему мне следовало бы, сейчас же после свидания с графом ТвэрдоонтС, уехать из Интерлакена; но меня словно колдовство прищипило к этому месту. В красоте природы есть нечто волшебное действующее, проливающее успокоение даже на самые застарелые увечья. Есть очертания, звуки, запахи до того ласкающие, что человек покоряется им совсем машинально, независимо от сознания. Он не анализирует ни ощущений своих, ни явлений, породивших эти ощущения, а просто живет как очарованный, чувствуя, как в его организм льется отрада.

Нечто подобное испытал и я. Всякая дребедень лезла мне в голову: и теория смерча, и теория кукиша с маслом, и еще какая-то совсем новая теория умиротворения, но не без участия строгости и скорости. Но и за всем тем чувствовалось хорошо. Эти тающие при лунном свете очертания горных вершин с бегущими мимо них облаками, этот опьяняющий запах скошенном травы, несущийся с громадного луга перед Hoheweg, эти звуки йодля²⁰, разносимые странствующими музыкантами по отелям, – все это нежило, сладко волновало и покоряло. И я, как в полусне, бродил под орешниками, предаваясь пестрым мечтам и не думая об отъезде.

Само собой разумеется, что в этих мечтаниях немалое место занимала и литература. Русские газеты получают и в Интерлакене, а тут, как раз кстати, и в иностранных и русских журналах появились слухи о предстоящих для нашей печати льготах²¹. Естественно, я взволновался: но что всего страннее, мне показалось, что вместе со мною взволновался и весь Интерлакен. Думалось, что на меня все смотрят с каким-то напряженным любопытством, словно у всех – даже у кельнеров – одна мысль в голове: освободят его или окончательно упекут?

Что касается до меня лично, то я не только не ставил себе никаких вопросов, но просто-напросто зара-

нее предвкусал. Мне нравился молодой задор русских газет, которые в один голос предвещали конец административному произволу и громко призывали на печать кары суда. Все глаза как-то разом раскрылись, и жизнь без суда вдруг оказалась нестерпимейшей из обид, когда-либо ниспосланных разгневанным небом для усмирения бунтующей человеческой плоти. Одно только смущало: ни в одной газете не упоминалось ни о том, какого рода процедура будет сопровождать предание суду, ни о том, будет ли это суд, свойственный всем русским гражданам, или какой-нибудь экстраординарный, свойственный одной литературе, ни о том, наконец, какого рода скорпионами будет этот суд вооружен.

Я знал, что русская печать вообще скромная и потому о многом умалчивает; но тут мне показалось, что скромность как будто и не совсем уместна. Разумеется, нам, как литераторам, оно понятно, что по суду и скорпиона приятно проглотить, – особенно ежели он запущен на точном основании, – но ведь надо же, чтоб и публика поняла, почему судебный скорпион считается более подходящим, нежели скорпион административный. Поэтому восторг восторгом, а все-таки не худо было хоть сторонкой заявить: от суда, мол, мы не прочь, но только нельзя ли постараться, чтоб оный вместить было можно.

Виноват: было и еще одно смущающее обстоятельство. Радуюсь предстоящему пришествию судебных скорпионов, газеты, к сожалению, не воздержались от издевок над скорпионами административными. Вот, мол, сколько вы ни старались, а в результате все-таки получили шиш! Если вы изыскивали средства, то и литература изыскивала средства. Выдумываете вы, бывало, какую-нибудь выдумку и воображаете себе: ну, теперь будет крепко! а литература возьмет да другую выдумку выдумает, и окажется, что вы палите из пушек по воробьям. А потому уходите-ка лучше вы с глаз долой, бессильные, постылые, неумелые! и очистите место другим, кои это дело в аккурате поведут!

Признаюсь откровенно: этого даже и я, литератор, не понял. Положим, что административные скорпионы были бессильны и что литература находила возможность ускользать от них... Но в чем же тут неудобство? и для чего, вместо мнимых скорпионов, понадобились скорпионы подлинные?..

Я почти тридцать пять лет литераторствую, не пользуясь покровительством законов, но и за всем тем не ропщу. Бывали, правда, огорчения, и даже довольно сильные – иногда казалось, что кожу с живого сдирают, – но когда приходила беда, то я припоминал соответствующие случаю пословицы и... утешался ими. Бывало, призовут, побранят – я скажу се-

бе: брань на вору не виснет. Или, бывало, местами оциплют, а временем и совсем изувечат – я скажу себе: до свадьбы заживет. В моих глазах, произвол имеет ту выгодную сторону, что он для всех явно несомнителен. Он не может ни оскорбить, ни подлинно огорчить, а может только физически измучить. Никому не придет в голову справляться, правильно или неправильно поступил произвол, потому что всякому ясно, что на то и произвол, чтоб поступать без правил, как ему в данную минуту заблагорассудится. Так что ежели у произвола и была жестокая сторона, к которой очень трудно было привыкнуть, то она заключалась единственно в том, что ни один литератор не мог сказать утвердительно, что он такое: подлинно ли литератор или только сонное мечтание. Дунул – и нет его.

Тем не менее для меня не лишено, важности то обстоятельство, что в течение почти тридцатипятилетней литературной деятельности я ни разу не сидел в кутузке. Говорят, будто в древности такие случаи бывали, но в позднейшие времена было многое, даже, можно сказать, все было, а кутузки не было. Как хотите, а нельзя не быть за это признательным. Но не придется ли познакомиться с кутузкой теперь, когда литературу ожидает покровительство судов? – вот в чем вопрос.

Я боюсь кутузки по двум причинам. Во-первых, там

должно быть сыро, неприятно, темно и тесно; во-вторых – кутузка, несомненно, должна воспитывать целую кучу клопов. Право, я положительно не знаю такого тяжкого литературного преступления, за которое совершивший его мог бы быть отданным в жертву сырости и клопам. Представьте себе: дряхлого и больного литератора ведут в кутузку... ужели найдется каменное сердце, которое не обольется кровью при этом зрелище?

Тем не менее покуда я жил в Интерлакене и находился под живым впечатлением газетных восторгов, то я ничего другого не желал, кроме наслаждения быть отданным под суд. Но для того, чтоб это было действительное наслаждение, а не перифраза исконного русского озорства, представлялось бы, по мнению моему, небесполезным обставить это дело некоторыми иллюзиями, которые прямо засвидетельствовали бы, что отныне воистину никаких препон к размножению быстрых разумом Невтонов полагать не будет. А именно:

1) Чтобы процедура предания суду сопровождалась не сверхъестественным, а обыкновенным порядком.

2) Чтобы суды были тоже не сверхъестественные, а обыкновенные, такие же, как для татей.

3) Чтобы кутузки ни под каким видом по делам кни-

гопечатания не полагалось. За что?

Ежели эти мечтания осуществляются, да еще ежели денежными штрафами не слишком донимать будут (подумайте! где же бедному литератору денег достать, да и на что?.. на штрафы), то будет совсем хорошо.

Я помню, эта триада так ясно сложилась в моей голове, что, встретив в тот же вечер под орешниками графа ТвэрдоонтС, я не выдержал и сообщил ему мой проект.

С первого абцуга он даже одобрил.

– Вы логичны, Подхалимов! – сказал он мне, – и, в сущности, быть может, даже правы. Я удивляюсь полету вашей фантазии и нахожу ваш вымысел в высшей степени благородным... но!

Но потом вдруг засверкал глазами и забормотал:

– Но пресса... вы понимаете?.. вы говорите, что это сила... прекрасно!.. но сила... и притом... Откуда, спрашиваю вас, зло?.. Но положим, однако ж... допустим, что это сила... пусть будет по-вашему... Но это сила... О! го-го-го!

Он не выдержал и, вынув из кармана трубу, протрубил:

Трубят в рога!
Разить врага!

Давно пора!

И зачем только я этот разговор завел?!

* * *

Но вопрос об оскудении бюрократического творчества продолжал терзать меня. Я видел пагубные последствия этого поветрия на графе ТвэрдоонтС и не мог не трепетать за будущее России. Этот человек дошел наконец до такой прострации, что даже слово «пошел!» не мог порядком выговорить, а как-то с присвистом, и быстро выкрикивал: «п-шёл!» Именно так должен был выкрикивать, мчась на перекладной, фельдъегерь, когда встречным вихром парусило на нем полы бараньего полушубка и волны снежной пыли залепляли нетрезвые уста. Но замечательно, что тот же самый ТвэрдоонтС, как только речь касалась предметов его компетентности, говорил не только складно, но и резонно. Так, например, однажды при мне зашел у него с Мамелфиным разговор о том, что есть истинная кобыла и каковы должны быть у нее статьи? – и я решительно залюбовался им. Совсем другой человек стоял передо мной. Умен, образован, начитан и... доброжелателен. И он знал кобылу, и кобыла знала его. Общие положения, выводы, цитаты –

так и сыпались...

Как бы то ни было, но я решился от самого графа ТвэрдоонтС добиться разъяснения этой тайны.

– Граф! – сказал я, встретившись с ним, – будьте так добры разрешить мое недоумение: отчего наше бюрократическое творчество до такой степени захудало?

– Я вас не понимаю, – ответил он холодно, оглядывая меня с ног до головы.

– Позвольте пояснить примером. Отчего, например, как только дело коснется вопросов внутренней политики, или благоустройства, или, наконец, экономии, – вы ничего не имеете сказать, кроме: "п-шел!"

Он вновь пытливо взглянул на меня, как бы подзревая, не расставляю ли я ему ловушку. Но в голосе моем не слышалось и тени озорства; одна душевная теплота – и ничего больше. Он понял это.

– Вы правы, мой друг! – сказал он с чувством, – я действительно с трудом могу найти для своей мысли приличное выражение; но вспомните, какое я получил воспитание! Ведь я... даже латинской грамматики не знаю!

– Ах, ваше сиятельство, это ужасно!

– Вот Мамелфин – тот счастливее меня! Он Евтропия в своем "заведении" переводил!

– Но если вас не учили латинской грамматике, то в

чем же состояло ваше воспитание?

– Нас заставляли танцевать, фехтовать, делать гимнастику. В низших классах учили повиноваться, в высших – повелевать. Сверх того: немного истории, немного географии, чуть-чуть арифметики и, наконец, краткие понятия о божестве. Вот и все. Виноват: заставляли еще вытверживать басни Лафонтена к именам родителей...

– Ваше сиятельство! не помните ли какой-нибудь басенки? – вдруг разохотился я.

– Помню и даже с удовольствием прочитаю.

И он, не выжидая дальнейших просьб, начал:

Maitre corbeau, sur un arbre perche,
Tenait en son bec un fromage...⁵⁶

Он декламировал так мило и так детски отчетливо, что даже посторонние прохожие останавливались и любовались.

– Прекрасно! – похвалил я, – но понимаете ли вы, граф, смысл этой басни?

Он на минуту задумался.

– До сих пор, – сказал он, – я не думал об этом; но теперь... понимаю! Знаете ли вы, Подхалимов, что в этой басне рассказана вся моя жизнь?

⁵⁶ Вороне где-то бог послал кусочек сыру...

– Это весьма возможно, граф!

– Именно так. Было время, когда и я во рту... держал сыр! Это было время, когда одни меня боялись, другие – мне льстили. Теперь... никто меня не боится... и никто не льстит! Как хотите, а это грустно, Подхалимов!

– Бог милостив, ваше сиятельство!

Он не отвечал и некоторое время, понуриив голову, шел рядом со мной по аллее.

– Моя жизнь – трагедия! – начал он опять, – никто не видел столько лесты, как я, но никто не испытал и столько вероломства! Ужасно! ужасно! ужасно!

– Ваше сиятельство! позвольте вам доложить! Это всегда так бывает. Коль скоро человек взбирается на высоту, не зная латинской грамматики, то естественно, что это наводит на всех страх. А где страх, там, конечно, и лесть. Зато потом, когда обнаруживается, что без латинской грамматики никак невозможно, и когда, вследствие этого, человек оказывается несостоятельным и падает, тогда, само собой разумеется, страх и лесть исчезают, а вместо них появляется озорство и вероломство. По крайней мере, так идет эта процедура у нас.

– Понимаю я это, мой друг! Но ведь я человек, Подхалимов! Ното сомо, как говорит Мамелфин... то бишь, как дальше?

– Homo sum et nihil humani a me alienum puto,⁵⁷ – подсказал я, – то есть: человек есмь и ни один человеческий порок не чужд мне...

– Вот видите ли! Разве легко мне примириться с моим настоящим положением?

– Знаю, что не легко, граф, но, по моему мнению, слишком огорчаться все-таки не следует. Фортуна слепа, ваше сиятельство, а бог не без милости. Только уж тогда нужно покрепче сыр-то во рту держать.

– Натурально!

– Но ежели, ваше сиятельство, это случится... Позвольте надеяться, сиятельнейший граф!

– Натурально! И даже... непременно! Вы будете, так сказать... Но только с одним условием... скажите, вы не будете льстить мне, Подхалимов?

– Никак нет-с, ваше сиятельство!

– И вы будете всегда говорить мне правду? одну только правду?

– Точно так, ваше сиятельство!

– Touchez la!⁵⁸

Он протянул мне руку и затем вдруг дрогнул всем телом и... обнял меня! Это было до того несогласно с обычаями Интерлакена, что Юнгфрау мгновенно за-

⁵⁷ Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо

⁵⁸ По рукам!

кутала свою вершину в облако, а сидевшая поблизости англичанка вскрикнула: shocking!⁵⁹ – и убежала.

– Но довольно об этом! – сказал граф взволнованным голосом, – возвратимся к началу нашей беседы. Вы, кажется, удивлялись, что наше бюрократическое творчество оскудевает... то есть в каком же это смысле? в смысле распоряжений или в другом каком?

– Нет, ваше сиятельство, не в смысле распоряжений. Распоряжений и нынче очень довольно, но мотивировки у распоряжений нет. Трудно понять-с.

– Гм... да; но как же, по-вашему мнению, помочь этому?

– Конечно, необходимо прежде всего обратить внимание на воспитание...

– Да, но ведь это длинная история! Покуда вы воспитанием занимаетесь, а между тем время не терпит!

– Точно так, ваше сиятельство. И я, в сущности, только для очистки совести о воспитании упомянул. Где уж нам... и без воспитания сойдет! Но есть, ваше сиятельство, другой фортель. Было время, когда все распоряжения начинались словом "понеже"...

– "Понеже"... это, кажется, "поелику"?

– Браво, граф! Именно оно самое и есть. Так вот, извольте видеть...

И я изложил ему в кратких словах, но ясно, всю тео-

⁵⁹ неприлично!

рию "понеже". Показал, как иногда полезно бывает заставлять ум обращаться к началам вещей, не торопясь формулированием изолированных выводов; как это обращение, с одной стороны, укрепляет мыслящую способность, а с другой стороны, возбуждает в обывателе доверие, давая ему возможность понять, в силу каких соображений и на какой приблизительно срок он обязывается быть твердым в бедствиях. И я должен отдать полную справедливость графу: он понял не только оболочку моей мысли, но и самую мысль.

– Как же, по-вашему, я поступать должен? – спросил он меня.

– Очень просто, граф. Каждый раз, как вы соберетесь какое-нибудь распоряжение учинить, напомните себе, что надо начать с "понеже", – и начните-с!

– Поясните, прошу вас, примером.

– Примером-с? ну, что бы, например? Ну, например, в настоящую минуту вы идете завтракать. Следовательно, вот так и извольте говорить: понеже наступило время, когда я имею обыкновение завтракать, завтрак же можно получить только в ресторане, – того ради поеду в ресторан (или в отель) и закажу, что мне понравится.

– Но ежели я не голоден?

– Ах, ваше сиятельство! Тогда извольте говорить

так: понеже я не голоден, то хотя и наступило время, когда я имею обыкновение завтракать, но понеже...

– Вот видите! два раза понеже!

– Это от поспешности, граф! А результат все один: того ради в отель не пойду, а останусь гулять в аллее...

– По-ни-ма-ю!

– И увидите, ваше сиятельство, как вдруг все для вас сделается ясно. Где была тьма, там свет будет; где была внезапность, там сама собой винословность скажется. А уж любить-то, любить-то как вас все за это будут!

– Вы говорите: будут любить?.. за что?

– Ах, ваше сиятельство! да ведь, благодаря вам, все свет увидят! Ведь и в кутузке посидеть ничего, если при этом сказано: понеже ты заслужил быть вверженным в кутузку, то и ступай в оную!

– По-ни-ма-ю!.. Однако вы напомнили мне, что и в самом деле наступило время, когда я обыкновенно завтракаю... да! как бишь это вы учили меня говорить? Понеже наступило время...

– Того ради... так точно-с! с богом, ваше сиятельство!

– Прощайте, Подхалимов... до свидания!

Он сделал мне ручкой и, насвистывая: поне-е-же! пошел перевалочкой по направлению к курзалу. Я то-

же хотел отправиться восвояси, но вдруг вспомнил нечто чрезвычайно нужное и поспешил догнать его.

– Ваше сиятельство! – спросил я, – знаете ли вы, что такое рубль?

Он взглянул на меня с недоумением, как бы спрашивая: это еще что за выдумка?

– Я знаю, – продолжал я, – вы думаете: рубль – это денежный знак...

– Но... *sapristi!*⁶⁰ надеюсь...

– В том-то и дело, что это не совсем так. Чтоб сделаться денежным знаком, рубль должен еще заслужить. Если он заслужил – его называют монетною единицей, если же не заслужил – желтенькою бумажкой.

– Гм... но если б это было даже и так, для чего мне это нужно знать?

– Ах, ваше сиятельство! вам обо всем необходимо необременительные сведения иметь! бог милостив! вдруг, паче чаяния, не ровён час...

– Да; но даже и в таком случае... Рубль так рубль, бумажка так бумажка...

– А вы попробуйте-ка к этому делу "понеже" приспособить – ан выйдет вот что: "Понеже за желтенькую бумажку, рублем именуемую, дают только полтинник – того ради и дабы не вводить обывателей пона-

⁶⁰ черт побери!

прасну в заблуждение, *Приказали*: низшим местам и лицам предписать (и предписано), а к равным отнестись (и отнесено-с), дабы впредь, до особого распоряжения, оные желтенькие бумажки рублями не именовать, но почитать яко сущие полтинники".

– Ну-с, дальше-с.

– А дальше опять: "Понеже желтенькие бумажки, хотя и по сущей справедливости из рублей в полтинники переименованы, но дабы предотвратить происходящий от сего для казны и частных лиц ущерб, – того ради *Постановили*: употребить всяческое тщание, дабы оные полтинники вновь до стоимости рубля довести"... А потом и еще «понеже», и еще, и еще; до тех пор, пока в самом деле что-нибудь путное выйдет.

– Позвольте! а ежели ничего не выйдет?

– Ну, тогда уж как богу угодно...

– По-ни-ма-ю!

* * *

Одним утром, не успел я еще порядком одеться, как в дверь ко мне постучалась номерная прислужница ("la fille",⁶¹ как их здесь называют) и принесла карточку, на которой я прочитал: Theodor de Twerdoonto. Он

⁶¹ «девушка»

ожидал меня в читальном салоне, куда, разумеется, я сейчас же и поспешил.

– Подхалимов! – сказал он мне, – вы литератор! вы это можете... Напишите из моей жизни трагедию!

– С удовольствием, граф, – ответил я.

– Таковую трагедию, чтоб все сердца... ну, буквально, чтоб все сердца истерзались от жалости и негодования... Подлецы, льстецы, предатели – чтоб все тут было! Одним словом, чтоб зритель сказал себе: понеже он был окружен льстецами, подлецами и предателями, того ради он ничего полезного и не мог совершить!

– Понимаю, ваше сиятельство! Только все-таки позвольте подумать: надо эту мину умеючи подвести.

– Я рассчитываю на вас, Подхалимов! Надо же, наконец! надо, чтоб знали! Человек жил, наполнил вселенную громом – и вдруг... нигде его нет! Вы понимаете... нигде! Утонул и даже круга на воде... пузырьей по себе не оставил! Вот это-то именно я и желал бы, чтоб вы изобразили! Пузырей не оставил... поймите это!

Он быстро повернулся и пошел к выходу, очевидно, желая скрыть от меня охватившее его волнение. Но я вспомнил, что для полного успеха предстоящей работы мне необходимо одно очень важное разъяснение, и остановил его.

– Ваше сиятельство! позвольте один нескромный вопрос, – сказал я, – когда человек сознаёт себя, так сказать, вместилищем государственности... какого рода чувство испытывает он?

Он остановился против меня и глубоко взволнованным голосом произнес:

– C'est mi sentiment... ineffable!!⁶²

* * *

Первый акт был через час окончен мною. Содержание его составляло воспитание графа ТвэрдоонтС. Молодой граф требует, чтоб его обучали латинской грамматике, но родители его находят, что это не комильфо, и, вместо латинской грамматики, заставляют его проходить науку о том, что есть истинная кобыла? Происходит борьба, в которой юноша изнемогает. Действие оканчивается тем, что молодой граф получил аттестат об отличном окончании курса наук (по выбору родителей) и, держа оный в руках, восклицает: «Вот и желанный аттестат получен! но спросите меня по совести, что я знаю, и я должен буду ответить: я знаю, что я ничего не знаю!»

Граф прочитал мою работу и остался ею доволен,

⁶² Это чувство... невыразимо!!

так что я сейчас же приступил к сочинению второго акта. Но тут случилось происшествие, которое разом прекратило мои затеи. На другой день утром я, по обыкновению, прохаживался с графом под орешниками, как вдруг... смотрю и глазам не верю! Прямо навстречу мне идет, и даже не идет, а летит обнять меня... действительный Подхалимов!

Вся эта сцена продолжалась только одно мгновение. В это мгновение Подхалимов успел назвать меня по фамилии, успел расцеловать меня, обругать своего редактора, рассказать анекдот про Гамбетту, сообщить, что Виктор Гюго – скупердяй, а Луи Блан – старая баба, что он у всех был, мед-пиво пил...

Граф смотрел на эту сцену и понимал только одно: что я не Подхалимов. Казалось, он собирался проглотить меня...

И он непременно проглотил бы, если б я не распорядился заблаговременно провалиться сквозь землю...

.....

Само собой разумеется, что через полчаса я уже оставил Интерлакен, а вместе с тем и Швейцарию. Но для чего мне понадобилось быть в одной?

IV

С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юншестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание.

Как известно, в сороковых годах русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) поделилась на два лагеря: западников и славянофилов. Был еще третий лагерь, в котором копошились Булгарины, Бранты, Кукольники и т. п., но этот лагерь уже не имел ни малейшего влияния на подрастающее поколение, и мы знали его лишь настолько, насколько он являл себя прикосновенным к ведомству управы благочиния. Я в то время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно, примкнул к западникам. Но не к большинству западников (единственно авторитетному тогда в литературе), которое занималось популяризацией положений немецкой философии, а к тому безвестному кружку ¹, который инстинктивно приле-

пился к Франции. Разумеется, не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Занда ². Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... ³ Словом сказать, все доброе, все желанное и любвеобильное – все шло оттуда.

В России – впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге – мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели "образ жизни". Ходили на службу в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались друг у друга для беседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции. Россия представляла собой область, как бы застланную туманом, в которой даже такое дело, как опубликование "Собрания русских пословиц", являлось прихотливым и предосудительным ⁴; напротив того, во Франции все было ясно как день, несмотря на то, что газеты доходили до нас с вырезками и помарками. Так что когда министр внутренних дел Перовский начал издавать таксы на мясо и хлеб, то и это заинтересовало нас только в качестве анекдота, о котором следует говорить с осмотрительностью. Напротив, всякий эпизод из общественно-по-

литической жизни Франции затрогивал нас за живое, заставлял и радоваться, и страдать. В России все казалось покопченным, запакованным и за пятью печатями сданным на почту для выдачи адресату, которого заранее предположено не разыскивать; во Франции – все как будто только что начиналось. И не только теперь, в эту минуту, а больше полу столетия сряду все начиналось, и опять и опять начиналось, и не заставляло ни малейшего желания кончиться...

Наверное, девяносто девять сотых из нас никогда не бывали ни во Франции, ни в Париже. Следовательно, нас не могли восхищать ни бульвары, ни кокотки (в то время их называли еще лоретками), ни публичные балы, ни съестное раздолье. Все это пришло уже потом, когда Бонапарт, с шайкой бандитов, сначала растоптал, а потом насквозь просмердил Францию⁵, когда люди странным образом обезличились, измельчали и потускнели и когда всякий интерес, кроме чревного, был объявлен угрожающим. Но ежели наши сердца не изнывали тоской по шатобрианам⁶ или *barbue sauce Morneau*,⁶³ зато мы не могли без сладостного трепета помыслить о «великих принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда проистекало⁷. А так как местожительством этих «принципов» предполагался город

⁶³ камбале под соусом Морне

Париж, то естественно, что симпатии, ощущаемые к принципам, переносились и на него.

Но в особенности эти симпатии обострились около 1848 года. Мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались "Историей десятилетия" Луи Блана⁸. Теперь, когда уровень требований значительно понизился, мы говорим: «Нам хоть бы Гизо – и то слава богу!», но тогда и Луи-Филипп, и Гизо, и Дюшатель, и Тьер – все это были как бы личные враги (право, даже более опасные, нежели Л. В. Дубельт), успех которых огорчал, неуспех – радовал. Процесс министра Теста, агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо по этому поводу, палата, составленная из депутатов, нагло называвших себя *conservateurs endurcis*,⁶⁴ наконец, февральские банкеты⁹, – все это и теперь так живо встает в моей памяти, как будто происходило вчера.

Я помню, это случилось на масленой 1848 года. Я был утром в итальянской опере, как вдруг, словно электрическая искра, всю публику пронизала весть: министерство Гизо пало. Какое-то неясное, но жуткое чувство внезапно овладело всеми. Именно всеми, по-

⁶⁴ закоренелыми консерваторами

тому что хотя тут было множество людей самых противоположных воззрений, но, наверно, не было таких, которые отнеслись бы к событию с тем жвачным равнодушием, которое впоследствии (и даже, благодаря принятым мероприятиям, очень скоро) сделалось как бы нормальной окраской русской интеллигенции. Старики грозили очами, бряцали холодным оружием, цыркали и крутили усы; молодежь едва сдерживала бескорыстные восторги. Помнится, к концу спектакля пало уже и министерство Тьера (тогда подобного рода известия доходили до публики как-то неправильно и по секрету). Затем, в течение каких-нибудь двух-трех дней, пало регентство ¹⁰, оказалось несостоятельным эфемерное министерство Одилона Барро (этому человеку всю жизнь хотелось кому-нибудь послужить и наконец удалось-таки послужить Бонапарту ¹¹, и в заключение бежал сам Луи-Филипп. Провозглашена была республика, с временным правительством во главе; полились речи, как из рога изобилия... Но даже ламартиновское словесное распутство – и то не претило ¹² среди этой массы крушений и рождений. Громадность события скрадывала фальшь отдельных подробностей и на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страной чудес.

Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не

пленяться этой неистощимостью жизненного творчества, которое вдобавок отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше? И точно, мы не только пленялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги от глаз бодрствующего начальства. И вот, вслед за возникновением движения во Франции, произошло соответствующее движение и у нас: учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы. Затем, в марте, я написал повесть, а в мае уже был зачислен в штат вятского губернского правления ¹³. Все это, конечно, сделалось не так быстро, как во Франции, но зато основательно и прочно, потому что я вновь возвратился в Петербург лишь через семь с половиной лет, когда не только французская республика сделалась достоянием истории, но и у нас мундирные фраки уже были заменены мундирными полукафтанами.

Словом сказать, мыслительный процесс шел совсем обратным путем, нежели теперь. Мысль искала пищи в сферах отдаленных, оставаясь совершенно равнодушною к родным сферам. Судьбы министра Бароша интересовали не в пример больше, нежели судьбы министра Клейнмихеля; судьбы парижского префекта Мопю – больше, нежели судьбы московского обер-полицеймейстера Цынского, имя которого

нам было известно только из ходившего по рукам куплета о брандмайоре Тарновском⁶⁵ Человек того времени настолько прижился в атмосфере, насыщенной девизом «не твое дело», что подлинно ему ни до чего своего не было дела. Так что избирательная борьба между Кавеньяком Бонапартом, несомненно, больше занимала русские мыслящие умы, нежели, например, замена действительного тайного советника Перовского генералом-от-инфантерии Бибиковым 1-м.

В таком положении нас застала севастопольская кампания.

Это было время глубокой тревоги. В первый раз, из кромешной тьмы, выдвинулось на свет божий "свое" и вспугнуло не только инстинкт, но и умы. До тех пор это "свое" пряталось за целую сеть всевозможных формальностей, которые преднамеренно были комбинированы с таким расчетом, чтоб спрятать заправскую действительность. Теперь вся эта масса формальностей как-то разом оказалась прогнившею и истлела у

⁶⁵ Вот этот куплет: Брандмайор Тарновский Тем себя прославил, Что красы Санковской Цынскому представил 14. Этими немногими строками, по-видимому, исчерпывались все «отличные заслуги» и Тарновского и Цынского: один представил (может быть, при рапорте), другой – получил. Весь же остальной «кондуит» представляет гарнир из сквернословия, зуботычин и нагаек, настолько общеизвестный, что даже куплета не стоило сочинять (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

всех на глазах. Из-за прорех и отребьев тления выступило наружу "свое", вопиющее, истекающее кровью. Вся Россия, из края в край, полна была стонами. Стонали русские солдатики и под Севастополем, и под Инкерманом, и под Альмою; стонали елабужские и курмышские ополченцы, мяся босыми ногами грязь столбовых дорог; стонали русские деревни, провозая сыновей, мужей и братьев на смерть за "ключи".¹⁵

Оставаться равнодушным к этим стонам, не почувствовать, что стонет "свое", родное, кровное, – было немислимо. Но лучезарный лик Франции все-таки мало пострадал при этом. Казалось (да и в действительности так было), что причина всех бедствий заключается единственно в Бонапарте, этом постыднейшем из бандитов, когда-либо удручавших мир позором своего тяготения. Он один был виноват; он, бесчестный, ненавистный и втайне презираемый, но упитанный и самодовольный; он и шайка бандитов, помогшая ему зарезать Францию. У ног его лежало пораженное испугом людское стадо, а массы "лучших людей" изнывали в ссылках и в изгнании. Но именно к ним, к этим лучшим людям, и стремились все наши помыслы. И ежели мы не смешивали Францию с Луи-Филиппом и его министрами, то тем меньше были склонны смешивать ее с Бонапартом и его шай-

кой. Франция являлась перед нами растоптанною, но незапятнанною, и продолжала светить в лице ее изгнанников ¹⁶.

Тем не менее, повторяю, сознание "своего" уже теплилось. И ежели бы обстоятельства сложились благоприятнее, то, несомненно, оно прошло бы и через дальнейшие стадии развития. Но тогдашние времена были те суровые, жестокие времена, когда все, напомиающее о сознательности, представлялось не только нежелательным, но даже более опасным, нежели бедственные перипетии войны. По крайней мере, такого мнения держался тот безыменный сброд, который в то время носил название русского "общества". Благодаря своекорыстному и пустомысленному настроению этого сброда, незаметно потонули первые, робкие проблески сознательного отношения русской мысли к русской действительности. Рядом с величайшей драмой, все содержание которой исчерпывалось словом "смерть", шла позорнейшая комедия пустословия и пустохваляства, которая не только застилала события, но положительно придавала им нестерпимый колорит. Люди, заведомо презренные, лицемеры, глупцы, воры, грабители-пропойцы, проявляли такую нахальную живучесть и так укрепились в своих позициях, что, казалось, вокруг происходит нечто сказочное. Не скорбь слышалась, а ка-

кое-то откровенно подлое ликование, прикрываемое рубрикой патриотизма. Никогда пьяный угар не охватывал так всецело провинцию, никогда жажда расхищения не встречала такого явного и безнаказанного удовлетворения. Кости старого Политковского стучали в гробе; младенец Юханцев задумывался над вопросом: ужели я когда-нибудь превзойду? ¹⁷ Среди этой нравственной неурядицы, где позабыто было всякое чувство стыда и боязни, где грабитель во всеуслышание именовал себя патриотом, человеку, сколько-нибудь брезгливому, ничего другого не оставалось, как жаться к стороне и направлять все усилия к тому, чтоб заглушить в себе даже робкие порывы самосознательности. Лучше было совсем не знать «своего», нежели на каждом шагу встречаться лицом к лицу с постыднейшими его проявлениями.

С окончанием войны пьяный угар прошел и наступило веселое похмелье конца пятидесятых годов. В это время Париж уже перестал быть светочем мира и сделался сокровищницей женских обнаженностей и съестных приманок. Нечего было ждать оттуда, кроме модного покроя штанов, а следовательно, не об чем было и вопрошать. Приходилось искать пищи около себя... И вот тогда-то именно и было положено основание той "благородной тоске", о которой я столько раз упоминал в предыдущих очерках.

В 1870 году Франция опять напомнила о себе ¹⁸, но и тут между ею и людьми, симпатизирующими ей, стоял тот же позорный бандит. Дилемма была такова: если восторжествует Франция, то, вместе с нею, восторжествует и бандит; ежели восторжествует Пруссия, то, боже милостивый, каким истязаниям подвергнет она ненавистную «страну начинаний», которая в течение полувека не уставаючи была тревогу? Наконец, однако ж, бандит пал. Целых осемнадцать лет ругался он над трупом им же убитой Франции и теперь представил Пруссии довершить дело поругания. Но этого мало: как бы мстя за свою осемнадцатилетнюю безнаказанность, бандит оставил по себе конкретный след, в виде организованной шайки, которая и теперь изъявляет готовность во всякое время с легким сердцем рвать на куски свое отечество ¹⁹.

Лично я посетил в первый раз Париж осенью 1875 года. Престол был уже упразднен, но неподалеку от него сидел Мак-Магон и все что-то собирался сострять ²⁰. Многие в то время не без основания называли Францию Макмагонией, то есть страну капралов, стоящих на страже престол-отечества в ожидании Бурбона. С первых же шагов, и именно в Аврикурс (по страсбургской дороге), я слышал капральские окрики. Ни медленности, ни проволочек со сто-

роны пассажиров не допускались, ни пол, ни возраст, ни недуги – ничто не принималось в оправдание. Капрал действовал с полным неразумением и держал себя тупо-неумолимо. Это был капрал наполеоновского пошиба (а роigne⁶⁶), немыслимый ни в какой другой стране. Русский капрал непременно начал бы калякать, объяснять, что он тут ни при чем, а во всем виновато начальство. Немецкий капрал – принял бы талер и уронил бы благодарную слезу. Один французский капрал-бонапартист в состоянии таращить глаза, как идол, и ничего другого не выказывать кроме склонности к жестокому обращению.

На человека, которому с пленок твердили о пресловутой *urbanite franГaise*,⁶⁷ эти капральские окрики действуют ужасно неприятно. С досады приходит на мысль нечто не совсем великодушное. Вот, думается, если б эти капралы с такою же неуклонностью поступали в 1870 году с Пруссией, – может быть... Но кто же может сказать, что бы тогда вышло! Вероятнее всего, сидел бы Бонапарт и увенчивал бы да увенчивал здание... А теперь в это здание затесался Мак-Магон и делает оттуда пруссаку книксен, а на безоружных пассажиров покрикивает: *les voyageurs – dehors!*⁶⁸

⁶⁶ крепкой хватки

⁶⁷ французской учтивости

⁶⁸ пассажиры – выходите!

Но Париж все-таки пришелся мне по душе. Чистый город, светлый, свободнодвигающийся, и, главное, враг той немотивированной, граничащей с головной болью, мизантропии, которая так упорно преследует заезжего человека в Берлине. Самый угрюмый, самый больной человек – и тот непременно отыщет доброе расположение духа и какое-то сердечное благоволение, как только очутится на улицах Парижа, а в особенности на его истинно сказочных бульварах. Представьте себе иностранца, выброшенного сегодняшним утренним поездом в Париж, человека одинокого, не имеющего здесь ни связей, ни знакомств, – право, кажется, и он не найдет возможности соскучиться в своем одиночестве. Солнце веселое, воздух веселый, магазины, рестораны, сады, даже улицы и площади – все веселое. Я никогда не мог себе представить, чтоб можно было ощущать веселое чувство при виде площади; но, очутившись на Place de la Concorde,⁶⁹ поистине убедился, что ничего невозможного нет на свете. И тут же рядом, налево – веселый Тюльерийский сад, с веселыми группами детей; направо – веселая масса зелени, в которой, как в мягком ложе из мха, нежится квартал Елисейских полей. Затем пройдите через Тюльерийский сад, встаньте спи-

⁶⁹ площади Согласия

ной к развалинам дворца ²¹ и глядите вперед по направлению к Arc de l'Etoile ^{22.70}. Клянусь, глаз не оторвете от этого зрелища. Какая масса пространства, воздуха, света! И как все в этой массе гармонически комбинировано, чтоб громадность не переходила в пустыню, чтоб она не подавляла человека, а только пробуждала и поддерживала в нем веселую бодрость духа!

Веселое солнце льет веселые лучи на макадам ²³ улиц и еще веселее смотрится и играет в витринах ресторанов и магазинов. В Париже, кроме Елисейских полей, а в прочих кварталах, кроме немногих казенных домов и отелей очень богатых людей, почти нет дома, которого нижний этаж не был бы предназначен для ресторанов и магазинов. Представьте себе, какую массу всякого рода товара должны ежедневно выбрасывать из себя мастерские, фабрики и заводы, чтобы наполнить это бесчисленное множество помещений, из которых многие, по громадности, не уступают дворцам! И какую еще большую массу уверенности нужно иметь в том, что этот товар не залежится, а дойдет до потребителя!

И он дойдет – в этом не может быть сомнения. Товар этот так весело расположен в витринах и так ве-

⁷⁰ Арка Звезды

село освещен, что и купить его любо. Прогулка по улицам Парижа, в смысле разнообразия, не уступает прогулке по любой выставке. Каждая магазинная витрина представляет изящное сочетание красок и линий, удовлетворяющее самым прихотливым требованиям вкуса. На каждом шагу встречается масса вещей, потребности в которых вы до тех пор не подозревали, но которые вы непременно купите, потому что эти вещи так весело смотрят, что даже впоследствии, где-нибудь в Крапивне, будут пробуждать в вас веселость и помогут нести урядническое иго. Из мельхиоровых ложек парижский магазинщик ухитряется сделать целое серебряное солнце, которое чуть не за полверсты манит к себе прохожего. Из мужских шляп-цилиндров устраивает такой милый пейзаж, что человеку, даже имеющему на голове совсем новый цилиндр, непременно придет на мысль: а не купить ли другой? Все кругом изящно, легко и, главное, весело. Прежде чем глаз пресытится всеми этими уличными изяществами, какая возможность скуке проникнуть в сердце даже одинокого человека? А в запасе еще музеи, галереи, сады, окрестности, которые тоже необходимо осмотреть, потому что, кроме того, что все это в высшей степени изящно, интересно и весело, но в то же время и общедоступно, то есть не обуславливается ни протекцией, ни изнурительным доставанием биле-

тов через знакомых чиновников, их родственниц, содержанок и проч.

А потом – звуки. Нигде вы не услышите таких веселых, так сказать, натуральных звуков, как те, которые с утра до вечера раздаются по улицам Парижа. *Les cris de Paris*⁷¹ – это целая поэма, слагающая хвалу неистощимой производительности этой благословенной страны, поэма, на каждый предмет, на каждую подробность этой производительности отвечающая особым характерным звуком. И все это звуки коренные, свежие, родившиеся на месте, где-нибудь в глубине Бретани или Оверни (быть может, поэтому-то они так и нравятся детям), и оттуда перенесенные на улицы всемирной столицы. Так что, вместе с образчиком местной производительности, вы видите и представителя ее, да сверх того, слышите и образчик местных музыкальных мелодий. Эти звуки перекрестной волной несутся со всех сторон, образуя, вместе с дразнящими криками «гаврошей»,⁷² гармоническое целое, до такой степени веселое, что оно несомненно должно благотворным образом действовать и на нравы обывателей. Даже полициант, с утра до вечера выслушивающий эти крики, нимало не волнуется

⁷¹ Голоса Парижа

⁷² *Gavroches* – существа, которые в недавние годы были известны под именем *gamins de Paris*. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

ими и не видит в них оскорбления свойственного полицейским чинам чувства изящного. По крайней мере, я не знаю ни одного случая, чтобы *gardien de la paix*,⁷³ доведенный до неистовства назойливостью крикунов, дал в зубы какому-нибудь *marchande de coco*⁷⁴ или назвал «курицыной дочерью» *marchande de quatre saisons*.⁷⁵

Но этого мало: вы видите людей, которые поют "Марсельезу", – и им это сходит с рук. На первых порах это меня ужасно смутило. Думаю: сам-то я, разумеется, не пел – но как бы не пострадать за присутствие! И что ж оказалось! – что тут дело идет совершенно наоборот русской пословице, гласящей: "Что русскому здорово, то немцу – смерть". Французу петь "Марсельезу" здорово, а нам – смерть. Все это очень обязательно объяснил мне один из *gardiens de la paix*, к которому я обратился с вопросом по этому предмету: "Поживете, говорит, у нас, может быть, и вы привыкнете". И точно: пожил, и стал пробовать; сначала першило в горле, а потом привык. И даже многих тайных советников видел, которые губами подражали трубным звукам, напевая:

⁷³ полицейский

⁷⁴ продавцу настойки из лакрицы

⁷⁵ уличную торговку фруктами и овощами

И – ничего; сошло с руки мне и им. Не дальше как на днях встречаю уже здесь, на Невском, одного из парижских тайных советников и, разумеется, прежде всего интересуюсь:

– А что, ваше превосходительство, не призывали к ответу... за "Марсельезу"-то... помните?

– Представьте себе... прошло!

– Представьте! и мне – тоже!

Разумеется, мы обнялись, и затем – ни гугу!

А вечером весь Париж горит огнями, и бульвары, и главные улицы, которые гудят, как пчелиный рой. Время от 8 до 12 часов – самое веселое. Это – время, когда отработавшийся люд всей массой высыпает на улицы, наполняет театры, рестораны, *debits de vin*⁷⁷ и т. п. Происходит во всей форме уличный раут, веселый, красивый, живой. Разумеется, тут скучать некогда. Театров масса, и во всяком нужно побывать. Французы сами жалуются на упадок драматической литературы, и эти жалобы, в существе, безусловно справедливы, но для иностранца не столько важно то, что представляется на сцене, как то, как представляется, и в особенности, как относится к представляе-

⁷⁶ Против нас тираны...

⁷⁷ винные погребки

тому публика. В этом отношении он не встретит в целом мире ничего подобного. В особенности не встретит такой публики. Это именно та чуткая, нервная публика, которая удесятеряет силы актера и без которой было бы немыслимо для актера каждодневное повторение, двести раз сряду, одной и той же роли, как это сплошь бывает на парижских театрах.

Помню, я приехал в Париж сейчас после тяжелой болезни и все еще больной... и вдруг чудодейственно воспрянул. Ходил с утра до вечера по бульварам и улицам, одолевал довольно крутые подъемы – и не знал усталости. Мало того: иду однажды по бульвару и встречаю русского доктора Г., о котором мне было известно, что он в последнем градусе чахотки (и, действительно, месяца три спустя он умер в Ницце). Разумеется, удивляюсь.

– Что вы это делаете?

– Да вот, хожу!

– Помилуйте! вам бы дома сидеть, да "средствице" принимать...

– Нельзя, батюшка, тянет на улицу...

И точно: "тянет на улицу" – и шабаш. Ибо парижская улица действительно всякого "средствица". Озлобленному она проливает мир в сердце, недугующему – подает исцеление. И я наверное знаю, что не Лурдская богоматерь это делает, а именно веселая париж-

ская улица.

В Париже все живут на улице. Не говоря уже об иностранцах и провинциялах, которые массами, с каждым из бесчисленных железнодорожных поездов, приливают сюда и буквально покидают улицу только для ночлега, даже коренной парижанин – и тот, с первого взгляда, кажется исключительно предан фланерству. Между тем, на деле, нигде не найдется более ретивого, спорого (или, как у нас говорится, дошлого) работника, как парижанин. Немец работает усердно, но точно во сне веревки вьет; у парижанина работа горит в руках. Нечто подобное представляет русский работник в страдную пору, но ведь это уж мученик. Парижанин работает много, но с добрым духом и никогда не имеет усталого вида. Достаточно присмотреться к прислуге любого отеля, чтоб убедиться, какую массу работы может сделать человек, не утрачивая бодрости и не валя, как говорится, через пень колоду. Я останавливался в небольшом отеле, в пяти этажах которого считалось 25 комнат, и на весь отель прислуживал только один гарсон. Часам к восьми утра он успевал уже вычистить для всех квартирантов сапоги, ботинки, мужское и дамское платье, а с восьми часов начинал летать по этажам, разнося кофе и завтрак. Затем убирал комнаты, а некоторым жильцам сервировал и обед. Сколько раз в день он, подобно

мухе, взлетал из rez-de-chaussee,⁷⁸ где помещались контора и кухня, на пятый этаж – это даже определить невозможно. Только, бывало, и слышишь раздающееся сверху: – Emile! – и отвечающее внизу: voila! voila!⁷⁹ И за всем тем этот молодой человек находил возможность еще выполнять комиссии жильцов, что он делал гуляя. И никогда я не видал его унылым или замученным, а уж об трезвости нечего и говорить: такую работу не совершенно трезвый человек ни под каким видом не выполнит.

Одним словом, ежели и нельзя сказать, что парижанин своею ретивостью практически доказал, что вопрос о travail attrayant^{25 80} не праздная мечта, то, во всяком случае, мысль о труде уже не застаёт его врасплох. Зато каждый момент, который ему удается урвать у работы, он уже всецело считает своим и отдает его беспечности, фланированию и веселью. Три предмета проходят через всю жизнь парижского ouvrier:⁸¹ работа, веселье и, от времени до времени... революция. Все это он умеет делать чрезвычайно ловко, скоро, горячо, но отнюдь не бестолково. Оттого-то, быть может, и кажется приезжему иностранцу

⁷⁸ нижнего этажа

⁷⁹ тут! тут!

⁸⁰ привлекательном труде

⁸¹ рабочего

(это еще покойный Погодин заметил), что в Париже вот-вот сейчас что-то начнется²⁶.

Но, наглядевшись вдоволь на уличную жизнь, непростительно было бы не заглянуть и в ту мастерскую, в которой вершатся политические и административные судьбы Франции. Я выполнил это, впрочем, уже весной 1876 года. Палаты в то время еще заседали в Версале, и на очереди стоял вопрос об амнистии²⁷.

Дорога от Парижа до Версаля промелькнула очень весело. Во-первых, на всем пути – прелестнейшие зеленые окрестности; во-вторых, я попал в вагон, наполненный *gauchiers* и *centre-gauchiers* (членами левой и левого центра). Все говорили без умолку. Соглашались почти единодушно, что, в принципе, амнистия – мера не только справедливая, но и полезная; что после пяти лет несомненного внутреннего мира было бы согласно с здоровой политикой закончить процесс умиротворения полным забвением прошлых междоусобий. Но, наговорившись на эту тему досыта, собеседники как бы по команде подносили к носу указательные персты, произносили: *mais!*⁸² – и глубокомысленно умолкали.

Признаюсь, загадочность этого "*mais!*" чрезвычай-

⁸² но!

но неприятно поразила меня. Я было думал, что если уж выработалось: "понеже амнистия есть мера полезная" и т. д. – то, наверное, дальше будет: "того ради, объявив оную, представить министру внутренних дел, без потери времени" и т. д. И вдруг, вместо того... mais! Повторяю, сгоряча я чуть было не рассердился, но потом вспомнил: ба, да ведь французское "mais" – это то самое, что по-русски значит: выше лба уши не растут!

²⁸ Вспомнил – и сделалось мне так весело, так весело, что я не воздержался и сообщил о своем открытии соседу (оказалось, что это был Лабули, автор известного памфлета «Paris en Amerique»,⁸³ а ныне сенатор и стыдливый клерикал)²⁹. Он, в свою очередь, подтвердил мою догадку и, поздравив меня с тем, что Россия обладает столь целесообразными пословицами, присовокупил, что по-французски такого рода изречения составляют особого рода кодекс, именуемый «la sagesse des nations».⁸⁴ Через минуту все пассажиры уже знали, что в среде их сидит un journaliste russe,⁸⁵ у которого уши выше лба не растут. И все напереерыв поздравляли меня, что я так отлично постиг la sagesse des nations.

⁸³ «Париж в Америке»

⁸⁴ «мудрость народов»

⁸⁵ русский журналист

Как малый не промах, я сейчас же рассчитал, как это будет отлично, если я поговорю с Лабуло по душе. Уж и теперь в нем заблуждений только чуть-чуть осталось, а ежели хорошенько пугнуть его, призвав на помощь *sagesse des nations*, так и совсем, пожалуй, на путь истинный удастся обратить. Сначала его, а потом и до Гамбетты доберемся³⁰ – эка важность! А Мак-Магон и без того готов...

И вот, как только приехали мы в Версаль, так я сейчас же Лабули под ручку – и айда в *Hotel des Reservoirs*³¹.⁸⁶

– Господин сенатор! *Monsieur le senateur! un verre de champagne...*⁸⁷ по-русски: чем бог послал! прошу!

– С удовольствием! – согласился он, и на лице его выразилась живейшая радость при мысли, что ему предстоит позавтракать на чужой счет.

В французе-буржуа мне сразу бросились в глаза две очень характерные черты. Во-первых, въявь он охотно любит покощунствовать, но, по секрету, почти всегда богомолен, и ежели можно так сделать, чтоб никто не видал, то, перед всяким принятием пищи, непременно перекрестится и пошевелит губами. Ве-

⁸⁶ Самой собой разумеется, что вся последующая сцена есть чистый вымысел. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

⁸⁷ Господин сенатор! бокал шампанского...

роятно, он рассуждает так: "Верить я, разумеется, не могу – это брат, дудки! Вольтер не велел! – но, на всякий случай, отчего не покреститься и не пошептать?.. ведь от этого ни руки, ни голова не отвалятся!" Во-вторых, француз-буржуа не прочь повеселиться и даже кутнуть, но так, чтоб это как можно дешевле ему обошлось. Примерно возьмет в карман гривенник и старается уконтентовать себя на рубль. Во всяком маленьком ресторане можно увидеть француза, который, спросив на завтрак порцию салата, сначала съест политую соусом траву, потом начнет вытирать салатник хлебом и съест хлеб, а наконец поднимет посудину и посмотрит на обратную сторону дна, нет ли и там чего. Таким образом, и сердце у него играет, и для кармана обременения нет. Точь-в-точь по этой программе поступал и Лабули. Сначала повернулся к окошку и притворился, что смотрит на улицу, хотя я очень хорошо заметил, что он, потихоньку, всей пятерней перекрестил себе пупок. Затем, когда принесли gigot de pre-sale,⁸⁸ то он, памятуя, что все расходы по питанию приняты мной на себя, почти моментально проглотил свой кусок, совершив при этом целый ряд поступков, которые привели меня в изумление. Во-первых, начал ножом ловить соус, во-вторых, стал вытирать тарелку хлебом, быстро посылая куски

⁸⁸ филе из барашка

в рот, и, наконец, до того рассвирепел, что на самую тарелку начал бросать любострастные взоры... Когда же я, испугавшись, сказал ему: – Зачем вы это делаете, господин сенатор? Ведь если вы голодны, то я могу и другую порцию приказать подать... – то, к удивлению моему, он отвечал следующее:

– О нет, я достаточно сыт! Это я не от жадности так поступаю, а чтоб соблюсти принцип. Ибо таким только образом достигается "накопление богатств".

Чудак!

Когда бутылка шампанского была осушена, язык у Лабули развязался, и он пустился в откровенности, которые еще раз доказали мне, какая странная смесь здоровых понятий с самыми превратными царствует в умах иностранцев о нашем отечестве:

– Вы, русские, счастливы (здорово!), – сказал он мне, – вы чувствуете у себя под ногами нечто прочное (и это здорово!), и это прочное на вашем живописном языке (опять-таки здорово!) вы называете "каторгой" (и неожиданно, и совершенно превратно!..).

– Позвольте, дорогой сенатор! – прервал я его, – вероятно, кто-нибудь из русских "веселых людей" ради шутки уверил вас, что каторга есть удел всех русских на земле. Но это неправильно. Каторгою по-русски называется такой образ жизни, который присвоивается исключительно людям, не выполняющим на-

чальственных предписаний. Например, если не приказано на улице курить, а я курю – каторга! если не приказано в пруде публичного сада рыбу ловить, а я ловлю – каторга!

– Однако!

– Тяжеленько, но зато прочно. Всем же остальным русским обывателям, которые не фордыбачут, а неуклонно исполняют начальственные предписания, предоставлено – жить припеваючи.

– Mais le "pripevaioutchi" – e'est justemont ce gue j'ai voulu dire! La "katorga" et le "pripevaioutchi"...⁸⁹

– Совершенно два различных понятия, любезный господин де ЛабулиИ. Значение слова "каторга" я сейчас имел честь объяснить вам; что же касается до слова "припеваючи" – это то самое, об чем вы, французы, в романсах поете: aimons, dansons et... chantons!⁹⁰

– Благодарю вас. Но, во всяком случае, моя мысль, в существе, верна: вы, русские, уже тем одним счастливы, что видите перед собой прочное положение вещей. Каторга так каторга, припеваючи так припеваючи. А вот беда, как ни каторги, ни припеваючи – ничего в волнах не видно!

⁸⁹ Но «припеваючи» – это именно то, что я хотел сказать! «Каторга» и «припеваючи»...

⁹⁰ давайте любить, танцевать и... петь!

– Лабули! да неужто у вас до того дошло?

– Пхе!

– Прошу вас, объясните вашу мысль!

– Очень просто. Ни один француз, ложась на ночь спать, не может сказать себе с уверенностью, что завтра утром он не будет в числе прочих расстрелян!

– Что ж! по-моему, это спасительный страх – и ничего больше!

– Oh! pardon...⁹¹

– Послушайте, мой друг! Вы, французы, народ легкомысленный. Надо же вашему начальству хоть какое-нибудь средство иметь, чтоб нейтрализовать это легкомыслие!

– В существе, я, разумеется, с вами согласен, но...

– Без "но", Лабули! и будем говорить по душе. Вы жалуетсяь, что вас каждочасно могут в числе прочих расстрелять. Прекрасно. Но допустим даже, что ваши опасения сбудутся, все-таки вы должны согласиться, что это расстреляние произойдет не иначе, как с разрешения Мак-Магона. А нуте, скажите-ка по совести: ужели Мак-Магон решится на такую крайнюю меру, если вы сами не заслужите ее вашим неблагонадежным поведением?

Лабули, вместо ответа, поник головой.

– Вы не отвечаете? очень рад! Будемте продол-

⁹¹ Ах! извините...

жать. Я рассуждаю так: Мак-Магон – бесспорно добрый человек, но ведь он не ангел! Каждый божий день, чуть не каждый час, во всех газетах ему дают косвенным образом понять, что он дурак!!! – разве это естественно? Нет, как хотите, а когда-нибудь он рассердится, и тогда...

– И прекрасно сделает!

– Очень рад, что вы пришли к такому здоровому заключению. Но слушайте, что будет дальше. У нас, в России, если вы лично ничего не сделали, то вам говорят: живи припеваючи! у вас же, во Франции, за то же самое вы неожиданно, в числе прочих, попадаете на каторгу! Понимаете ли вы теперь, как глубоко различны понятия, выражаемые этими двумя словами, и в какой степени наше отечество ушло вперед... Ах, Лабули, Лабули!

Я высказал это довольно строго, но, чтоб не смутить моего собеседника окончательно, сейчас же смягчил свой приговор, сказав:

– А не выпить ли нам еще бутылочку? на мой счет... а?

– С удовольствием! – поспешил согласиться он и, взяв со стола опорожненную бутылку, посмотрел через нее на свет и сказал: – Пусто!

Принесли другую бутылку. Лабули налил стакан и сейчас же выпил.

– Скажите, Лабули, ведь вы клерикал? – начал я.

– То есть, как вам сказать...

Он что-то пробормотал, потом покраснел и начал смотреть в окошко. Ужасно эти буржуа не любят, когда их в упор называют клерикалами.

– Впрочем, я думаю, что вы больше по части служителей алтаря прохаживаетесь? их преимущественно протезируете? – продолжал я допрос.

– То есть, как вам сказать! Конечно, служители алтаря... Алтаря! *mais, j'espere que c'est assez crane?*⁹²

– А бога... любите?

Лабули вновь поник головой.

– И бога надобно любить, Лабули! служителей алтаря надо любить ради управы благочиния, а бога – для него самого!

Но он угрюмо молчал.

– Бог – он царь небесный! так-то, Лабули!

Но он и на это не отвечал. Однако я видел, что в душе он уже раскаивается, а потому, дабы не отягощать его дальнейшим испытанием на эту тему, хлопнул его по колену и воскликнул:

– А вот я и еще одну проруху за вами заметил. Давеча, как мы в вагоне ехали, все вы, французы, об конституции поминали... А по-моему, это пустое дело.

⁹² однако я надеюсь, что это достаточно смело?

– Saperlotte!⁹³

– Знаю я, что вам, французам, трудно без конституции обойтись! Уж коли бог послал крест, так надо его с терпением нести... ну, и несите, бог с вами! А все-таки язычок-то попридержать не худо!

– Да, но согласитесь, что трудно избежать в разговоре слова "конституция", если речь идет именно о том, что оно выражает? А у нас с семьсот восемьдесят девятого года...

– Знаю и это. Но у нас мы говорим так: иллюзии – и кончен бал. Скажите, Лабули, которое из этих двух слов, по вашему мнению, выражает более широкое понятие?

Это открытие так поразило Лабули, что он даже схватился за бока от восторга.

– Иллюзии... ха-ха! – захлебывался он, – и притом в особенности ежели... illusions perdues...⁹⁴ ха-ха!³²

– Вот то-то и есть. Вы об нас, русских, думаете: северные медведи! а у нас между тем терминология...

– Но знаете ли вы, что это изумительно! то есть изумительно верно и хорошо!

– А я об чем же говорю! Я говорю: нужда заставит и калачи есть...³³

⁹³ Черт возьми!

⁹⁴ утраченные иллюзии

– Это еще что такое?

– Очень просто. При обыкновенных условиях жизни, когда человек всем доволен, он удовлетворяется и мякинным хлебом; но когда его пристигнет нужда, то он становится изобретательным и в награду за эту изобретательность получает возможность есть калачи.

– Продолжайте, прошу вас. Я весь внимание.

– Итак, продолжаю. Очень часто мы, русские, позволяем себе говорить... ну, самые, так сказать, непозволительные вещи! Такие вещи, что ни в каком благоустроенном государстве стерпеть невозможно. Ну, разумеется, подлавливают нас, подстерегают – и никак ни изловить, ни подстеречь не могут! А отчего? – оттого, господин сенатор, что нужда заставила нас калачи есть!

– Изумительно!

– А вы, французы, – зудите. Заладите одно, да и твердите на всех перекрестках. Разве это приятно? Возьмем хоть бы Мак-Магона, – разве ему приятно, что вы ему через час по ложке конституцией в нос тычете? Ангел – и тот сбесится!

– Что правда, то правда!

– Так вот что, Лабули. Обещайте вы мне, что впредь об конституции – ни гугу! Пускай Гамбетта Подхалимову насчет конституции открывается, а мы

с вами – шабаш!

– Прекрасно... чудесно! я совершенно... Русский! вы... очаровали меня!

– Нет, Лабули, вы не виляйте, а говорите прямо: обещаете или нет?

– Отлично! очаровательно! Vive Henri Cinq!.. c'est Га!⁹⁵ Но ведь он... смоковница-то... сказывала мне на-меднись m-lle Краузетт...³⁴

По-видимому, Лабули намеревался излиться передо мной в жалобах по поводу Шамбора, в смысле смоковницы, но шампанское уже сделало свое дело: собеседник мой окончательно размяк. Он опять взял опорожненную бутылку и посмотрел на свет, но уже не смог сказать: пусто! а как сноп грохнулся в кресло и моментально заснул. Увидевши это, я пошевелил мозгами, и в уме моем столь же моментально созрела идея: уйду-ка я за добрю-ума из отеля, и ежели меня остановят, то скажу, что по счету сполна заплатит Лабули.

Так я и поступил.

Я шел в палату депутатов и вдвойне радовался. Во-первых, мне удалось поймать в сети благонамеренности такую крупную рыбину, как сенатор французской республики. Во-вторых, я успел в этом, не затратив

⁹⁵ Да здравствует Генрих Пятый!.. вот именно!

ни одного сантима, а, напротив, сам довольно плотно позавтракав на счет новообращенного. Воображаю, как он вытаращит глаза, когда проснется и увидит перед собой addition!⁹⁶ Вот-то, я думаю, выругается! Пожалуй, еще процесс, подлец, затеет! Ну, нет, не посмеет! Пьян был... сенатор! сенатору, брат, пьяным быть не полагается. А впрочем, ежели и затеет процесс, так ведь у меня и на этот случай «sagesse des nations» в запасе есть. Скажу, я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик – поди, уличай! Кто больше выпил? кто больше съел? Ты! ты, сенатор, и выпил, и съел! – стало быть, ты и плати! Словом сказать, очень мне было весело. Когда я проник в трибуну иностранных журналистов, Клемансо уже разглагольствовал.⁹⁷ Суконным языком он произнес суконную речь, которая продолжалась не меньше трех часов и каждый период которой вызывал в слушателе только одну мысль: никого, братец, ты разглагольствиями своими не удивишь! Так что если уже утром, едучи в Версаль, я сомневался в успешном исходе дела, то теперь, слушая Клемансо, чувствовал, что и сомнения не может быть.

⁹⁶ ресторанный счет

⁹⁷ Клемансо – вожак крайней левой. Как оратор, он считается соперником Гамбетты. Его речь в пользу амнистии собственно и составляла интерес заседания, потому что самый вопрос уже заранее был предreshен против амнистии. (Примеч. М. С. Салтыкова-Щедрина.)

Он стоял на трибуне, прямой, самодовольный, обложенный грудой книг и фолиантов; сначала брал одну книгу, потом другую и, как чадолюбивая наседка, выклевывал одну цитату за другой, думая насытить ими голодное стадо зверей. Сзади его сидел президент палаты Гриви (нынешний президент республики) и, грозно взглядывая на бонапартистов, с заученно деревянным жестом протягивал руку к колокольчику всякий раз, как Кассаньяки, отец и сын, начинали подвывать. Лицом к оратору сидели: напротив – министры БюффИ, Деказ и прочие сподвижники Мак-Магона и своими деревянными физиономиями как бы говорили: хоть кол на голове теши! За ними и по обе стороны – депутаты. Из них выделялись: направо Кассаньяк-отец, которому недоставало только бубнового туза на спину, чтоб быть в полной парадной форме; налево – Гамбетта, который, как капельмейстер оркестром, ловко дирижировал «левою» и «республиканским союзом».

Повторяю: Клемансо говорил ordinarily, бесцветно, вяло. Скудоумна была уже сама по себе мысль говорить три часа о деле, которое в таком только случае имело шансы на выигрыш, если б явилась ораторская сила, которая сразу сорвала бы палату и в общем взрыве энтузиазма потопила бы колебания робких людей. Но такой ораторской силы в на-

стоящее время в палате нет, да ежели бы она и была, то вряд ли бы ей удалось прошибить толстомясых буржуа, которых нагнал в палату со всех концов Франции пресловутый scrutin d'arrondissements,⁹⁸ выдвинувший вперед исключительно местный элемент.

Я думаю насчет этого так: истинные ораторы (точно так же, как и истинные баснописцы), такие, которые зажигают сердца людей, могут появляться только в таких странах, где долго существовал известного рода гнет, как, например, рабство, диктатура, канцелярская тайна, ссылка в места не столь отдаленные (а отчего же, впрочем, и не в отдаленные?) и проч. Под давлением этого гнета в сердцах накапливается раздражение, горечь и страстное стремление прорвать плотину паскудства, опутывающего жизнь. В большинстве случаев, разумеется, победа остается на стороне гнета, и тогда ораторы или сгорают сами собой, или кончают карьеру в местах более или менее отдаленных. Но бывает и так, что гнет вдруг сам собою ослабнет, и плотину с громом и треском разнесет. Вот тогда-то вылезают из всех щелей ораторы. Во Франции это случилось во время "великой французской революции". Много до того времени накопилось: и барщина, и общая экономическая неурядица, и всякие расхищения. И все не было да не было ораторов,

⁹⁸ принцип выборов по округам

как вдруг – Мирабо! А за ним, как из рога изобилия, посыпались: Дантон, Сен-Жюст, Камилль Демулен, Верпье... какую массу гнета нужно было накопить, чтоб разом предъявить миру столько страстности, горечи, раздражения, сколько было вылито устами этих людей!

Но люди благополучные, невымученные, редко чувствуют потребность зажигать человеческие сердца и в деле ораторства предпочитают разводить канитель. Адвокат, который ничего не получил вперед, всегда защищает порученное ему дело с большим азартом, нежели адвокат, который половину денег взял вперед, а насчет остальной половины обеспечил себя хорошою неустойкой. В словах первого слышится и горечь опасения, и желание прельстить и разжалобить клиента: вот я как в твою пользу распинаюсь, смотри же и ты не надуй! Все эти чувства сообщают его речи живой и взволнованный характер, который не может не действовать и на чувствительного судью. Напротив того, в словах адвоката благополучного слышится только одно: я свои деньги получил. То же самое явление повторяется и здесь, в палате депутатов. Люди всходят на трибуну и говорят. Но не потому говорят, что слово, как долго сдержанный поток, само собой рвется наружу, а потому что, принадлежа к известной политической партии, невоз-

можно, хоть от времени до времени, не делать чести знамени. Тот внутренний очаг, из которого надлежало бы вылетать словесному пламени, ежели не совсем потух, то слишком вяло поддерживается и изнутри, и извне.

Oratores fiunt⁹⁹ – очень справедлив этот латинский афоризм. То есть Демосфены, Мирабо, Демулены, Дантоны – nascuntur;¹⁰⁰ а Цицероны, Тьеры, Клемансо, Гамбетты и некоторые русские *langues bien pendues*¹⁰¹ – эти fiunt¹⁰² Современный французский политический оратор отяжелел и ожирел; современные слушатели его – тоже отяжелели и ожирели. Первый потерял способность зажигать; второй утратил способность быть зажигаемым. В области материальных интересов, как, например: пошлин, налогов, проведения новых железных дорог и т. п., эти люди еще могут почувствовать себя затронутыми за живое и даже испустить вопль сердечной боли; но в области идей они, очевидно, только отбывают повинность в пользу того или другого политического знамени, под сень которого их поставила или судьба, или личный расчет.

Говорят, будто так именно и нужно. Пора, дескать,

⁹⁹ Ораторами делаются

¹⁰⁰ рождаются

¹⁰¹ с хорошо подвешенными языками

¹⁰² делаются

надзвездные-то сферы оставить, а обратиться к земле и так устроиться, чтобы долу жилось хорошо. Но мне кажется, что этой последней, конечной цели мы именно только тогда достигнем, когда в надзвездных сферах будет учрежден достаточно прочный порядок. Конечно, это, как говорится, шиворот-навыворот, но что же делать, коли так уж издавна повелось, что из хаоса природы прежде выделилось начальство, а потом уж, ради обстановки, и прочие обыватели. По-моему, нельзя не иметь этого в виду, ибо если не устроиться как следует в надзвездных сферах, то непременно придет генерал-майор Отчаянный (по-французски Мак-Магон), крикнет: а кто вам, такие-сякие, разрешил не в свое дело нос совать... брысь все! И полетели прахом все наши благоначинания и труды!

Сверх того, для нас, иностранцев, Франция, как я уже объяснил это выше, имела еще особое значение – значение светоча, лившего свет *сogam hominibus*.¹⁰³ Поэтому как-то обидно делается при мысли, что этот светоч погиб. Да и зрелище неизящное выходит: все был светоч, а теперь на том месте, где он горел, сидят ожиревшие менялы и курлыкают. Точь-в-точь как у нас журналист Менандр, который в «Старейшей Пенкоснимательнице» все надседался-курлыкал: наше время не время широких за-

¹⁰³ перед человечеством

дач! курлыкал да курлыкал, а пришел тайный советник Петр Толстолобов, крикнул: ты что тут революцию распространяешь... брысь! – и слопал Менандра!³⁵

Но как ни мало привлекательна была речь Клемансо и вообще вся обстановка палатского заседания, все-таки, выходя из палаты, я не мог воздержаться, чтоб не воскликнуть: вот кабы у нас так! Что делать! такие уж у нас, русских, глаза завистливые, что не можем мы в чужом глазу сучка видеть, чтоб себе того же не пожелать. Даже тайный советник Куроцапов, встретившись со мной на бульваре и насмотревшись на здешние порядки, – и тот воскликнул: "Вот так правительство! Смотрите-ка, какими щетками грязь с улиц счищают". И действительно, отчего бы у нас своих Клемансо, своих Кассаньяков и Гамбетт не завести? Ведь и во Франции Клемансо удовлетворения не получал, и у нас бы не получил; стало быть... А что касается до гвалта и криков, которые зачастую развлекают внимание посетителей палаты, то ведь это одна форма: пошумят, поругаются в честь знамени – а потом и опять как с гуся вода. И у нас драки зачастую случаются, так в чем же, спрашивается, опасность? Так вот нет же, скорее миллион щеток для очищения улиц от грязи заведут, а уж Гамбетте не дадут рта разинуть – шалишь! Оттого-то и весело в Париже, что все там есть и все можно видеть, обо всем говорить

и даже поврать. Даже у русских там сердце играет. А у нас дома ничего нет, стало быть, и глядеть не на что, и язык не из-за чего шевелить. Правда, иногда и у нас случается слышать, будто в таком-то месте, еще с времен царя Гороха, заседает какая-то комиссия – ну, и пущай ее заседает!

А я пойду в портерную или в питейный, налакаюсь досыта, ворочусь домой и лягу спать! Вот тебе и комиссия!

Разве можно сказать про такую жизнь, что это жизнь? разве можно сравнить такое существование с французским, хотя и последнее мало-помалу начинает приобретать меняльный характер? Француз все-таки хоть над Гамбеттой посмеяться может, назвать его *le gros Leon*,¹⁰⁴ а у нас и Гамбетты-то нет. А над прочими, право, и смеяться даже не хочется, потому что... Ну, да уж Христос с вами! плодитесь, множитесь и населяйте землю!

Я возвратился из Версаля в Париж с тем же поездом, который уносил и депутатов. И опять все французы жужжали, что, в сущности, Клемансо прав, но что же делать, если уши выше лба не растут. И всем было весело, до такой степени весело, что многие даже осмелились и начали вслух утверждать, что Мак-Магон совсем не так прост, как это может казаться с

¹⁰⁴ толстяк Леон

первого взгляда.

В то время было принято называть Мак-Магона "честною шпагой" (кажется, Тьер первый окрестил его этим прозвищем), но многие к этому присовокупляли, что "честная шпага" есть прозвище иносказательное, под которым следует разуметь очень-очень простодушного человека. Сверх того, по поводу того же Мак-Магона и его свойств, в летучей французской литературе того времени шел довольно оживленный спор: как следует понимать простоту ³⁶ (опять-таки под псевдонимом «честной шпаги»), то есть видеть ли в ней гарантию вроде, например, конституции или, напротив, ожидать от нее всяких угроз?

Разумеется, до моего мнения никому во Франции нет дела; но ежели бы, паче чаяния, меня спросили, то я сказал бы следующее. С одной стороны, простота заключает в себе очень серьезную угрозу, но, с другой стороны, она же может представлять и известные гарантии. А за всем тем не представлялось бы для казны ущерба, если б и совсем ее не было.

Опасность, представляемая простотою, заключается в том, что она имеет все свойства воды, а потому от нее можно ожидать всяких видов, кроме тех, которые свидетельствуют о сознательности. Как в воде случайно отражается и лучезарное небо, и небо угрожающее, так и в глупости случайно отражается и бла-

говоление и ехидство. А так как речь идет о глупости властной, которую в большинстве случаев окружают всевозможные своекорыстия и алчности, то ехидство встречается несомненно чаще, чем благоволение.

В пример того, как опасна глупость, могу представить действительного статского советника Губошлепова. Покуда был у него правителем канцелярии Пантелей Душегубцев, то он без всякой нужды вверенный ему град спалил, а сам, стоя на вышине и любуясь пожаром, говорил: пускай за мое злочестие пострадают! И тот же Губошлепов, когда, по обстоятельствам, вынужден был взять в правители канцелярии Иону Добромыслова, то опять свой град, иждивением граждан, далее краше прежнего выстроил. Но так как и то и другое действие он допустил не от разума, а от глупости, то обыватели, сколько мне известно, и поднесь нового пожара ждут.

Что касается гарантии, которую может представлять простота, то она состоит в том, что простодушный человек не только сам не сознает чувства ответственности, но и все доподлинно знают, что ничему подобному неоткуда и заползти в него. Поэтому бессовестные люди, стоящие вокруг простодушия, пользуются им лишь до известных пределов. Самый наглый злодей, действуя в союзе с глупостью, понимает, что последняя отнюдь не представляет надежной за-

щиты. Глупых людей редко ненавидят, а иногда даже жалеют, видя в них лишь жалкое орудие посторонних козней. Злодей понимает это и сдерживается; а партикулярные люди благодарят бога и говорят: покуда у нас Мак-Магон, мы у него как у Христа за пазухой.

Но в настоящем случае вопрос усложняется тем, действительно ли Мак-Магон только прост или же он, сверх того, и тупоумен. Ибо если простодушный человек еще может представлять гарантию, то со стороны тупца ничего, кроме угроз, ожидать нельзя. Идея общего блага равно чужда и глупому человеку, и тупоумцу, но последний уже дошел до понимания личного блага и, следовательно, получил определенную цель для существования. В основу этого личного блага легли самые низменные инстинкты, но не надо забывать, что именно они-то и давят на человека наиболее настоятельным образом. До такой степени давят, что тупец начинает смешивать свое личное благо с общим и подчинять последнее первому. И вот, когда он таким образом доведет свое мирозерцание до наглости, тогда-то именно и наступает действительная опасность. Ибо тупец, в деле защиты инстинктов, обладает громадной силой инициативы и никогда ни перед чем не отступает. Если ему покажется, что необходимо, в видах его личного самосохранения, расстрелять вселенную – он расстреляет; ежели по-

требуется вавилонскую башню построить – он построит. Насколько несложны цели, которые он преследует, настолько же несложны и средства для их достижения. Все в нем потухло: и воображение, и способность комбинировать и продолжать будущее, все, кроме немолчно вопиющих инстинктов.

Что же такое, однако ж, Мак-Магон? Расстреляет ли он или не расстреляет? Вот вопрос, который витал над Парижем в мае 1876 года³⁷.

* * *

Но, по-видимому, Мак-Магон действительно был только «честная шпага», и ничего больше. Рассказы вают за достоверное, что все уже было как следует подстроено, что приготовлены были надежные войска, чтобы раскассировать палату, и подряжены парадные кареты, в которых Шамбор имел въехать в добрый город Париж...

Я понимаю, как эти слухи должны были волновать французов, которые хоть сколько-нибудь помнили и понимали прошлое Франции. Черт знает что такое! Сделать одну великую, две средних и одну малую революцию, и за всем тем не быть обеспеченным от обязанности кричать (или, говоря официальным язы-

ком, pousser des cris d'allegresse: vive Henri Cinq!¹⁰⁵ как хотите, а это хоть кого заставит биться лбом об стену. И действительно, французы даже друг другу боялись сообщить об этих слухах, которые до такой степени представлялись осуществимыми, что, казалось, одного громко произнесенного слова достаточно было, чтобы произвести взрыв.

Но в решительную минуту Шамбор отступил. Он понял, что Мак-Магон не представляет достаточно прикрытия для заправского расстреляния "доброго города Парижа". И Мак-Магон с своей стороны тоже не настаивал. Но, сверх того, и того и другого, быть может, смутило то обстоятельство, что палата, с раскассирования которой предстояло начать "реставрацию", не давала к тому решительного повода.

Будь палата несколько более нервная, проникнись она сильнее человеческими идеалами, Шамбор, наверное, поступил бы с нею по всей строгости законов. Но так как большинство ее составляли индейские пехоты, которые не знали удержу только в смысле уступок, то сам выморочный Бурбон вынужден был сказать себе: за что же я буду расстреливать сих невинных пернатых?

Положим, что Клемансо виноват; положим, что, кроме Клемансо, наберется и еще человек десять,

¹⁰⁵ испускать ликующие крики: да здравствует Генрих Пятый!

двадцать зачинщиков, которые сдабривали его суконную речь криками: "bravo! tres bien!"¹⁰⁶ – но что же из этого? Во-первых, и Клемансо, и его укрывателей сама палата охотно во всякое время выдаст для расстреляния; во-вторых, допустим даже, что вы расстреляете Клемансо, но с какой стороны вы подступитесь к индюкам, у которых на все подвохи уже заранее готов ответ: la republique sans republicans³⁸,¹⁰⁷ а в-третьих, ведь и самый Клемансо – разве он бужаил, или грубил, или угрожал? Нет, он скромно ходатайствовал: коли любишь – прикажи, а не любишь – откажи! Таким кротким манером и перед самим Шамбором ходатайствовать не возбраняется.

Одним словом, ежели в древности Рим спасли гуси, то в 1876 году Францию спасли – индюки.

Под этим впечатлением я и оставил Париж. Я расставался с ним неохотно, но в то же время в уме уже невольню и как-то сама собой слагалась мысль: ах, эти индюки!

* * *

Я возвратился в Париж осенью прошлого года. Я

¹⁰⁶ bravo! отлично!

¹⁰⁷ республика без республиканцев

ехал туда с гордым чувством: республика укрепилась, говорил я себе, стало быть, законное правительство восторжествовало. Но при самом въезде меня возмутило одно обстоятельство. Париж... вонял!!³⁹ Еще летом в Эмсе, когда мне случилось заметить, что около кургауза пахнет не совсем благополучно, мне говорили: это еще что! вот в Мариенбаде или в Париже, ну, там действительно...

В Мариенбаде – страждущее человечество; в Париже – человечество благополучное. Два противоположных явления, а результат один – вонь! Какая богатая антитеза и сколько блестящих страниц написал бы по поводу ее Виктор Гюго! Я же скажу кротко: пути, которыми ведет нас предопределение, неисповедимы.

Действительно, приехавши в конце августа прямо в Париж, я подумал, что ошибкой очутился в Москве, в Охотном ряду. Там тоже живут благополучные люди, а известно, что никто не выделяет такую массу естественных зловоний, как благополучный человек.

Что ему! щи ему дают такие, что не продуешь; каши горшок принесут – и там в середине просверлена дыра, налитая маслом; стало быть, и тут не продуешь. И так, до трех раз в день, не говоря об чаях и сбитнях, от которых сытости нет, но пот все-таки прошибает. Брюхо у него как барабан, глаза круглые, изумленные – надо

же лишнюю тяжесть куда-нибудь сбыть. Вот он около лавки и исправляется. А в лавке и товар подходящий: мясо, живность, рыба. Придет покупатель: что у вас в лавке словно экстренно пахнет? – а ему в ответ: такой уж товар-с; без того нельзя-с.

Я знаю Москву чуть не с пеленок; всегда там воняло. Когда я еще на школьной скамье сидел, Москва была до того благополучна, что даже на главных улицах вонь стояла коромыслом. На Тверской, например, существовало множество крохотных калачных, из которых с утра до ночи валил хлебный пар; множество полпивных ("полпиво" – кто нынче помнит об этом прекрасном, легком напитке?), из которых сидельцы с чистым сердцем выплескивали на тротуар всякого рода остатки. По улице свободно ходили разносчики с горячими блинами, грешневиками, гороховиками, с подовыми пирогами "с лучком, с перцем, с собачьим сердцем", с патокой с имбирем, которую "варил дядя Симион, тетушка Арина кушала-хвалила", с моченой грушей, квасом, сбитнем и проч. Воняло и от продуктов и от продавцов, и от покупателей. Воняло от гостиниц Шевалдышева, Шора, а пониже от гостиниц "Париж" и "Рим". В этих приютах останавливались по большей части иногородные купцы, приезжавшие в Москву по делам, с своей квашеной капустой, с соленой рыбой, огурцами и прочей соленой и копченой

снedyю, ничего не требуя от гостиницы, кроме самовара, и ни за что не платя, кроме как за "тепло". И так как в то время о ватерклозетах и в помышлении ни у кого не было, то понятно, что весь этот упитанный капустою люд оставлял свой след понемногу везде. Точно то же самое, в большей или меньшей мере, представлялось и на Никитской, и на Арбате, и на Кузнецком мосту. А к Охотному ряду, к Ильинке и к купеческим усадьбам даже приступить не было: благодать видимо почивала на них.

Но тогда этим как-то не отягощались и даже носов не затыкали. Казалось совершенно естественным, что там, где живут люди, и пахнуть должно человечеством. В самых зажиточных помещичьих домах не существовало ни вентиляторов, ни форточек, в крайних же случаях "курили смолкой". Я живо помню: бывало, подъезжаешь к Москве из деревни, то верст за шесть уже чувствуешь, что приближаешься к муравейнику, в котором кишат благополучные люди. "Москва близко! Москвой пахнет!" – говорили кучера и лакеи и набожно снимали картузы, приветствуя золотые московские маковки. И что ближе, то пуще и гуще. И не было тогда ни дифтеритов, ни тифов, ни болезней сердца, а был один враг телес человеческих: кондрашка. Поэтому говорили кратко: вчера Сидор Кондратьич с вечера покушали, легли почивать, а сегодня

утром смотрим, а они приказали долго жить.

Вообще я думаю, что и болезни, и самая смертность получают развитие по мере усовершенствования врачебной науки. Или, говоря другими словами, врачебная наука популяризирует болезни, делает их общедоступными. Покуда врачебная наука была в младенчестве, болезни посещали человека случайно. Иногда он "бился животом", иногда – кашлем, зубами, головой; иногда – кровь "просилась". Выпьет человек квасу с солью или, напротив, съест фунта два моченой груши – "пройдет" живот; поставит к затылку горчишник – "пройдет" голова; накаплет на синюю сахарную бумагу сала и приложит к груди, или обвернет на ночь шею заношенным шерстяным чулком – пройдет кашель; "кинет" кровь – перестанет кровь "проситься". В более важных случаях, как, например, при водянке, желтухе и проч., ели тараканов, мокриц и даже тех паразитов, которые населяют, по преимуществу, головы меньшей братии. Но того, чтоб как только родился человек, так сейчас же хлопотать о приписке его к какому-нибудь органическому повреждению – этого не было. Случались, правда, и тогда моровые поветрия, но и на это опять-таки была воля божия. Прегрешит помпадур, в разврат впадет – сейчас на губернию налетит или черная немочь, или огневица, или оспа. Тогда архиерей приказывает заложить в

колымагу четверку вороных и едет, с двумя иподиаконами на запятках, к помпадуру печаловаться за сирот, и молит его путь прегрешений оставить. Обыкновенно помпадур уступал, то есть Дуньку толстомясую ссылал в дальнюю вотчину или Варьку пучеглазую выдавал замуж за правителя канцелярии, и тогда черная немочь прекращалась. Но ежели помпадур не уступал, то болезнь продолжала неистовствовать и, наконец, достигала таких размеров, что всполошенное начальство само сменяло помпадура. Тогда опять становилось тихо. Но, повторяю, не было ни такого разнообразия болезней, ни такой неизбежности их, ни такой точности в расписании людей по роду повреждений. Все это ввела уже усовершенствованная врачебная наука и поставила этот вопрос на таком незыблемом основании, что укрыться от "приписки" стало совсем некуда. Так что, взирая, например, на младенца, не о том нужно помышлять, поврежден он или не поврежден (это уж вне сомнения), а о том, что именно в нем повреждено и к какому нарочитому доктору следует обратиться, чтоб дать младенцу возможность влачить постыдное существование.

Ибо и в смысле врачебной практики совершился прогресс. Более подробное изучение болезней, удручающих род человеческий, породило большую дробность в их определении и в то же время дало ме-

сто множеству отдельных специальностей. В прежнее время "лекарь" лечил всех и от всего. Лечил и старых и малых, и дворян и меньшую братию, и мужеск и женен пол. Лечил и от головы, и от живота, и от зубов, и кровь «бросал». Нынче первый палец правой руки приписан к собственному медику, живущему в Разъезжей, а первый палец левой руки – к медику, живущему на Васильевском Острове. Одно ухо лечит один врач; другое – другой. Приехали вы с пальцем правой руки к медику пальца левой руки – он вам скажет: конечно, я могу вам средствице прописать, а все-таки будет вернее, если вы съездите на Васильевский Остров к Карлу Иванычу. И что ж! за всем тем без смерти не обойдешься. Ибо при таком множестве болезней и при такой разнообразии специальностей одно только и остается прибежище: умереть.

Но этого мало: изумительные успехи врачебной науки внесли существенные изменения и в наш домашний обиход, в наши, так сказать, основы. Ограничусь только одним примером: прежде, бывало, вознамерится человек адюльтер совершить, сейчас становится перед дамой сердца на колени и в этом положении ожидает дальнейших инструкций. И никаких произвольных скандалов при этом не возникало, даже если муж дамы сердца находился в соседней комнате. Нынче медицинская наука открыла, что человек, ста-

новясь на колени, может сделать неловкое движение и повредить себе седалищный нерв. Именно так на днях и случилось. Только что встал молодой человек на колени для ходатайства, как вдруг невзвидел света и заорал. Разумеется, сбежался весь дом, и прежде всех прибежал муж. Оказалось, что молодой человек повредил себе седалищный нерв! И вот из-за подобного вздора возникает целый процесс. Оскорбленный муж доказывает, что седалищный нерв был поврежден "по", невинная жена утверждает, – что "до". Разумеется, на суде будут вызваны эксперты, которые, в свою очередь, станут приводить доводы pro и contra;¹⁰⁸ потом то же самое будут развивать в своих речах адвокаты Балалайкин и Подседалищников; потом вступятся в это дело газеты. А в конце концов окажутся три разбитых существования... Обращаюсь ко всем jeunes premiers¹⁰⁹ сороковых годов: кто из них подозревал, что у него есть какой-то седалищный нерв, который может наделать переполоха в столь обыкновенном деле, как «чуждых удовольствий любопытство»?

Нет, тысячу раз был прав граф ТвэрдоонтС (см. предыдущую главу), утверждая, что покуда он не во рошил вопроса о неизобилии, до тех пор, хотя и не

¹⁰⁸ за и против

¹⁰⁹ любовникам

было прямого избытка, но было "приспособление" к избытку. А как только он тронул этот вопрос, так тотчас же отовсюду и напоззло неизбытие. Точно то же самое повторяется и в деле телесных озлоблений. Только чуть-чуть поворозите эту материю, а потом уж и не расстанетесь с ней.

Извиняюсь перед читателями за это отступление, но оно было необходимо, чтоб объяснить, в какой мере отцы наши были более благополучны, нежели мы. А если были благополучны, то, стало быть, от них пахло. И от них, и от их жилищ.

Далеко ли то время, когда в московском трактире в коридор нельзя было выйти, чтоб не воскликнуть: что это, братцы, у вас как будто того... чрезвычайное что-нибудь! Давно ли мне, при созерцании рук местных половых, думалось: ах, эти руки! каких тайн они были укрывателями! А между тем где в другом месте так сладко пилось и елось, как в московском трактире? Где больше говорилось умных и свободных речей? Где больше лгалось? И точно: выпьешь, бывало, листовки (рюмка, две рюмки, три рюмки, скороговоркой выговаривали половые), закусишь янтарнейшим балыком – и не воняет! И руки у половых внезапно сделаются чистые, и скатерти... ах, какие бывали там скатерти! Не поймешь, что тут совершалось: яичницу ли ели, дитё ли сидело... даже половые – и те, быва-

ло, стыдились! И то же самое происходило и в Новотроицком, в "Саратове", в Охотном ряду у Воронина⁴⁰. И все они были переполнены народом, везде пили и ели!

Да и не в одной Москве, а и везде в России, везде, где жил человек, – везде пахло. Потому что везде было изобилие, и всякий понимал, что изобилия стыдиться нечего. Еще очень недавно, в Пензе, хозяйственные купцы не очищали ретирад, а содержали для этой цели на дворах свиней. А в Петербурге этих свиней ели под рубрикой "хлебной тамбовской ветчины". И говорили: у нас в России трихин в ветчине не может быть, потому что наша свинья хлебная.

А нынче пройдитеесь-ка по Тверской – аромат! У Шевалдышева – ватерклозеты, в "Париже" – ватерклозеты... Да и те посещаются мало, потому что помещик ныне наезжает легкий, неблагополучный. Только в Охотном ряду (однако и там наполовину против прежнего) пахнет, да еще на Ильинке толстомясые купцы бьются-урчат животами... Гамбетты!

Да что тут! На днях получаю письмо из Пензы – и тут разочарование! "Спешу поделиться с вами радостной весточкой, – сообщает местный публицист, – и мы, пензяки, начали очищать нечистоты не с помощью свиней, а на законном основании. Первый, как и следовало ожидать, подал пример наш уважае-

мый" и т. д. Ну, разумеется, порадоваться-то я порадовался, но потом сообразил: какое же, однако, будет распоряжение насчет "тамбовской хлебной ветчины"? Ведь этак, чего доброго, она с рынка совсем исчезнуть должна!

Теперь сопоставьте-ка эти наблюдения с известиями о саранче, колорадском жучке, гессенской мухе и пр., и скажите по совести: куда мы идем? уж не того ли хотим добиться, чтоб и на крестьянских дворах ничем не пахло?

Конечно, это своего рода идеал. Но придется ли дождаться его осуществления – это еще вопрос. Помогите, на крестьянском дворе должно обязательно пахнуть, и ежели мы изгоним из него запах благополучия, то будет пахнуть недоимками и урядниками.

Итак, прежнее московское благополучие перешло ныне в Париж. Конечно, оно выразилось не в тех простодушно ясных формах, в каких проявлялось на полном, как чаша, дворе пензенского гражданина, но все-таки достаточно определено, чтоб удовлетворить самым прихотливым требованиям.

С тех пор как во Франции восторжествовало "законное правительство", с тех пор как буржуа, отделавшись от Мак-Магонских угроз, уже не думает о том, придется ли ему предать любезное отечество или не придется, Парижу остается только упитываться и туч-

неть. Такова характеристическая черта его существования за последнее время. А следуя его примеру, упитывается и тучнеет и остальная Франция. Никогда палата депутатов не видала в стенах своих таких сытых и жирных сынов отечества, как те, которые заседают в ней после неудавшихся попыток Мак-Магона и его сподвижников.

Республика, по-видимому, отыскала для себя твердую почву, республика сытая, солидная, без республиканцев. Одним словом, осуществление идеала, излюбленного "маленьким буржуа", которому недавно воздвигнут памятник в С.-Жермене ⁴¹. Этот человек сделал все, чтоб примирить пугливого буржуа с словом «республика». Он до срока и без усилий уплатил пруссакам контрибуцию, затем разгромил коммуны и, в заключение, уничтожил национальную гвардию. Но, главное, он указал новый исход для французского шовинизма, выяснив, что, кроме военной славы, есть еще слава экономического и финансового превосходства, которым можно хвастаться столь же резонно, как и военными победами, и притом с меньшею опасностью.

О шовинизме идейной инициативы он, разумеется, благоразумно умолчал, да, признаться, после восемнадцатилетнего срамного пребывания под бандитской пятой, было как-то не к лицу и напоминать

об идеях. Во всяком случае, установившейся таким образом республике без республиканцев удивительно повезло. Во-первых, скромностью своею она снискала уважение всей Европы; во-вторых, почти сразу свела на нет внутренние политические партии. Из них крайние левые были поражены в самое сердце, одновременно с разгромом коммуны; династические же партии оказались беспредметными. Шамбор бесплоден; Орлеаны плодовиты и многочисленны, не лишены предприимчивости, и хотя достаточно бессовестны, но не в том смысле, какой потребен для уловления вселенной; и в довершение благополучия во цвете лет погиб Монтихин отпрыск. Таким образом, монархические партии, то есть те, которые, вследствие сочувствий влиятельных сфер, имели возможность действительно вредить республике, поставлены в необходимость бездействовать. Коли хотите, они и теперь еще продолжают протестовать, но делают это вяло, очевидно, только ради формы. Поздравляют Шамбора со днями ангела и рождения, служат парадные панихиды в дни казней Людовика XVI и Марии-Антуанетты и проч. Но чуть коснется дело чего-нибудь более существенного, вроде, например, субсидий отощавшему Шамбору, в результате как-то всегда оказывается пустое место. Что же касается до бонапартистов, то, со смертью Лулу ⁴², в среде этих

людей началась такая суматоха, которая несомненно кончится тем, что шайка эта, утратив последние признаки политической партии, просто-напросто увеличит собою ряды обыкновенных хищников, наказуемых общими судами.

Одним словом, никто, кроме выживших из ума Гаварди и Бодри д'Ассона (первый – сенатор, второй – депутат; оба – рьяные легитимисты), серьезно на нынешнюю французскую республику не претендует. Даже Бисмарк – и тот относится к ней без озлобления, хотя и не без любопытства. По-видимому, он совсем не того ожидал. Он рассчитывал, что пойдут в ход воспоминания 1789 и 1848 годов, что на сцену выдвинется четвертое сословие в сопровождении целой свиты "проклятых" вопросов, что борьба партий обострится и все это, вместе взятое, даст ему повод потихоньку да полегоньку разнести по кирпичу очаг европейских беспокойств. И вдруг, вместо "проклятых" вопросов, самая благонадежная каплунья мудрость! Не прошло и десяти лет, а уж Франция заняла "надлежащее" место в "советах" европейских держав и вместе с прочими демонстрирует, в водах Эгейского моря, в пользу Греции ⁴³. А газеты ее с гордостью возвещают, что город Париж удостоился посещения графа ТвэрдоонтС и других достославных кадетов. Разумеется, Бисмарк должен сознаться, что это совсем не входило в его

расчеты.

Вообще француз-буржуа как нельзя больше доволен, что он занял "надлежащее" место в концерте европейских держав, и не нарадуется на своих дипломатов. В Берлине у него – Сен-Валье, в Риме – Ноайль, еще где-то – Даркур... совсем как при Людовике XIV! И все они верой и правдой служат ему, буржуа, торгующему овошенным товаром где-то в rue de Seze и твердо верующему, что французское благополучие гораздо успешнее покорит мир, нежели французское оружие. Каким же образом графу ТвэрдоонтС, вместе с прочими кадетами, не почтить Парижа своим посещением? Как не пройтись ему гоголем по boulevard des Italiens?¹¹⁰ как не сообщить мосьИ Гамбетте о своих видах и предположениях насчет харчевенно-ресторанного союза ⁴⁴, который, по его мнению, должен еще более скрепить сердечные узы, соединяющие Россию с Францией? Ведь это значило бы обидеть Сен-Валье и Даркура, с которыми вместе он, ТвэрдоонтС, предназначен судьбою петь в концерте европейских держав...

Но ежели доволен буржуа, то мосьИ Жюль Гриви положительно должен быть вне себя от восторга. Подумайте! он уже имеет в услужении "гарсонов" вро-

¹¹⁰ Итальянскому бульвару

де Даркура и Ноайля – отчего ж не мечтать о "гарсонах" из породы Монморанси, Роган и Конде ⁴⁵. Придет время – и сам Мак-Магон не откажется еще и еще послужить. «Что, брат, задумался, – скажет ему Гриви, – переходи-ка в республиканцы!» И перейдет. Гриви терпелив и понимает, что все эти переходы только вопрос времени. А покуда он угощает графа ТвэрдонтС охотой в бывших императорских и королевских резиденциях и прикапливает сокровище из остаточков от президентского содержания. Так что если что-нибудь и омрачает его скромное благополучие, так это мысль, что отторжение Эльзаса и Лотарингии мешает достойным образом чествовать в стенах Парижа Бисмарка и Мольтке.

Словом сказать, все в восторге от современной французской республики, начиная с графа ТвэрдонтС и кончая князем Бисмарком, который, как говорят, спит и видит хоть на часок побывать в Париже и посмотреть на "La femme a rара".¹¹¹ Одно только вредит ей: это название «республика», а впрочем, и это дело скоро уладят календари. Да ведь и есть такая форма государственного общежития, есть. Что делать! даже в учебниках, для средних учебных заведений изданных, об этой форме правления упоми-

¹¹¹ «Папашина женка»

нается (так прямо и пишут: форма *правления*); даже в стенах Новороссийского университета тайному советнику Панютину, в Одессе суццу, провозглашалось⁴⁶: четыре суть формы правления: деспотическая, монархическая неограниченная, монархическая ограниченная и... республиканская! И тайный советник Панютин огорчился, но не возражал...

Повторяю: все довольны французской республикой, никто не протестует против нее, но доволен ли ею французский рабочий – об этом я ничего сказать не могу. Не знаю. Вообще говоря, в предлагаемом этюде о французах я исключительно разумею французскую буржуазию, которая в настоящее время представляет собой управляющее сословие. С жизнью французского народа, в тесном значении этого слова, с его верованиями и надеждами, я совсем незнаком и даже городского рабочего знаю лишь поверхностно. Я допускаю, конечно, что "народ" представляет собой материал, гораздо более заслуживающий изучения, нежели угрожающий лопнуть от пресыщения буржуа, но дальше общих и довольно туманных догадок в этом смысле идти не могу.

Во французских газетах довольно часто случается встречаться с очень дробными и любопытными рубриками, на которые, в политическом смысле, подразделяются в современной Франции "сыны народа".

Существуют рабочие-бонапартисты, рабочие-легитимисты, рабочие-оппортунисты, рабочие-социалисты, рабочие-клерикалы, рабочие – свободные мыслители и даже рабочие, но признающие ничего, кроме спиртных напитков (замечательно, впрочем, что никто никогда не слыхивал о рабочем-орлеанисте). Нередко в Париже организуются сборища, на которых трактуются близкие для рабочих вопросы и на которых, в качестве неперенных членов, присутствуют полицейские комиссары, вспомоществуемые соответствующим количеством *gardiens de la paix* и мушаров⁴⁷. И одновременно с этими сборищами в процессиях, предпринимаемых по поводу всевозможных богомолий и дней ангелов (Шамбора, Наполеона, Евгении), тоже фигурируют более или менее компактные группы «сынов народа», распевających приличные случаю кантаты.

Итак, с одной стороны, социально-демократическая пропаганда, а с другой – поздравления с ангелом. С одной стороны – "Марсельеза" и красное знамя, с другой – *Vive Henri IV*¹¹² и знамя с белыми лилиями. И все это идет рядом и выливается из одного и того же до краев переполненного источника. Что *благородный* бонапартист уживается рядом с *благородным* социалистом – в этом еще нет чуда, ибо и

¹¹² Да здравствует Генрих Четвертый!

тот и другой живут достаточно просторно, чтоб не мозолить друг другу глаза. Но ведь рабочий люд живет скученно, тесня друг друга и следуя друг за другом, так сказать, по пятам. Каким же образом в этой скученной среде выделяются столь несовместимые разновидности, и сколько в них, в этих разновидностях, есть искреннего и сколько театрального, подкупного?

Признаюсь, эти вопросы немало интересовали меня. Не раз порывался я проникнуть в Бельвиль⁴⁸ или, по малой мере, в какой-нибудь *debit de vins*¹¹³ на одной из городских окраин, чтоб собрать хотя некоторые типические черты, характеризующие эти противоположные течения. Но, по размышлении, вынужден был оставить эту затею навсегда.

Для путешественника (и в особенности русского) подобного рода предприятия почти недоступны. Во-первых, интимная жизнь рабочего люда в Париже, как и везде, сосредоточивается в таких захолустьях, куда иностранцу нет ни желания, ни даже возможности проникнуть. Парижский рабочий охотно оказывает иностранцу услуги и, видя в нем денежного человека и верного заказчика, смотрит на прилив чужеземного элемента, как на залог предстоящего торгового и промышленного оживления, которое может не без выго-

¹¹³ винный погребок

ды отразиться и на нем. Во всех других отношениях иностранец для него безличное существо, ноль. Помочь он ему не может, уж по тому одному, что голос его не имеет здесь ни малейшего авторитета. Кровно заинтересоваться его нуждой тоже не имеет повода, потому что эта нужда есть результат бесчисленного множества местных и исторических условий, в оценке которых принимают участие не только ум и чувство, но и интимные инстинкты, связывающие человека с его родиной. Ведь у этого самого иностранца на родине остались массы рабочего люда, которые тоже могут дать пищу самой широкой любознательности, а он вот приехал в Париж. Очевидно, он явился сюда совсем не ради рабочего вопроса, а для того, чтоб жуировать, заказывать, покупать, любоваться произведениями искусств. Но он, пресытившись всем этим, задумал проникнуть в рабочую среду. Очень возможно, что это только назойливый празднотлюб, вроде Герольштейнского принца⁴⁹, но кто же поручится, что он и... не шпион? Да, и шпион, и не кем другим подосланный, а именно Бисмарком. С тех пор как пруссаки побывали в Париже, убеждение о вездесущии прусского шпиона до того утвердилось в умах французской меньшей братии, что никакими доказательствами его не сокрушишь.

Во-вторых, для русского путешественника есть еще

и особенная причина, которая заставляет его воздерживаться от проникновения в рабочую среду. Нельзя дотронуться до рабочего человека без того, чтоб из этого не вышло превратного толкования. А у нас на этот счет так заведено: если есть превратное толкование, то, стало быть, есть и соответствующее оному мероприятие. Разумеется, было бы преувеличенно утверждать, чтоб логика событий всегда действовала в этих случаях с строгою неумолимостью, но если даже применить сюда в качестве ободряющего обстоятельства пресловутое "как посмотреть", то все-таки выйдет порядочный риск. Я охотно допускаю, что, например, в настоящую минуту, не найдется ничего предосудительного в том, что зрелых лет мужчина интересуется рабочим вопросом... на Западе; но ведь причина этого благополучного отношения заключается не в самой непредосудительности факта, а в том, что общее правило "как посмотреть" случайно приняло менее суровый характер. Еще вчера то же самое правило стояло гораздо солиднее, а завтра, быть может, запрос на благополучие и совсем прекратится. На сцену выступит запрос на вывороченные к лопаткам руки, на шивороты и другие процессуальные подробности русской просветительной деятельности, воспоминание о которых не оставляет русского человека и за границей. С какими глазами предстанет

тогда, по возвращении в дом свой, "зрелых лет" человек, который, понадеявшись на поднявшийся курс "благополучия", побывал на сходах рабочих в цирке Фернандо ⁵⁰ да, пожалуй, еще съездил с этою целью в Марсель на рабочий конгресс? ⁵¹

Нет, лучше уже держаться около буржуа. Ведь он еще во времена откупов считался бюджетным столпом, а теперь, с размножением Колупаевых и Разуваевых, пожалуй, на нем одном только и покоятся все надежды и упования.

Итак, говоря об унаследовании современным Парижем благополучия дореформенной Москвы, я разумею, по преимуществу, парижского буржуа, которого, благодаря необыкновенно счастливому стечению обстоятельств, начинает уж распирать от сытости.

Со времени франко-прусской войны материальное благосостояние Франции не только не умалилось, но с какою-то невиданной выпуклостью выступило наружу, на зависть всем. Денег — не клюют куры; заводская и фабричная производительность едва успевает удовлетворять требованиям заказчиков; баланс — прелестнейший; бюджет — прихотливый и не знающий дефицита; железнодорожная сеть проникает в самые отдаленные уголки; забастовки рабочих хотя и нередки, но непродолжительны и всегда кончаются к обоюдному удовольствию. Буржуа до такой степени сыт,

что чувствует потребность поделиться и с меньшим братом. Поэтому когда рабочие начинают предъявлять требования, то он, конечно, для формы покобенился, но именно только для формы, в конце же концов благодушно скажет: нате! рвите мои внутренности... ненасытные! И вот, в результате обоюдное удовольствие...

В довершение всего, в Париже отовсюду стекается такая масса всякого рода провизии, что, кажется, если б у буржуа, вместо одной, было две утробы, то и тут он всего бы не уместил.

Окрестности Парижа доставляют тончайшие овощи и фрукты; Нормандия и Турень – фрукты, молочные скопы и живность; Бретань – всякого рода мясо и самых молочных кормилиц, Нериге – пироги с начинкой, Гасконь – душистые трюфли, душистое вино и лгунов⁵², Бургонь – вино и живность; Шампань – шампанское, Лион – колбасу, Прованс – оливковое масло, Ницца – фрукты в сахаре, Пиренеи – красных куропа-ток, Ланды – перепелок и ортоланов⁵³, океан и Средиземное море – всевозможные сорта рыб, раков и устриц... Когда буржуа начинает перечислять все эти богатства, то захлебывается слюнями и глаза у него получают какой-то неблагонадежный блеск: так и кажется, что вот-вот сейчас он перервет собеседнику горло. Даже о потере Страсбурга нынешний буржуа жале-

ет не столько по причине его знаменитой колокольни, сколько с точки зрения страсбургского пирога, которого не заменил даже пресловутый перигорский пирог. В одном только пункте буржуа чувствует себя уязвленным: нет у него русского рябчика, о котором гостившая в России баронесса Каулла («la fille Kaoulla», как называли ее французские газеты) рассказывала чудеса (еще бы! сам Юханцев кормил ее ими). Но и тут у него есть луч надежды: Гамбетта, как слышно, уж шепчется о чем-то с графом ТвэрдоонтС! В начале осени они вместе завтракали в *café Anglais*, и на завтраке инкогнито присутствовал принц Уэльский (платил ТвэрдоонтС). А в соседнем *cabinet*, в это же самое время, Каулла завтракала с генералом Сиссэ⁵⁴. И хотя на другой день в газетах было объявлено, что эти завтраки не имели политического характера, но буржуа только хитро подмигивает, читая эти толкования, и, потирая руки, говорит: «Вот увидите, что через год у нас будут рябчики! будут!» И затем, в тайне сердца своего, присовокупляет: «И, может быть, благодаря усердию республиканской дипломатии возвратятся под сень трехцветного знамени и страсбургские пироги».

Но повторяю: сытость настолько благотворно действует на человеческое сердце, что этому общему правилу не может не подчиниться и буржуа. Не будучи в состоянии заглотать все, что плывет к нему

со всех концов любезного отечества, он добродушно уделяет меньшей братии, за удешевленную цену, то, что не может пожрать сам. Эти остатки, в виде объедков пирогов, котлет, жареного мяса, живности и даже в виде застывших подливок, продаются в особенном отделении Halles centrales¹¹⁴ и известны под именем *bijoux*.¹¹⁵ Они-то собственно и составляют главное основание стряпни в тех маленьких ресторанах, в которых питается недостаточное население столицы мира. Приправленные пряностями, облитые разогретыми подливками и поданные в виде дымящихся рагу и паштетов, они, с одной стороны, ласкают обоняние, с другой – производят изжогу. Но бедняк охотно забывает второе, чтоб всецело предаться благодарным впечатлениям о первом. Впрочем, и первое, и второе уже настолько вошли в его жизненный обиход, что не составляют для него неожиданности, а следовательно, не вызывают ни особенной радости, ни особенно-го огорчения.

Известно ли рабочему человеку родопроисхождение этих рагу? Знает ли он, что вот этот самый обрывок сосиски, который как-то совсем неожиданно вынырнул из-под груди загадочных мясных фигу-

¹¹⁴ Центрального рынка

¹¹⁵ объедки

рок, был вчера ночью обгрызен в Maison d'Or¹¹⁶ генерал-майором Отчаянным в сообществе с la fille Kaoulla? знает ли он, что в это самое время Юханцев, по сочувствию, стонал в Красноярске, а члены взаимного поземельного кредита восклицали: «Так вот она та пропасть, которая поглотила наши денежки!» Знает ли он, что вот этой самой рыбьей костью (на ней осталось чуть-чуть мяса) русский концессионер Губошлепов ковырял у себя в зубах, тщетно ожидая в кафе Риш ту же самую Кауллу и мысленно ропща: сколько тыщ уж эта шельма из меня вымотала, а все только одни разговоры разговаривает! Знает ли он, что этот волос, который прилип у него на языке, принадлежит девице Круазетт и составляет часть локона, подаренного ею на память герцогу Омальскому? Знает ли он, наконец, что этот песок, который сию минуту хрустнул у него на зубах, составляет часть горсти земли, взятой рьяным бонапартистом с могилы Лулу и составлявшей предмет пламенных тостов на вчерашнем банкете в Hotel Continental?

Я думаю, что он знает все это, но, разумеется, делает вид, что не знает. Ибо, не притворись он незнающим, ему просто по чувству приличия пришлось бы отказаться от рагу и от мясной пищи вообще. Быть может, ему предстояло бы даже познакомиться с под-

¹¹⁶ «Золотом доме» (ночной ресторан)

спорьем в виде мякины, потому что, как ни благодушен буржуа, но он поступается мясом только в форме объедков, за натуральное же мясо и цену дерет натуральную. Между тем мясо необходимо меньшему брату, даже если б оно являлось в еще более неожиданных очертаниях, ибо оно поддерживает необходимую для труда бодрость и силу. И вот он глотает свои рагу и – *risum teneatis, amici!*¹¹⁷ – даже пускается в их расценку... Лакомка!

Но ежели меньший брат знает родословную объедков, то благодарен ли он за них буржуа? На этот вопрос я удовлетворительно ответить не могу. Думаю, однако ж, что особенного повода для благодарности не имеется, и ежели бедняк въявь не высказывает своей враждебности по поводу объедков, то по секрету все-таки прикапливает ее. Да, доглотать обглоданную Губошлеповым рыблю кость – это-таки штука не последняя! но до поры до времени приходится подчиняться даже этой горькой необходимости, ибо буржуа хитер. Он окружил Париж бастионами, распустил национальную гвардию и ввел такую дисциплину в военном персонале, составляющем местный гарнизон, что только держись! И, совершивши все это, блаженствует.

Тем не менее, как ни приятна сытость, но и она

¹¹⁷ не смейтесь, друзья!

имеет свои существенные неудобства. Она отяжеляет человека, сообщает его действиям сонливость, его мышлению – вялость. Чересчур сытый человек требует от жизни только одного: чтоб она как можно меньше затрудняла его, как можно меньше ставила на его пути преград и поводов для пытливости и борьбы. Самые наслаждения в глазах сытого человека приобретают ценность лишь в том случае, когда они достигаются легко, приплывают к нему, так сказать, сами собой. Мы, русские сытые люди, круглый год питающиеся блинами, пирогами и калачами, кое-что знаем о том духовном остолебенении, при котором единственную лучезарную точку в жизни человека представляет сон, с целою свитой свистов, носовых заверток, утробных сновидений и кошмаров. Оттого-то, быть может, у нас и нет тех форм обеспеченности, которые представляет общественно-политический строй на Западе. Но зато есть блины.

Француз-буржуа хотя и не дошел еще до столбняка, но уже настолько отяжелел, что всякое лишнее движение, в смысле борьбы, начинает ему казаться не только обременительным, но и неуместным. Традиция, в силу которой главная привлекательность жизни по преимуществу сосредоточивается на борьбе и отыскивании новых горизонтов, с каждым днем все больше и больше теряет кредит. Буржуа ищет не вол-

нений, а спокойствия, легкого уразумения и во всем благого поспешения. В деле религии он заявляет претензию, чтоб бог, без всяких с его стороны усилий, *motu proprio*¹¹⁸ посылал ангелов своих для охраны его. В дело науки он ценит только прикладные знания, нагло игнорируя всю подготовительную теоретическую работу и предоставляя исследователям истины отыскивать ее на собственный риск. В деле публицистики он любит газетные строчки, в которых коротенько излагается, с кем завтракал накануне Гамбетта, какие титулованные особы удостоили своим посещением Париж, и приходит в восторг, когда при этом ему докладывают, что сам Бисмарк, в интимном разговоре с Подхалимовым, нашел Францию достойною участвовать в концерте европейских держав. В деле беллетристики он противник всяких психологических усложнений и анализов и требует от автора, чтоб он, без отвлеченных околичностей, но с возможно большим разнообразием «особых примет», объяснил ему, каким телом обладает героиня романа, с кем и когда и при каких обстоятельствах она совершила первый, второй и последующие адюльтеры, в каком была каждый раз платье, заставляла ли себя умолять или сдавалась без разговоров, и ежели дело происходило в

¹¹⁸ по собственному почину

cabinet particulier,¹¹⁹ то в каком именно ресторане, какие прислуживали гарсоны и что именно было съедено и выпито. Даже в своих любовных предприятиях он не терпит запутанности и лишних одежд, а настаивает, чтоб все совершалось чередом, без промедления времени... сейчас!

Разумеется, эта сонливая простота воззрений не может не отражаться и на целом жизненном строе современной Франции.

Начать с бога, который положительно стесняет буржуа. Попы требуют, чтоб буржуа ходил к обедне, и тем, которые ходят, обещают вечное блаженство, а тем, которые не ходят, – вечные адские муки. Всякий буржуа – вольнодумец по преданию, но в то же время он трус и, как я уже заметил выше, любит перекрестить себе пупок – так, чтоб никто этого не заметил. Однако ж он делает последнюю уступку лишь потому, что она ничего не стоит, а сверх того, не ровен случай, может и пригодиться. Но чтоб поп позволял себе публично угрожать ему или соблазнять наградами – этого он уж никак потерпеть не может. На этой почве он издавна, с неравным успехом, но упорно борется с попом, а с легкой руки Вольтера эта борьба приняла очень яркий и даже торжествующий характер. До сих пор, однако ж, это все-таки была только борьба, самое суще-

¹¹⁹ в отдельном кабинете

ствование которой свидетельствовало о гадательности исхода. Ныне буржуа почувствовал себя настолько окрепшим, что ему кажется уже удивительным, стоило ли об этом так долго и много хлопотать. Гораздо проще – упразднить поповского бога совсем, а для домашнего обихода декретировать бога лаицизированного (без знаков отличия). Сказано – сделано. Сначала буржуа поручил это дело своему министру Фрейсинэ, а когда последний оказался чересчур податливым, то уволил его в отставку и ту же задачу возложил на министра Ферри. И вот теперь в целой Франции действует бог лаицизированный. Сколько веков этот вопрос волновал умы, сколько стрел было выпущено по этому поводу одним Вольтером, а буржуа взял да в один миг решил, что тут и разговаривать не об чем. Правда, что он еще не вычеркнул окончательно слова "бог" из своего лексикона, но очевидно, что это только лазейка, оставленная на случай могущей возникнуть надобности, и что отныне никакие напоминания о предстоящих блаженствах и муках уже не будут его тревожить.

Я слышал, однако ж, что вопрос о конгрегациях, с такою изумительной легкостью и даже не без комизма приведенный к концу прошлого осенью, чуть было не произвел разрыва между Гамбеттой и графом ТвэрдоонтС⁵⁵. Граф случился в это время в Париже

и был до глубины души скандализован. Он вспомнил, как во дни его юности его вывели mit Skandal und Trompeten,¹²⁰ из заведения Марцинкевича, и не мог прийти в себя от сердечной боли, узнав, что тот же самый прием допущен мосьИ Кобе (chef de suretИ,¹²¹ он же и позитивист) относительно отцов «реколлетов»⁵⁶. Ну, разумеется, вступился. Выбрал час завтрака и отправился к Гамбетте.

– Нельзя без бога, Гамбетта! – усовещивал он президента палаты депутатов, – вы сами скоро убедитесь, что нельзя! Скажу вам, со мной в корпусе такой случай был. Обыкновенно, не приготовив урока, я обращался к богу, прося, чтоб учитель не вызвал меня. И хотя это случалось довольно часто, но бог, по неизреченному ко мне милосердию, а может быть, и во внимание к заслугам моих родителей, никогда не оставлял моей молитвы без исполнения. И вдруг однажды я возгордился. Урока-то не приготовил, да и богу помолиться пренебрег. И что же произошло? Прежде всего, учитель сейчас же меня вызвал и поставил мне ноль; вслед за тем я был пойман в курении, потом напился пьян и нагрубил дежурному офицеру. А к вечеру был уже высечен. Что вы скажете об этом?

¹²⁰ со скандалом и шумом

¹²¹ начальник охранной полиции

Но Гамбетта уклонился от прямого ответа и только сочувственно произнес: ссс...

– Не думайте, впрочем, Гамбетта, – продолжал Твэрдоонто, – чтоб я был суеверен... нимало! Но я говорю одно: когда мы затеваем какое-нибудь мероприятие, то прежде всего обязываемся понимать, против чего мы его направляем. Если б вы имели дело только с людьми цивилизованными – ну, тогда я понимаю... Ни вы, ни я... О, разумеется, для нас... Но народ, Гамбетта! вспомните, что такое народ! И что у него останется, если он не будет чувствовать даже этой узды?

Но Гамбетта только качал головой и время от времени произносил: ссс... Как истинно коварный генуэзец, он не только не раздражил своего собеседника возражением, но даже охотно уступил ему, что без бога – нельзя.

– Так за чем же дело стало? – радостно воскликнул ТвэрдоонтС, протягивая руки.

Однако Гамбетта и тут нашелся: не говоря ни слова, позвонил и приказал сервировать завтрак. Подали какой-то необычайной красоты руанскую утицу и к ней совершенно седую бутылку ПонтИ-Кани. Разумеется, ТвэрдоонтС только языком щелкнул.

И таким образом разрыв был устранен. Съели утицу, выпили ПонтИ-Кани, и о боге – ни гугу! Вот как ловко действует современная французская дипломатия.

Ту же самую несложность требований простирает современный буржуа и к родной литературе. Было время, когда во Франции господствовала беллетристика идейная, героическая. Она зажигала сердца и волновала умы; не было безвестного уголка в Европе, куда бы она не проникла с своим светочем, всюду распространяя пропаганду идеалов будущего в самой общедоступной форме. Люди сороковых годов и доселе не могут без умиления вспоминать о Жорж Занде и Викторе Гюго, который, впрочем, вступил на стезю новых идеалов несколько позднее. Сю, менее талантливый и теперь почти забытый, – и тот читался нарасхват, благодаря тому, что он обращался к тем инстинктам, которые представляют собой лучшее достояние человеческой природы. Даже в Бальзаке, несмотря на его социально-политический индифферентизм, невольно просачивалась тенденциозность⁵⁷, потому что в то тенденциозное время не только люди, но и камни вопияли о героизме и идеалах.

За эту же героической литературой шла и русская беллетристика сороковых годов. И не только беллетристика, но и критика, воспитательное значение которой было едва ли даже в этом смысле не решительнее.

Современному французскому буржуа ни героизм, ни идеалы уже не под силу. Он слишком отяжелел,

чтоб не пугаться при одной мысли о личном самоотвержении, и слишком удовлетворен, чтоб нуждаться в расширении горизонтов. Он давно уже понял, что горизонты могут быть расширены лишь в ущерб ему, и потому на почве расширения охотно примирился бы даже с Бонапартом, если б этот выход был для него единственный. Но, во-первых, ему навернулось нечто другое, более подходящее и в смысле горизонтов столь же вождевленное; а во-вторых, дух авантюризма в соединении с тупоумием – свойства, в высшей степени украшавшие бандита, державшего в течение осмнадцати лет в своих руках судьбы Франции, – испугали буржуа. Обуреваемый жаждою приключений, бандит никогда не мог определить, во что обойдется предполагаемое приключение и куда оно приведет. И таким образом дошел до прусского нашествия. Буржуа не может без злости вспомнить, что пруссаки выпили все вино, хранившееся в его погребах, выкурили все его сигары, выкрали из его шкапов платье, посуду и серебро и даже часы с каминов. Он может забыть гибель сынов Франции, изменническую сдачу Метца, панику худо вооруженных и неодетых войск, но забыть пропажу часов, за которые он заплатил столько-то сотен франков, *rubis sur ongle*¹²² – никогда! И вот это-то вечно присущее воспоминание

¹²² черта с два

о выпитом вине и исчезнувших часах и уничтожило весь престиж наполеоновской идеи. А тут же, кстати, вспомнилось, что не худо бы посчитать, во что обошлись Франции приключения бандита. Посчитали, и оказалась такая прорва, что буржуа даже позеленел от злости при мысли, что эту прорву наполнил он из собственного кармана и что все эти деньги остались бы у него, если б он в 1852 году, с испуга, не предал бандиту февральскую республику. Но зато теперь он республику уже не предаст. Теперь у него *своя собственная* республика, республика спроса и предложения, республика накопления богатств и блестящих торговых балансов, республика, в которой не будет ни «приключений», ни... «горизонтов». Эта республика обеспечила ему все, во имя чего некогда он направо и налево расточал иудины поцелуи и с легким сердцем предавал свое отечество в руки первого встречного хищника. А именно, обеспечила сытость, покой и возможность собирать сокровища. И, сверх того, она же бдительно следит за легкого поведения девицами, не ради торжества добродетели, а дабы его же, буржуа, оградить от телесных повреждений.

И буржуа, действительно, так плотно засел в своей сытости и так прочно со всех сторон окопался, что отныне уже никакие "приключения" не достигнут его.

Но эта безыдейная сытость не могла не повлиять

и на жизнь. Прониклась ею и современная французская литература, и для того, чтоб скрыть свою низменность, не без наглости подняла знамя реализма. Слово это небезызвестно и у нас, и даже едва ли не раньше, нежели во Франции, по поводу его у нас было преломлено достаточно копий. Но размеры нашего реализма ⁵⁸ несколько иные, нежели у современной школы французских реалистов. Мы включаем в эту область всего человека, со всем разнообразием его определений и действительности; французы же главным образом интересуются торсом человека и из всего разнообразия его определений с наибольшим рачением останавливаются на его физической правоспособности и на любовных подвигах. С этой точки зрения Виктор Гюго, например, представляется в глазах Зола чуть ли не гороховым шутком, да, вероятно, той же участи подверглась бы и Жорж Занд, если б очередь дошла до нее. По крайней мере, никто нынче об ней не вспоминает, хотя за ней числятся такие создания, как «Орас» и «Лукреция Флориани», в которых подавляющий реализм идет об руку с самою горячею и страстною идейностью.

Во главе современных французских реалистов стоит писатель, несомненно талантливый – Зола. Однако ж и он не сразу удовлетворил буржуа (казался слишком трудным), так что романы его долгое время

пользовались гораздо большею известностью за границей (особенно в России), нежели во Франции. "Ассомуар"¹²³ был первым произведением, обратившим на Зола серьезное внимание его соотечественников, да и то едва ли не потому, что в нем на первом плане фигурируют представители тех «новых общественных наслоений»⁵⁹, о близком нашествии которых, почти в то же самое время, несколько рискованно возвещал сфинкс Гамбетта (Наполеон III любил, чтоб его называли сфинксом; Гамбетта – тоже) в одной из своих речей. Любопытно было взглянуть на этого дикаря, вандала-гунна-готфа, к которому еще Байрон взывал: *arise ye, Goths!*¹²⁴ и которого давно уже не без страха поджидает буржуа, и даже совсем было дождался в лице Парижской коммуны, если б маленький Тьер, споспешествуемый Мак-Магоном и удалым капитаном Гарсеном⁶⁰, не поспешил на помощь и не утопил готфа в его собственной крови.¹²⁵

¹²³ «Западня»

¹²⁴ восстаньте готы!

¹²⁵ Капитан Гарсен – тот самый, который во время торжества версальских войск над коммуной расстрелял депутата Милльера за «вредное направление» его литературной деятельности" (а мы-то жалуемся!). В виду войск и толпы он велел поставить его на колени на ступенях Пантеона (боюсь ошибиться, но кажется, что там) и наклонить ему голову в знак того, что он просит прощения за причиненный его литературной деятельностью вред. И когда это было выполнено, приказал застрелить

И точно, Зола настолько испугал буржуа, что в самое короткое время "Ассомуар" разошелся во множестве изданий. Но все-таки это был успех испуга, действительным же любимцем, художником по сердцу буржуа и всефранцузскою знаменитостью Зола сделался лишь с появлением "Нана" ⁶¹. Представьте себе роман, в котором главным лицом является сильно действующий женский торс, не прикрытый даже фиговым листом, общедоступный, как проезжий шлях, и не представляющий никаких определений, кроме подробного каталога «особых примет», знаменующих пол. Затем поставьте, в pendant ¹²⁶ к этому сильно действующему торсу, соответствующее число мужских торсов, которые тоже ничего другого, кроме особых примет, знаменующих пол, не представляют. И потом, когда все эти торсы надлежащим образом поставлены, когда, по манию автора, вокруг них создавалась обстановка из бутафорских вещей самого последнего фасона, особые приметы постепенно приходят в движение и перед глазами читателя завязывается бестиальная драма... Спрашивается: каких еще более возбуждающих услад может требовать буржуа, в котором сытость дошла до таких геркулесовых столпов, что

Милльера. Капитан Гарсен и поныне состоит на службе. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

¹²⁶ в соответствие

едва не погубила даже половую бестиальность?

Все в этом романе настолько ясно, что хоть протягивай руку и гладь. Только лесбийские игры несколько стушеваны, но ведь покуда это вещь на охотника, не всякий ее вместит. Придет время, когда буржуа еще сытнее сделается – тогда Зола и в этой сфере себя мастером явит. Но сколько мерзостей придется ему подсмотреть, чтоб довести отделку бутафорских деталей до совершенства! И какую неутомимость, какой железный организм нужно иметь, чтоб выдержать труд выслеживания, необходимый для создания подобной эксcrementально-человеческой комедии!⁶² Подумайте! сегодня – Нана, завтра – представительница лесбийских преданий, а послезавтра, пожалуй, и впрямь в героини романа придется выбирать производительниц и производителей эксcrementов!

Но тогда, разумеется, буржуа еще при жизни поставит ему монумент.

Оговариваюсь, впрочем, что в расчеты мои совсем не входит критическая оценка литературной деятельности Зола. В общем я признаю эту деятельность (кроме, впрочем, его критических этюдов) весьма замечательною и говорю исключительно о "Нана", так как этот роман дает мерило для определения вкусов и направления современного буржуа.

Около Зола стоит целая школа последователей, из

которых одни рабски подражают ему, другие – выказывают поползновение идти еще дальше в смысле деталей. Но тут псевдореализм приобретает характер скудоумия тем более яркий, что даже нагота торсов не защищает его. Скучно, назойливо, бездарно, и ничего больше. Перед читателем проходит бесконечный ряд подробностей, не имеющих ничего общего ни с предметом повествования, ни с его обстановкой, подробностей, ни для чего не нужных, ничего не характеризующих и даже не любопытных сами по себе. Вот, например, перед вами Альфред⁶³. Бедный Альфред! Возмись за него писатель сильный, вроде Жорж Занда, Бальзака, Флобера – из него вышел бы отличный малый. А так называемый реалист едва прикоснулся к нему, как уже и погубил!

Судите сами.

Альфред встает рано и имеет привычку потягиваться. Потягиваясь, он обдумывает свой вчерашний день и находит, что провел его не совсем хорошо. Ночью он ужинал с Селиной и заметил, что от нее пахнет теми же духами, какими обыкновенно прыскается Жюль! Когда он спросил об этом, то она только рассмеялась (un petit rire¹²⁷ или un gros rire¹²⁸ – это безразлично).

¹²⁷ смешок

¹²⁸ хохот

Надо, однако ж, эту тайну раскрыть. Раскрыть так раскрыть, но для чего он будет раскрывать? вот в чем вопрос. Задавши себе этот вопрос, Альфред решает, что затеял глупость. Говоря по совести, ни с какой Селиной он вчера не ужинал, а пришел вечером в десять часов домой, съел кусочек грюйеру⁶⁴ и щелкнул языком. Уличивши себя во лжи, Альфред решает встать. Разумеется, сначала умывается (страница, посвященная умывальнику, и две, посвященные мылу), потом начинает одеваться. Денных рубашек у него всего три: одна у прачки, другую он надевал вчера, третья лежит чистая в комод. Надо быть осторожным. Рассматривая вчерашнюю рубашку, он замечает порядочное пятно на самой груди. Это, должно быть, Селина вчера за ужином капнула вином! говорит он, и на этом первая глава кончается. Вторая глава начинается с того, что Альфред припоминает, что ни Селины, ни ужина, ни вина вчера не было. Стало быть, происхождение пятна на рубашке должно быть иное. Ба! да ведь я вчера купаться ходил! – восклицает Альфред и приходит к заключению, что, покуда он был в воде, а белье лежало на берегу реки, могла пролететь птица небесная и на лету сделать сюрприз. Но, придя к этому выводу, Он припоминает, что ни вчера, да и вообще никогда не купался. Стало быть, и опять соврал, и так как с этим враньем надо покончить, то

автор проводит черту и приступает к 3-й главе. В этой новой главе Альфред все еще одевается. Разумеется, описание одежды строго соотносится с теми правами состояния, которыми пользуется герой. Ежели он человек салонов, то всякая часть его одежды блестит и покроем свидетельствует, что в постройке ее участвовали первые мастера Парижа; если он un homme de classe,¹²⁹ то на каждой части его туалета оказывается пятно, что заставляет его нюхать и рубашку, и жилет, и штаны, дабы не поразить добрых знакомых запахом благополучия. Допустим, что наш Альфред принадлежит к последнему разряду молодых людей. Он нюхает и отчищает, но дело у него решительно не спорится. Сначала приходит portier,¹³⁰ с которым нужно сказать несколько ненужных слов, потом вбегают соседка, которая просит одолжить коробочку спичек и которой тоже нельзя не сказать несколько любезностей. За тем да за сём время летит, и наступает минута кончить третью главу. В четвертой главе Альфред идет завтракать в кафе; там его встречает гарсон (имярек). Разговор. Гарсон предлагает сперва одну газету, потом другую, третью – Альфред отказывается; потом Альфред начинает спрашивать сперва одну газету, потом другую, третью – гарсон отвечает,

¹²⁹ деклассированный человек

¹³⁰ швейцар

что кафе этих газет не получает. Потом гарсон спрашивает, почему Альфред так давно не был в кафе, на что последний отвечает, что получил наследство. Но так как он наследства не получал, то спешит переменить разговор и говорит, что ездил в Москву. На этом 4-я глава кончается. В пятой главе Альфред идет на бульвар. Идет и думает: а ведь у меня нет почтовой бумаги – зайду и куплю. Но по дороге ему попадается торговка с фруктами. Сочные груши, сочная торговка (описание торговкиной груди), а из-под груш выглядывает сочный гроздий винограда. «Эк тебя разнесло!» – думает Альфред, смотря не то на торговкину грудь, не то на виноград. Ибо и виноград своим видом способен пробуждать в нем вожделение. Альфред решается начать с груши и ест ее, а тем временем ему садится на нос муха. Пятой главе конец. В шестой главе он сгоняет муху, которая опять садится на то же место. Это повторяется до трех раз; тогда он догадывается, что муху привлекает сок груши, и он бросает последнюю на мостовую. Муха улетает. А между тем торговка, в форме маленьких строчек, предлагает ему то грушу, то персик, то фигу, но он на всякий ее вопрос отвечает односложно: поп!¹³¹ Наступает седьмая глава. Альфред идет на бульвар, забывши, что он хотел купить почтовой бумаги; вместо того

¹³¹ нет!

он вспомнил, что у него нет перчаток, и идет к перчаточнице. У перчаточницы грудь колесом, а поясница – ума помрачение. Он вспоминает, что точь-в-точь такая же поясница у Селины, но тут же спохватывается, что еще утром было решено, что он никакой Селины никогда не знал. «Где же бы, однако, я эту поясницу видел?» – говорит сам себе Альфред и, начиная всматриваться в перчаточницу, узнает в ней свою тетку. «Ma tante! quel bonheur!»¹³² Седьмая глава кончилась. В восьмой главе Альфред вспоминает о своем детстве. «А помните, ma tante, как я раз подсмотрел вас купающуюся в Марне?» – Молчи, шалун! – грозит ему ma tante и требует, чтоб он пришел к ней обедать. Осьмая, девятая, десятая и прочие главы посвящены описанию тетенькиной квартиры, тетенькинова мужа и блюд, подающихся за обедом. Тетенькин муж – араб, который служил когда-то Абдель-кадеру, но передался Франции, полюбил Париж и женился на тетушке. У него один недостаток: он кусается в порыве страсти; но есть и достоинство: тетушка не имеет от него детей. Оттого-то и поясница у нее в том же виде, в каком запомнил ее Альфред, когда она купалась в Марне. Еще глава – и Альфред идет в театр, а оттуда – ужинать в кафе. Там он совершает адюльтер, но тут выходит нечто в высшей степени непостижимое.

¹³² Тетя! какое счастье!

Оказывается, что адюльтер совершил не он, а Жюль, а он, Альфред, ни у тетушки, ни в театре, ни в кафе не был... где же он, однако, был? Интерес возбужден в высшей степени. Первой части конец.

Далее я, разумеется, не пойду, хотя роман заключает в себе десять частей, и в каждой не меньше сорока глав. Ни муха, ни торговка, ни перчаточница, ни Селина в следующих томах уже не встретятся. Они были нужны, потому что без них невозможно производить строчки, а без строчек не было бы построчной платы. Реалист французского пошиба имеет то свойство, что он никогда не знает, что он сейчас напишет, а знает только, что сколько посидит, столько и напишет. И никто его обуздать не может; ни обуздать, ни усовестить, потому что он на все усовещевания ответит: я не идеолог, а реалист; я описываю только то, что в жизни бывает. Вижу забор – говорю: забор; вижу поясницу – говорю: поясница. И при этом непременно облает Виктора Гюго, назовет его старым шутком⁶⁵, и т. д.

Но для современного буржуа это мелькание мысли совершенно по плечу. Ему любы литераторы, которые не затрудняют его загадками, а излагают только его собственные обыденные дела. Собственно говоря, он и читает единственно для того, чтоб не прослыть неучем, и вот, на его счастье, нашелся чаро-

дей, который облегчил ему и эту задачу. Этот чародей пишет строки коротенькие, а главы – на манер водевильных куплетов. Купит буржуа книжку (и цена ей – грош), принесет ее домой – и сам рад, и в семье все рады. Все от рождения сыты, и всем лестно коротеньких строчек почитать. А иногда и смешные эпизоды встречаются. Пил человек пиво и залил новый жилет; или: казалось, что у перчаточницы грудь колесом, а, по исследованию, вышло, доска доской. "Вот наши общественные недуги!" – восклицает буржуа и, обращаясь к жене, прибавляет: "А у тебя, мой друг, без обману!"

Такова вторая стадия современного французского реализма; третью представляют произведения порнографии. Разумеется, я не буду распространяться здесь об этой литературной профессии; скажу только, что хотя она довольно рьяно преследуется республиканским правительством и хотя буржуа хвалит его за эту строгость, но потихоньку все-таки упивается порнографией до пресыщения. Особенно ежели с картинками.

Убедиться в том, что современный властелин Франции (буржуа) – порнограф до мозга костей, чрезвычайно легко: стоит только взглянуть на модные покрои женских одежд. В этой области каждый день приносит новую обнаженность, и ежели, например, се-

годня нет ничего неясного под мышками, то завтра, наверное, такая же ясность постигнет какую-нибудь другую разжигающую часть женского бюста. Театр, который всегда был глашатаем мод будущего, может в этом случае послужить отличнейшим указателем тех требований, которые предъявляет вивёр-буржуа¹³³ к современной женщине, как носительнице особых примет, знаменующих пол. Действительно, в парижских бульварных театрах покррой женских костюмов до такой степени приблизился к идее скульптурности, что ни один гусарский вахмистр, наверное, не мечтал о рейтузах, равносильных, по выразительности, тем, которые охватывают нижнюю часть туловища m-lee Myeris в «Pilules du Diable»⁶⁶.¹³⁴ И надо видеть, как буржуа, весь в мыле и тяжко сопя, ловит глазами каждое движение этих рейтуз!

Сами французы жалуются, что старинная французская causerie¹³⁵ постепенно исчезает. И точно: салонов, в которых маркиза разыгрывала бы «провербы»⁶⁷, а маркиз, в умеренных размерах, предавался бы фрондерству и кощунству, в настоящее время в Париже нет и в помине. Их заменили клубы (но

¹³³ прожигатель жизни

¹³⁴ м-ль Миэрис в «Чертовых пилюлях»

¹³⁵ беседа

не clubs, а cercles, так как по-французски club означает нечто равносильное тому, что у нас понимается под названием обществ, составляемых с целью ниспровержения и т. д.), в которых господствует игра, и cabinets particuliers,¹³⁶ в которых господствует обжорство и адюльтер. Да и мудрено требовать разговора от людей, у которых нет никаких слов в запасе, а имеются только произвольные движения, направляемые с целью ниспровержения женских туалетов. Представить их себе разыгрывающими провербы все равно, что ждать от бывшего крепостного владыки утонченных манер относительно девки Палашки или от железнодорожного хлыща, упомянутого мной во 2-й главе настоящих этюдов, – кроткого обращения с девицей Альфонсинкой. Все, что буржуа может, – это, подобно последнему, «изуродовать» Альфонсинку или, в добрую минуту, дать ей по спине «раза».

Я, впрочем, не держусь мнения, чтоб следовало жалеть о пресловутых французских causeries. В первой половине прошлого столетия они сделали свое дело, ознаменовав начало умственного возрождения и дав миру Вольтеров, Дидро, Гольбахов и проч. Но как только "возрождение" встретилось с 1789 годом, так тотчас же causeries утратили фрондерско-кощунственный характер и просто-напросто превратились

¹³⁶ отдельные кабинеты

в высшую школу паскудства. Впрочем, и доселе образчики этих causeries от времени до времени появляются на сцене французских комедий в форме "proverbes", в которых девица Круазетт показывает свои наливные плечи и поражает великолепием туалетов. Но, несмотря на привлекательность этих приманок, современные "провербы" точно так же мало удовлетворили бы козёра восемнадцатого века, как мало удовлетворяют они и буржуа-вивёра наших времен. Первый наплел бы их чересчур однообразными и не встретил бы в них ни аттической соли, ни элемента возрождения; второй говорит прямо: ведь все равно развязка будет в cabinet particulier, так из-за чего же ты всю эту музыку завела?

Не об этом надо жалеть, а о том горении мысли, которое в течение слишком полустолетия согревало не только Францию, но чрез ее посредство и мир. Но пришел бандит и, не долго думая, взял да и погасил огонь мысли. Он ничего не страшился, ни современников, ни потомков, и с одинаковым неразумением накладывал гасильник и на отдельные человеческие жизни, и на общее течение ее. Успех такого рода извергов – одна из ужаснейших тайн истории; но раз эта тайна прокралась в мир, все существующее, конкретное и отвлеченное, реальное и фантастическое, – все покоряется гнету ее.

И вот, в результате – республика без республиканцев, с сытыми буржуа во главе, в тылу и во флангах; с скульптурно обнаженными женщинами, с порнографической литературой, с изобилием провизии и *bijoux* и с бесчисленным множеством *cabinets particuliers*, в которых денно и нощно слагаются гимны адюльтеру. Конечно, все это было заведено еще при бандите, но для чего понадобилось и держится дондесь? Держится упорно, несмотря на одну великую, две средних и одну малую революции.

На это возражают, что за республикой остается одно капитальное и неотъемлемое приобретение: *suffrage universel*.¹³⁷ Конечно, против этого ничего сказать нельзя; даже у нас ничего подобного нет. Но, во-первых, *suffrage universel* существовал и во времена бандита, и неизменно отвечал «да», когда последний этого желал. Во-вторых, ведь и теперь продукты *suffrage universel*, заседающие в палатах, едва ли многим отличаются от продуктов *suffrage restreint*,¹³⁸ которыми щеголяли *chambres introuvables*⁶⁸ времен Карла X и Луи-Филиппа. Это тоже тайна истории и, конечно, не из утешительных.

И еще говорят, что в последнее время в Париже уже

¹³⁷ всеобщее избирательное право

¹³⁸ ограниченное избирательное право

начинается движение, имеющее положить конец владычеству буржуазии. Действительно, рабочие кварталы, с осуществлением амнистии, как будто оживились⁶⁹, но размеры движения еще так ничтожны, что ни цели его, ни темперамент, ни шансы на успех – ничто не выяснилось. Покуда имеются в виду только страшные слова, которые, впрочем, не производят особенного впечатления, потому что за ними не слышится той жизненности и страстности, которые одни могут дать начало действительному движению.

* * *

P. S. В ту самую минуту, когда я дописываю настоящие строки, со стен Петропавловской крепости раздастся пушечная пальба, возвещающая, что галлы изгнаны⁷⁰. Но как, однако ж, это давно было!

25-го декабря, 1880 года.

V

В предыдущей главе я говорил, что в Париже и одинокому человеку, без связей и знакомств, трудно пропасть со скуки. Но, разумеется, в подходящей компании еще веселее. Хорошо и одному пообедать у Биньона или у Маньи, но вдвоем, втроем проштудировать приличествующий обеденный меню¹³⁹ – куда лучше.

В особенности слаще естся и пьется, живее чувствуются всякие скульптурности – в обществе соотечественников. Сердце сердцу весть подает. Никто так благовременно не щелкнет языком, никто так целесобразно не посмотрит на свет сквозь вино, так умно не вдохнет ноздрями, так сладостно не зажмурит глаза, так вкусно не захлебнется собственной слюною, как соотечественник. Обжоры и gourmets¹⁴⁰ всех стран и национальностей проделывают все эти движения; но только соотечественник выполнит это так, что у земляка все нутро взиграет. Все тут скажется: и писанная история, и устные предания, и педагогические особенности, и институт урядников, и внутренняя по-

¹³⁹ меню

¹⁴⁰ лакомки

литика, и «не белы снеги»... Да, «не белы снеги», и даже по преимуществу. Едите вы *sole au vin blanc*,¹⁴¹ а в ушах раздаётся «колокольчик, дар Валдая»¹, а в глазах стелется бесконечная снеговая степь. И в довершение, среди захлебываний, вдыханий и щелканий, вдруг вырвется слово... ах, какое слово! Клянусь, оригинальнее этой приправы представить себе ничего нельзя!

С кем поделиться впечатлениями, вынесенными из "*Pilules du diable*"? на чьей груди излить тревогу чувств, взволнованных чтением последнего номера "*Avenement parisien*"²,¹⁴² кому рассказать: вот, батюшка, я давеча в «*Musee Cluny*»¹⁴³ инструментик, придуманный средневековыми рыцарями для охранения супружеской верности, видел – вот так штука! Разумеется, всё ему, всё соотечественнику! Кто, кроме соотечественника, примет к сердцу эти впечатления, тревоги и рассказы? Кто, как не он, ощутит именно *то*, что вы сами ощущаете? Кто сделает именно *такую* оценку, какую вы сами делаете?

А потом и еще: формы правления, внешняя и внутренняя политики, начальство, военные и морские си-

¹⁴¹ камбалу в белом вине

¹⁴² «Призвание Парижа»

¹⁴³ Музей Клюни, где собраны предметы обихода средних веков

лы, религия, бог – с кем обо всем этом по душе поговорить? Кто, кроме соотечественника, поймет те образные уподобления, те внезапные переходы и умозаключения, которые могут быть объяснены только интимным мирозерцанием, свойственным той или другой национальности? Кто с большей выпуклостью, так сказать, при помощи собственных боков, пустит в ход сравнительный метод, который, в деле оценки форм общежития, представляет самое веское и убедительное доказательство?

Словом сказать, в обществе соотечественника всякое ощущение приобретает двойную и тройную цену, всякое удовольствие возвышается до степени наслаждения.

Но ежели высказанные сейчас замечания верны относительно скитальцев вообще, то относительно русских скитальцев из породы культурных людей они представляют сугубо непреложную истину. Попробую объяснить здесь причины, обуславливающие это явление.

Во-первых, в целом мире не найдется людей столь общительных, как русские. Ошибочно утверждают, будто бы на родине нам предоставлено молчать. Совсем напротив. Молчание считается у нас равносильным угрюмости, угрюмость же равносильною злоумышлению: стало быть, ни для кого нет расчета до-

биваться от нас молчания и торжествовать по его поводу. Не молчать предоставляется нам, а только говорить пустяки – вот в чем состоит наша внутренняя политика. Что же касается до того, будто бы легкость, с которою мы по самому ничтожному поводу призываемся к ответу, заставляет нас быть осторожными, то и это справедливо лишь отчасти. Несомненно, что вся наша жизнь есть всеминутное предъявление чувств и помышлений на зависящее распоряжение; несомненно также, что в оценке этих чувств и помышлений принимают участие даже урядники, что придает оценке чересчур уж общедоступный характер. Но перспектива всеминутного отвечания отнюдь не вызывает в нас чувства ответственности, а только погружает в массу отупения и ошалелости. Ибо ответственность, низведенная до урядника, точно так же равняется безответственности, как необеспеченность, доведенная до лебеды, равняется обеспеченности.

Конечно, все это сообщает нашему существованию довольно острый характер случайности, но нимало не обуздывает нашей общительности. И это вполне объяснимо. Когда человек, заноса ногу, чтоб сделать шаг вперед, заранее знает, что эта нога станет на твердом месте, а не попадет в дыру и не увлечет туда своего обладателя, то для воображения его не представляется никакой роли. Напротив, ежели чело-

век не знает, что именно означает расстилаящаяся перед ним мурава, то воображение его естественным образом раздражается. С одной стороны, его обуревают страх быть поглощенным бездною, с другой – ласкает надежда как-нибудь обойти ее. Разве возможно оставить эти чувства неразделенными? Но, кроме того, вечно живя под страхом провалиться сквозь землю, разве можно удержаться, чтоб не пожаловаться! Да, наконец, ведь оно и смешно. И в других странах существуют чины, подобные урядникам, однако никто об них не думает, а у нас, поди, какой переполох они произвели?! как же не изложить всенародно, в шутиливом русском тоне, ту массу пустяков, которую вызвала эта паника в сердцах наших?!

Во-вторых, вся жизнь русского "скитальца" есть сплошной досуг, который мог бы развиваться в безграничную тоску, если б не принималось мер к его наполнению. Праздность приводит за собою боязнь одиночества, потому что последнее возбуждает работу мысли, которая, в свою очередь, вызывает наружу очень горькие и вдобавок вполне бесплодные разоблачения. В ряду этих разоблачений особенно яркую роль играет сознание, что у него, скитальца, ни дома, ни на чужбине, словом сказать, нигде в целом мире нет ни личного, ни общественного дела. Такие разоблачения могут измучить, и хотя я не говорю, чтоб на

всех одинаково лежала печать подобных нравственных страданий, но думаю, что в скрытом виде даже в отъявленном шалопае от времени до времени шевелится смутное ощущение неклеяности и бесцельности жизни. Поэтому, чтобы избавиться от гнетущего ропота, необходимо прежде всего уйти от одиночества и устроить существование таким образом, чтоб досуг был как можно больше разделен. Дома это достигается довольно легко с помощью игры в винт, юридических рефератов о силе земской давности, блудных разговоров об увенчании здания и т. д.; но за границей – труднее. Западный человек сознаёт за собой и личное и общественное дело, так что у него совсем нет времени для собеседовательного празднословия. Разумеется, человек со средствами и тут может вывернуться, то есть напять собеседника, который ни на минуту не даст ему опомниться. Однако ж и это дело рискованное, во-первых, потому что наемник, наверное, будет лгать, во-вторых, потому что он, сверх того, может и обокрасть. Поди потом судись с ним в police correctionnelle.¹⁴⁴

Русские знают это и потому всегда находятся в поисках за соотечественниками. Этим объясняется и легкость, с которою русские сходятся между собой за границей, и те укоры, которые они впоследствии ад-

¹⁴⁴ исправительной полиции

ресуют самим себе по поводу своих заграничных связей. "И мне нечего делать, и тебе нечего делать" – вот первое основание для сближения. Затем следуют проекты о том, как ловчее вместе убивать бесполезное время, переходя от Биньона к Вауазену, от Вауазена к Вашетту и так далее без конца. И начнется у них тут целодневное метание из улицы в улицу, с бульвара на бульвар, и потянется тот неясный замоскворецкий разговор, в котором ни одно слово не произносится в прямом смысле и ни одна мысль не может быть усвоена без помощи образа...

В-третьих, никто так не любит посквернословить – и именно в ущерб родному начальству, – как русский культурный человек. Западный человек решительно не понимает этой потребности. Он может сознавать, что в его отечестве дела идут неудовлетворительно, но в то же время понимает, что эта неудовлетворительность устраняется не сквернословием, а прямым возражением, на которое уполномочивает его и закон. Мы, русские, никаких уполномочий не имеем и потому заменяем их сквернословием. В какой мере наша критическая система полезнее западной – этого я разбирать не буду, но могу сказать одно: ничего из нашего сквернословия никогда не выходило. Мы сквернословцы, но отходчивы. Иногда такое слово вдогонку пустим, которое целый эскадрон с ног сшибет, и тут

же, сряду, шутки шутить начнем. Начальство знает это и снисходит. Да и нельзя не снизить, так как, в противном случае, всех бы нас на каторгу пришлось сослать, и тогда некому было бы объявлять предписания, некого было бы, за невыполнение тех предписаний, усмирять. Во всяком случае, и по части сквернословия у русского человека собеседником может быть только такой же русский же человек. Вот почему с такою чуткостью русские следят за всяким словом, сказанным по-русски на улицах и в публичных местах.

— Так вы русский? да вы слышали ли, у нас-то что делается? нет, вы послушайте...

В-четвертых, никто так страстно не любит своей родины, как русский человек. После того, что сейчас высказано мною по поводу сквернословия, может показаться странною эта ссылка на любовь к родине, но в действительности она не подлежит сомнению. Разумеется, я не говорю здесь о графе ТвэрдоонтС, который едва ли даже понимает значение слова "родина", но средний русский "скиталец" не только страстно любит Россию, а положительно носит ее с собою везде, куда бы ни забросила его капризом судьба. Везде он чувствует себя в каком-то необычном положении, везде он недоумевает, куда ж это ежовые-то рукавицы девались? и везде у него сердце болит. Болит не потому, чтоб ежовые рукавицы оставили в его уме неизгла-

димо благодарные воспоминания, а потому что вслед за вопросом о том, куда девались эти рукавицы, в его уме возникает и другой вопрос: да полно, нужны ли они? Ах, бедные, бедные!

И вдруг какая-то колючая жалость так и хлынет во все фибры существа. Именно бедные! Везде мальчик в штанах, а у нас без штанов; везде изобилие, а у нас – "не белы снеги"; везде резон, а у нас – фюить! Везде люди настоящие слова говорят, а мы и поднесь на езоповских притчах сидим; везде люди заправскою жизнью живут, а у нас приспособляются. А потом и то еще приходит на ум: Россия страна земледельческая, и уж как-то чересчур континентальная. Растянулась она неуклюже, натуральных границ не имеет; рек мало, да и те текут в какие-то сомнительные моря. Ах, бедные, бедные!

Всегда эта страна представляла собой грудь, о которую разбивались удары истории. Вынесла она и удельную поножовщину, и татарщину, и московские идеалы государственности, и петербургское просветительное озорство и закрепощение. Все выстрадала и за всем тем осталась загадочною, не выработав самостоятельных форм общежития. А между тем самый поверхностный взгляд на карту удостоверяет, что без этих форм в будущем предстоит только мучительное умирание...

.....

В качестве русского я поступаю совершенно так, как и все русские. То есть, приезжая даже в Париж, имею в виду главное: как можно скорее сойтись с соотечественниками. И до сих пор это мне удавалось. Во-первых, потому, что я посещал Париж весной и осенью, когда туда наезжает непроглядная масса русских, и, во-вторых, потому, что я всегда устраивался найдешевейшим способом: или в *maison meuble*¹⁴⁵ или в таком отельчике, против которого у Бедекера звездочки нет. Приедешь и вступишь с хозяйкою («хозяин» в такого рода заведениях предпочитает сибаритствовать, ежели он «Альфонс»⁴, или живет под башмаком и ведет книги) в переговоры:

– Есть у вас русские?

– Oh! monsieur! mais la maison en est remplie! Il y a le prince et la princesse de Blingloii au premier, m-r de Blagouine, negociant, au troisieme, m-r de Stroumsisloff, professeur, au quatrieme. De maniere que si vous vous installez dans l'appartement du deuxieme, vous serez juste au centre.¹⁴⁶

¹⁴⁵ меблированный дом

¹⁴⁶ Ах! сударь! дом прямо-таки наполнен ими! Здесь князь и княгиня Бленгловы на втором этаже, г-н де Блягуин, негодант, на четвертом, г-н

Таков был прошлого осенью состав русской колонии в одном из maison meubles, в окрестностях place de la Madeleine. Впоследствии оказалось, что le prince de Blingloff – петербургский адвокат Болиголова; la princesse de Blingloff – Марья Петровна от Пяти Углов; m-г Vlagouine – Краснохолмский купец Блохин, торгующий яичным товаром; m-г Stroumsisloff – старший учитель латинского языка навозненской гимназии Старосмыслов, бежавший в Париж от лица помпадур Пафнутьева.

Конечно, я ни минуты не колебался и через полчаса уже распоряжался в предоставленных мне двух комнатах. Зато можете себе представить, как взыграло мое сердце, когда, через несколько минут после этого, выйдя на площадку лестницы, я услышал родные звуки:

Г о л о с с в е р х у. Матрена Ивановна! ползешь, что ли?

Г о л о с с о д н а. Ах, уж так-то я нынче взопрела! так взопрела, что, кажется, хоть выжми!

Голос Матрены Ивановны вдруг осекся; она поравнялась со вторым этажом и заметила меня.

– Русские? – обратилась она ко мне.

– Русский-с.

Струмсислов, профессор, на пятом. Таким образом, если вы поселитесь в комнате второго этажа, вы окажетесь как раз в центре

– Ну, вот. А я-то распелась! Не взыщите уж, сделайте милость! Все думается, француз кругом, не понимает по-нашему. Ан русский.

– Матрена Ивановна! Машина готова! – раздалось опять сверху.

– Чайку попить собрались! – добродушно пояснила она мне, взбираясь наверх.

"Чайку попить!" – так все нутро и загорелось во мне! С калачиком! да потом щец бы горяченьких, да с пирожком подовеньким! Словом сказать, благодаря наплыву родных воспоминаний, дня через два я был уже знаком и с третьим и с четвертым этажами.

Не дождался ни рекомендации, ни случая, просто пошел и отрекомендовал сам себя. Прежде всего направился к Старосмыслову. Стучу в дверь – нет ответа. А между тем за дверью слышатся осторожные шаги, тихий шепот. Стучусь еще.

– Захар Иваныч! вы?

– Нет, не Захар Иваныч.

Голос смолк; послышался шорох удаляющихся шагов; затем опять ходьба, шуршанье бумагами. Наконец дверь отворилась, и в ней показался бледный и отощальный человек с встревоженным лицом. В боковых дверях, ведущих в соседнюю комнату, мелькнул конец удаляющегося черного платья.

Я назвал себя.

– А! ну вот... вчера, что ли, приехали? – бормотал он сконфуженно, – а я было... ну, очень рад! очень рад! Садитесь! садитесь, что, как у нас... в России? Цветет и благоухает... а? Об господине Пафнутьеве не знаете ли чего?

Он торопливо жал мою руку и, казалось, с большим трудом успокоивался.

– Слышать-то слышал, да что вам вдруг Пафнутьев на ум пришел?

– Пафнутьев-то! ах! да вы знаете ли, что я чуть было одно время с ума от него не сошел!.. Представьте себе: в Пинегу-с!⁵ Каково вам это покажется... В Пинегу-с.

– Конечно, в Пинегу... еще бы! Но здесь-то, в Париже, можно бы, кажется, и позабыть об господине Пафнутьеве.

– Здесь-то-с? а вы знаете ли, что такое... *здесь?* *Здесь!!* Стоит только шепнуть: вот, мол, русский нигилист – сейчас это менотки¹⁴⁷ на руки, арестантский вагон, и марш на восток в deutsch Avricourt!¹⁴⁸ Это... *здесь-с!* А в deutsch Avricourt'e другие менотки, другой вагон, и марш... в Вержболово! Вот оно... *здесь!* Только у них это не экстрадицией называется, а экс-

¹⁴⁷ ручные кандалы

¹⁴⁸ немецкий Аврикур

пюльсированием ⁶. Для собственных, мол, потребностей единой и нераздельной французской республики!

– Послушайте, однако ж! Вы что-то такое странное говорите. Я полагаю, что Гамбетта...

– Гамбетта-с! Да ведь это, батюшка, тоже в своем роде Пафнутьев! Сделайте милость! Назначь-ко его у нас исправником, он вам покажет, где раки зимуют... да!

– А я так, напротив, думаю, что он был бы отличным исправником. И совсем не в смысле показывания раков, а именно в качестве умного и просвещенного исполнителя предначертаний. У него бы эти революции... да-с, господа! аттанде-с!.. Он сам был оным! Он и входы, и проходы, и выходы – все самолично проник! Не знаю, каков из него выйдет президент республики, но исправник... Вот наш соломенский исправник Колпаков, тот, как исправник, никуда не годится, – помилуйте! весь уезд распустил! – а как президент республики, вероятно, был бы неоценим!

– Ну, что уж! Нет, вы только представьте себе... в Пинегу! Есть такой город? а?

Он даже закружился от боли при этом воспоминании.

– Это все Екатерина Вторая! – крикнул он почти восторженно. – Она этих городов понастроила... для гос-

под Пафнутьевых!

– Да, но, вероятно, она не имела в виду, что ее мероприятия послужат на пользу только для господ Пафнутьевых...

– Не имела в виду! разве это резон? У нас, батюшка, все нужно иметь в виду! И все на самый худой конец! Нет, да вы, сделайте милость, представьте себе... ведь подорожная была уж готова... в Пинегу!! Ведь в этой Пинеге, сказывают, даже семга не живет!

– Семга – это в Мезени.

– Но какое разнuzданное и отчасти и распутное воображение нужно иметь, чтоб выбрать... Пинегу!

– Действительно... Говорят, правда, будто бы и еще хуже бывает, но в своем роде и Пинега... Знаете ли что? вот мы теперь в Париже благодушествуем, а как вспомню я об этих Пинегах да Колах – так меня и начнет всего колотить! Помилуйте! как тут на Венеру Милосскую смотреть, когда перед глазами мечется Верхоянск... понимаете... Верхоянск?! А впрочем, что ж я! Говорю, а главного-то и не знаю: за что ж это вас?

– Вот-вот-вот. Был я, как вам известно, старшим учителем латинского языка в гимназии – и вдруг это наболело во мне... Всё страсти да страсти видишь... Один пропал, другой исчез... Начитался, знаете, Тацита, да и задал детям, для перевода с русского на латинский, период: "Время, нами переживаемое,

столь бесполезно-жестоко, что потомки с трудом поверят существованию такой человеческой расы, которая могла оное переносить!" ⁷

– Ах! – невольно вырвалось у меня.

– Да? Ну, и прекрасно... Действительно, я... ну, допустим! Согласитесь, однако ж, что можно было придумать и другое что-нибудь... Ну, пригрозить, обругать, что ли... А то: Пинега!! Да еще с прибаутками: морошку собирать, тюленей ловить... а? И это администраторы!! Да ежели вам интересно, так я уж лучше все по порядку расскажу!

Но в эту минуту дверь соседней комнаты отворилась, и оттуда появилась m-me Старосмылова. Это была маленькая особа, очень живая и делавшая над собою видимые усилия, чтоб показать, что она не разделяет уныний своего мужа. Наружность она имела не особенно выдающуюся, но симпатичную, свидетельствующую о подвижной и деятельной натуре. Словом сказать, при взгляде на Старосмылова и его подругу как-то невольно приходило на ум: вот человек, который жил да поживал под сению Кронебергова лексикона, начиненный Евтропием и баснями Федра, как вдруг в его жизнь, в виде маленькой женщины, втерлось какое-то неугомонное начало и принялось выбрасывать за борт одну басню за другой. Тут-то вот и сочинился сам собой период от слов: "вре-

мя, которое мы переживаем", до слов: "оное переносить", включительно. А из периода, в виде естественного привеса, явилась – Пинега!!

– Федор Сергеич, вероятно, вам на судьбу жалуется? – обратилась она ко мне после взаимных представлений, – и охота, право! Забыть надо, а он себя все пуще да пуще раздражает. Кончилось ведь?

– Кончилось ли оно – это еще бабушка надвое сказала! да и не в этом дело: факт-то, факт-то какой! Фраза... ну, положим, пустая! ну, вредная, что ли! Но каким же образом из фразы вдруг выскочила... Пинега?! – оправдывался Старосмыслов.

– Но ведь мы не в Пинеге, а в Париже!

– Позвольте, Капитолина Егоровна, – вступился я, – ваш муж начал рассказывать... Конечно, Пинега, сама по себе взятая, есть лишь административный термин, настолько вошедший в наш административный обиход, что немногие администраторы в состоянии понять всю жестокость его. Я лично знал на своем веку одного администратора, который в полюсы не верил и для которого поэтому все города были равны. Вот он и говорит, бывало: ты ступай в Пинегу, ты – в Пу-стозерск, а ты – в Верхоянск! Но Пинега, превратившаяся в Париж, – это что-то уж чрезвычайное! Федор Сергеич! объясните, сделайте милость!

– Да-с, так вот сидим мы однажды с деточками в

классе и переводим: "время, нами переживаемое"... И вдруг – инспектор-с. Посидел, послушал. А я вот этой случайности-то и не предвидел-с. Только прихожу после урока домой, сел обедать – смотрю: пакет! Пожалуйте! Являюсь. "Вы в Пинеге бывали?" – Не бывал-с. – "Так вот познакомьтесь". Я было туда-сюда: за что? – "Так вы не знаете? Это мне нравится! Он... не знает! Стыдитесь, сударь! не увеличивайте вашей вины нераскаянностью!"

Старосмыслов остановился и смотрел на меня в упор, тяжело дыша.

– Понимаете... точно сон! – вымолвил он задавленным голосом.

– Ах, голубчик! ты видишь, как это волнует тебя! – с участием вступилась Капитолина Егоровна, – лучше бы уж ты мне предоставил рассказать!

– Нет, это только я могу рассказать... я! Кто сам испытал это впечатление, только тот и может его передать!

Последовало несколько минут тяжелого молчания.

– Но как же вы, вместо Пинеге, в Париже очутились? – продолжал настаивать я.

– И опять словно во сне. Уж совсем было ехать в Пинегу собрался, да вдруг случайно... вот она напомнила, что лет пять тому назад давал я уроки сыну одного власть имеющего лица. Ну, думаю: послед-

нее средство... Посылаю телеграмму-с... Смотрю, на другой день – тихо, на третий – опять тихо. А через неделю вызывает меня уж мой собственный начальник: "Знаете ли вы, говорит, правило: Tolle me, tu, mi, mis, si declinare domus vis?.." ⁸ ¹⁴⁹ – Знаю, ваше превосходительство! – Так вот, говорит, нам необходимо удостовериться, везде ли в заграничных учебных заведениях это правило в такой же силе соблюдается, как у нас... Извольте получить паспорт!

Старосмыслов опять остановился, как бы вопрошая, как я об этом полагаю. Но рассказ этот до того спутал все мои расчеты, что я долгое время ровно ничего не мог полагать. И вдруг у меня в голове сверкнула мысль:

– А прогоны и порционные вам выдали?

Старосмыслов недоумело взглянул на меня: очевидно, он никак этого вопроса не ожидал.

– Ну... что уж! – как-то уныло отозвался он. Однако я подметил, что в самой унылости его уже блеснула как бы надежда.

– Нет, вы этого не говорите! – ободрил я его, – я согласен, что рассказ ваш походит на сновидение, но, с другой стороны, какое же русское сновидение обходится без прогонов и порционных?

¹⁴⁹ Возьми me, tu, mi, mis, если хочешь склонять domus (дом)

– Так-то так...

Старосмыслов задумался и вдруг – хихикнул! Разумеется, я воспользовался этим поворотом, чтоб еще более утвердить его на этом пути.

– Нет, Федор Сергеич! вы этого не оставляйте! вы подумайте об этом! – повторил я.

– А что ты думаешь, Капочка! – отозвался он уже весело, – ведь это в своем роде...

Капитолина Егоровна только потихоньку засмеялась в ответ. Она не решалась прямо открыться, но мое предложение, очевидно, разогрело и ее.

– По моему мнению, и откладывать нечего, – настаивал я, – самое лучшее, сейчас же берите лист бумаги и пишите: "Просит... а о чем, тому следуют пункты... *Первое*: был, дескать, я тогда-то командирован с ученою целью, но распоряжения об отпуске прогонных денег, по упущению, не сделано. *Второе*: а так как, мол, для вящего успеха возложенного на меня поручения"... Вот только поручение-то какое-то странное на вас возложили. «Tolle me, tu, mi, mis...» согласитесь, что это даже для сновидения несколько рискованно! Вот если б вам поручили изучить и описать мундиры, присвоенные учителям латинского языка, или, например, собственными глазами удостовериться, к какому классу эти учителя причислены по должности и по пенсии... и притом, в целом мире! А то по-

думайте: «Tolle me, tu, mi, mis» – на что похоже! И как это вы в ту пору не догадались!

– Помилуйте! до догадок ли мне было! я, как ошалелый, бегал, денег искал...

– Ну, так вы вот что сделайте. Напишите все по пунктам, как я вам сказал, да и присокупите, что, кроме возложенного на вас поручения, надеетесь еще то-то и то-то выполнить. Это, дескать, уж в знак признательности. А в заключение: "и дабы повелено было сие мое прошение"...

– И вы полагаете, дадут?

– Не только полагаю, но совершенно утвердительно говорю: не могут не дать. Вот если б вы, при вручении паспорта, попросили – ну, тогда, может быть, вам сказали бы: а в таком случае не угодно ли вам получить подорожную в Пинегу? Но теперь... теперь, батюшка, ваше дело верное! Человек вы легальный и командированы на законном основании; а коль скоро все произошло на законном основании, следовательно, вы имеете право воспользоваться и всеми естественными последствиями этой законности. Вы уже теперь даже не Старосмыслов, а просто Х., без выдачи прогонных денег которому дело в архив сдать нельзя.

– А что вы думаете! ведь и в самом деле!

– До такой степени "в самом деле", что, даже в эту

самую минуту, я убежден, сам столоначальник, у которого ваше дело в производстве, тоскует о том, какую бы формулу придумать, чтобы вам прогоны всучить! А тут вы как раз с прошением: вот он я! Капитолина Егоровна! да поддержите же вы меня!

– Что ж, попробуй, мой друг! – томно отозвалась Капитолина Егоровна.

Так мы и сделали. Вместе сочинили прошение, которое он зарукоприкладствовал и сейчас же отправил с надписью гИсcommandИ.¹⁵⁰ Признаюсь, я с особенной любовью настаивал, чтоб прошение было по пунктам и написано и зарукоприкладствовано. Помилуйте! одно то чего стоит: сидят люди в Париже и по пунктам прошение сочиняют! Чрезвычайность этого положения до такой степени взволновала меня, что я совсем забылся и воскликнул:

– Ну, а теперь возьмите малую толику подмазочки – и айда в земский суд прошение подавать!

Разумеется, все, а в том числе и я первый, рассмеялись моей рассеянности. Но я был и тому уж рад, что мне удалось хоть на минутку расцветить улыбкой лицо этого испуганного человека.

От Старосмысловых я направился к Блохиным и встретил совсем другого сорта людей. Передо мной предстал человек еще молодой, лет тридцати, кра-

¹⁵⁰ заказное

сивый, крепко сложенный, с румяным лицом и пушистою светлою бородой. Словом сказать, во всех статьях "добрый русский молодец". Под стать ему была и жена его, Зоя Филиппьевна, женщина рослая, сложенная на манер Венеры Милосской, с русским круглым и смугло-румяным лицом, на котором алели пунцовые губы и несколько чересчур пристально выглядывали из-под соболиных бровей серые выпученные глаза. С ними же была и старшая сестра Блохина, пожилая девица, сырой комплекции (в форме средних размеров кулебяки), одержимая легким удушьем, но замечательно добродушная, общительная и покладливая. Вообще при взгляде на эту семью думалось: вот-вот они сейчас схватятся руками и начнут песни играть. Сперва запоют: "Как по морю да по Хвалынскому, да выплывала лебедь белая"; потом начнут: "Во поле березынька стоя-а-ала", потом и еще запоют, и будут не переставая петь вплоть до заутрени. И спляшут при этом: она пройдет серой утицей, он – сизым селезнем. Но как и зачем они попали в Париж? – это была загадка, которую они и сами вряд ли могли объяснить. Во всяком случае, они адски скучали в разлуке с Красным Холмом.

– Главная причина, языка у нас нет, – сразу пожаловался мне Блохин, – ни мы не понимаем, ни нас не понимают. Надо было еще в Красном Холму это рас-

судить, а мы думали: бог милостив! Вот жена хоть и на пальцах разговаривает, однако, видно, бабам бог особенное дарование насчет тряпья дал – понимают ее. Придет это в магазин, сейчас гарсон встречу: мадам! Понравится ей вещь – она ему палец покажет, а он ей в ответ – два пальца. Потом она полпальца прибавит, а он четь пальца отбавит: будьте, значит, знакомы! Смотришь – и снюхались. Ишь вороха натаскала!

Я огляделся кругом и действительно изумился. Вся комната была буквально загромождена картонками, тючками, платьями, мантильями и прочим женским хламом. Только и было свободного места, где мы сидели.

– Кабы не Капитолина Егоровна с Федором Сергеичем – и голодом, пожалуй, насиделись бы! – в свою очередь пожаловалась Матрена Ивановна.

– Да и с Федор Сергеичем нелады вышли. Мы-то, знаете, в Париж в надежде ехали. Наговорили нам, в Красном-то Холму: и дендо, и пердро, тюрбо⁹.... Аппетит-то, значит, и вышлифовался. А Федору Сергеичу в хороший-то трактир идти не по карману – он нас по кухмистерским и водит! Только уж и еда в этих кухмистерских... чистый ад!

– А попробовали раз сами собой в трактир зайти, стали кушанье-то заказывать, а он, этот... гарсон, что ли, только глаза таращит!

– Да еще что вышло! Подслушал этта наш разговор господин один из русских и заступился за нас, заказал. А после обеда и подсел к нам: не можете ли вы, говорит, мне на короткое время займы дать? Ну, нечего делать, вынул пятифранковик, одолжил.

– Да вы бы в русский ресторан сходили?

– Были-с. Помилуйте – биток! Затем ли мы из Красного Холма сюда ехали, чтоб битки здешние есть?

– Ни в театр, ни на гулянье, ни на редкости здешние посмотреть! Сидим день-деньской дома да в окошки смотрим! – вступилась Зоя Филиппьевна, – только вот к обедне два раза сходили, так как будто... Вот тебе и Париж!

– Но отчего ж бы вам с Старосмысловыми в театр не сходить?

– То-то, что сердцами, значит, не сошлись, да и не то, чтоб сердцами, а капиталом они против нас как будто отоцали. Чудной ведь он! Ото всех прячется, да высматривает, какого-то, прости господи, Пафнутьева поджидает...

– Ах, боже мой! вот чудак-то!

– И я тоже пытал говорить. Как, говорю, возможно, чтоб господин Пафнутьев в Париже власть имел! И хоть бы что! "Бреслеты, говорит, на руки, и катай по всем по трем!" Очень уж его там испугали, в отечестве-то! А человек-то какой преотличнейший! И как

свое дело знает! Намеднись идем мы вместе, и спрашиваю я его: как, Федор Сергеич, на твоём языке "люблю" сказать? – Ато, говорит. "Ну, говорю, ато и тебя, и Капитолину Егоровну твою, и я, и жена, и все мы – ато!" Ну, усмехнулся: коли все, говорит, так уж не ато, а атамус! И за что только такая на них напасть!

– Ну, бог милостив!

– И я тоже говорю. Только сердитые нынче времена настали, доложу вам! Давно уж у бога милости просим – ан все ее нет!

– Вам-то, впрочем, грешно бы пожаловаться.

– Мы-то – слава богу. Здоровы, при капитале – на что лучше! А тоже и мы видим. Вот хоть бы на Федора Сергеича поглядеть – чего только он не вытерпел! Нет, доложу вам, и прежде строгости были, а нынче против прежнего вдвое стало. А между прочим, в народе амбиция в ход пошла, так оно будто и скучненько стало на строгости-то смотреть. Еще на моей памяти придет, бывало, к батюшке-покойнику становой-то: просто, мило, благородно! Посидит, закусит... Делов за нами нет, а по силе возможности... получи. А нынче он придет: в кепИ да в погонах... ах, распостылый ты человек!

– Ну, это уж ваше личное чувство говорит.

– Нет, и не во мне одном, а во всех. Верьте или нет, а как взглянешь на него, как он по улице идет да гла-

зами вскидывает... ах ты, ах!

– Ах, Захар Иванович!

– Знаю, что нехорошо это... Не похвалят меня за эти слова... известно! Только уж и набалованы они, доложу вам! Строгости-то строгостями, ан смотришь, довольно и озорства. Все "духу" ищут; ты ему сегодня поперек что-нибудь сказал, а он в тебе завтра "дух" разыскал! Да недалече ходить, Федор Сергеич-то! Что только они с ним изделали!

– Уж так нам их жалко! так жалко! – подтвердила и Матрена Ивановна.

– Истинно вам говорю: глядишь это, глядишь, какое нынче везде озорство пошло, так инда тебя ножом по сердцу полыснет! Совсем жить невозможно стало. Главная причина: приспособиться никак невозможно. Ты думаешь: давай буду жить так! – бац! живи вот как! Начнешь жить по-новому – бац! живи опять по-старому! Уж на что я простой человек, а и то сколько раз говорил себе: брошу Красный Холм и уеду жить в Петербург!

– За чем же дело стало?

– Своо места жалко – только и всего.

– Известно, жалко: и дом, и заведение, и все... – подтвердила и Матрена Ивановна.

– А вам жалко? – обратился я к Зое Филиппьевне.

– Мне что! я мужняя жена! вон он, муж-то у меня

какой!

– Ах, умница ты наша! – похвалила Матрена Ивановна.

– Вы долго ли думаете в Париже пробыть?

– Да свое время отсидеть все-таки нужно. С неделю уж гостим, еще недели с две – и шабаш.

– Так знаете ли, что мы сделаем. И вам скучно, и Старосмысловым скучно, и мне скучно. Так вот мы соединимся вместе, да и будем сообща скучать. И заведем мы здесь свой собственный Красный Холм, как лучше не надо.

– И прелотлично! – разом воскликнули Блохины.

– Я буду вас и по ресторанам и по театрам водить. И все по таким театрам, где и без слов понятно. А ежели Старосмыслову прогоны и порции разрешат, так и они, наверное, жаться не будут.

Я рассказал им, какую мы утром просьбу общими силами соорудили и какие надежды на нее возлагаем. И в заключение прибавил:

– А в Париже надоест, так мы в Версаль, вроде как в Вельёгонск махнем, а захочется, так и в Кашин... то бишь, в Фонтенбло – рукой подать!

* * *

Итак, осуществить Красный Холм в Париже, Вер-

саль претворить в Вельёгонск, Фонтенбло в Кашин – вот задача, которую предстояло нам выполнить.

С первого взгляда может показаться, что осуществление подобной программы потребует сильного воображения и очень серьезных приспособлений. Но в сущности, и в особенности для нас, русских, попытки этого рода решительно не представляют никакой трудности. Не воображение тут нужно, а самое обыкновенное оцепенение мысли. Когда деятельность мысли доведена до минимума и когда этот минимум, ни разу существенно не понижаясь, считает за собой целую историю, теряющуюся в мраке времен, – вот тут-то именно и настигает человека блаженное состояние, при котором Париж сам собою отождествляется с чем угодно: с Вельёгонском, с Пошехоньем, с Богучаром и т. д. Мыслительная способность атрофируется и вместе с этим исчезает не только пытливость, но и самое простое любопытство. Старое, насиженное, обжитое – вот единственное, что удовлетворяет обессиленный ум. И это насиженное воспроизводится с такою легкостью, что само собою, помимо всякого содействия со стороны воображения, перемещается следом за человеком, куда бы ни кинула его судьба.

Восстановить Красный Холм в Париже положительно ничего не стоит. Нужно только разложиться с ве-

щами и затем начать жить да поживать. Правда, что житье в отеле, сравнительно с Красным Холмом, покажется тесновато, но зато в Париже имеются льготы, которых не найдешь не только в Красном Холму, но и в Кашине. И льготы именно в Краснохолмском смысле, то есть такие, которых на месте не сыщешь, но которые Краснохолмским воображением не отвергаются. Таковы, например: пули, дендС, пердрС, тюрбС, славу о которых на всю Россию искони протрубили предводители дворянства. Затем: магазины всевозможного женского тряпья, от которых без ума все предводительши, макадам на улицах, отличное уличное освещение, писсуары и т. д., о которых с благосклонностью отзываются все уездные исправники, как о таких реформах, которые не ведут к потрясанию основ. И в довершение всего, есть для мужчин кокотки, вроде той, какую однажды выписал в Кашин 1-й гильдии купец Шомполов и об которой весь Кашин в свое время говорил: ах, хороша стерва!

В Париже отличная груша дюшес стоит десять су, а в Красном Холму ее ни за какие деньги не купишь. В Париже бутылка прекраснейшего ПонтИ-КаниИ стоит шесть франков, а в Красном Холму за Зызыкинскую отраву надо заплатить три рубля. И так далее, без конца. И все это не только не выходит из пределов Краснохолмских идеалов, но и вполне подтверждает

оние. Даже театры найдутся такие, которые по горло уконтентуют самого требовательного Краснохолмского обывателя.

Когда воображение потухло и мысль заскербла, когда новое не искушает и нет мерила для сравнений – какие же могут быть препятствия, чтоб чувствовать себя везде, где угодно, матерым Краснохолмским обывателем. Одного только недостает (этого и за деньги не добудешь): становой квартиры из окна не видать – так это, по нынешнему времени, даже лучше. До этого-то и краснохолмцы уж додумались, что становые только свет застыят.

– Как пошли они, в позапрошлом лете, по домам шарить, так, верите ли, душа со стыда сгорела! – говорил мне Блохин, рассказывая, как петербургские "события" ¹¹ отразились в районе вышневолоцко-весьёгонских палестин.

И он говорил это с неподдельным негодованием, несмотря на то, что его репутация в смысле "столпа" стояла настолько незыблемо, что никакое "шаренье" или отыскивание "духа" не могло ему лично угрожать. Почему он, никогда не сгоравший со стыда, вдруг сгорел – этого он, конечно, и сам как следует не объяснит. Но, вероятно, причина была очень простая: скверно смотреть стало. Всем стало скверно смотреть; надоело.

Как бы то ни было, но, раз решившись воспроизводить исключительно Краснохолмские идеалы, мы зажили отлично. Единственную не Краснохолмскую роскошь, которую я лично себе дозволил, – это газеты. Я покупал их ежедневно и притом самые страшные. "L'Intransigeant", "Le Mot d'Ordre", "La Commune", "La Justice" ¹². Что делать! идешь мимо киоска, видишь: разложены, стало быть, велено покупать – купишь. Сначала я боялся, думал, начитаюсь, приеду в Россию – чего доброго, революцию произведу. Однако, с божьею помощью, в короткое время так наметался, что все равно, что читал, что нет. Зато все остальное времяпровождение было воистину Краснохолмское. Часов до 12-ти утра мы исправлялись дома, то есть распивали чай и кофеи по своим углам. После 12-ти выходили на улицу и начинали, по выражению Захара Иваныча, «кутаться» и «воловодиться».

Брали под руки дам и по порядку обходили рестораны. В одном завтракали, в другом просто ели, в третьем спрашивали для себя пива, а дамам "граниту". Когда ели, то Захар Иваныч неизменно спрашивал у Старосмыслова: а как это кушанье по-латыни называется? – и Федор Сергеич всегда отвечал безошибочно.

– Никогда не скажет: не знаю! – изумлялся Блохин, – и этакого человека... в Пинегу!

В промежутках между кушаньями вспоминали о Красном Холме, старались угадать: рыжики-то уродились ли ноне?

Часа в три компания распадалась. Дамы предпринимали путешествие по магазинам, а мужчины отправлялись смотреть "картинки". Во время процесса просмотра Захар Иваныч взвизгивал: ах, шельма! и спрашивал у Федора Сергеича, как это называется по-латыни. Но однажды зашли мы в пирожную, и с Блохиным вдруг сделалось что-то необыкновенное.

– Она... она самая! – шепнул он мне, указывая на рослую и совершенно рыжую женщину, которая стояла у конторки. – Наша... кашинская!

И не успел я сообразить, в чем дело, как у него уж и глаза кровью налились.

– В Кашине... была? – спросил он ее в упор. Конторщица взглянула на него с недоумением, но по лицу ее пробежала чуть заметная улыбка: ей, очевидно, польстило, что "доброе русского молодца" так сразу прошибло.

– В Кашине... была? – настаивал Захар Иваныч. Насилу мы его увели.

Часов около шести компания вновь соединялась в следующем по порядку ресторане и спрашивала обед. Если и пили мы всласть, хотя присутствие Старосмысловых несколько стесняло нас. Дня с четыре

они шли наравне с нами, но на пятый Федор Сергеевич объявил, что у него болит живот, и спросил вместо обеда полбифштекса на двоих. Очевидно, в его душу начинало закрадываться сомнение насчет прогонов, и надо сказать правду, никого так не огорчало это вынужденное воздержание, как Блохина.

– Ведь вот и добрый человек, а сколь жесток! – жаловался он мне, – не хочет понять, что нам не деньги его нужны, а душа.

После обеда иногда мы отправлялись в театр или в кафе-шантан, но так как Старосмысловы и тут стесняли нас, то чаще всего мы возвращались домой, собирались у Блохиных и начинали играть песни. Захар Иванович затягивал: "Солнце на закате", Зоя Филиппьевна подхватывала: "Время на утрате", а хор подавал: "Пошли девки за забор"... В Париже, в виду Мадлены¹³, в теплую сентябрьскую ночь, при отворенных окнах, – это производило удивительный эффект!

Иногда обычный репертуар дня видоизменялся, и мы отправлялись смотреть парижские "редкости". Ездили в Jardin des plantes¹⁵¹ и в Jardin d'acclimatation,¹⁵² лазили на Вандомскую колонну, побывали в Musee Cluny и, наконец, посетили Луврский музей. Но тут

¹⁵¹ Ботанический сад

¹⁵² Зоологический сад

случился новый казус: увидевши Венеру Милосскую, Захар Иванович опять вклепался и стал уверять, что видел ее в Кашине. Насилу мы его увели.

– При тебе только мы и свет узрили! – открывался мне Захар Иванович, – кабы не ты, что бы мы, приехавши в Холм, про Париж рассказывать стали?

Насладившись вдоволь Парижем, нельзя было оставить без внимания и окрестности. Разумеется, прежде всего отправились в Версаль. Дорогой я, конечно, не преминул рассказать, какую я, пять лет тому назад, выкинул тут штуку с Лабули. Все так и ахнули.

– То-то, чай, глаза вытаращил, как проснулся! – похвалил меня Блохин.

И, помолчав немного, прибавил:

– Только через тебя мы свет узрили! ишь ведь ты... на все руки!

В Версали мы обошли дворец, затем вышли на террасу и бросили общий взгляд на сад. Потом прошлись по средней аллее, взяли фиакры и посетили "примечательности": Parc aux cerfs,¹⁵³ Трианон и т. п. Разумеется, я рассказал при этом, как отлично проводил тут время Людовик XV и как потом Людовик XVI вынужден был проводить время несколько иначе. Рассказ этот, по-видимому, произвел на Захара Ивановича впечатление, потому что он сосредоточился, снял шляпу и за-

¹⁵³ Олений парк

думчиво произнес:

– Стало быть, в эфтим самом месте энти самые короли...

– Именно так, – подтвердил я.

– Все короли да все Людовики... И что за причина такая? – с своей стороны затужила было Матрена Ивановна, но Захар Иваныч не дал ей продолжать.

– Шабаш! – сказал он, – царство небесное – и кончен бал!

Однако ж через несколько минут он вновь возвратился к тому же сюжету.

– И как эти французы теперича без королев живут? Чудаки, право!

– А как живут! Известно: день да ночь – сутки прочь! – объяснила Матрена Ивановна.

– Не иначе, что так. У нас робенок, и тот понимает: несть власть аще...¹⁴ а француз этого не знает! А может, и они слышат, как в церквах про это читают, да мимо ушей пропускают! Чудаки! Федор Сергеич! давно хотел я тебя спросить: как на твоём языке «король» прозывается?

– Rex.

– А инператор?

– Imperator.

– А который, по-твоему, больше: rex или imperator?

– Imperator – уж на что выше!

– Ну, так вот ты и мотай себе на ус... да!

Блохин выговорил эти слова медленно и даже почти строго. Каким образом зародилась в нем эта фраза – это я объяснить не умею, но думаю, что сначала она явилась *так*, а потом вдруг во время самого процесса произнесения, созрел проекте попробую-ка я Старосмыслову предиду сказать! А может быть, и целый проект примирения Старосмыслова с Пафнутьевым вдруг в голове созрел. Как бы то ни было, но Федор Сергеич при этом напоминании слегка дрогнул.

А Блохин между тем начал постепенно входить во вкус и подпускать так называемые обиняки. "Мы-ста да вы-ста", "сидим да шипим, шипим да посиживаем", "и куда мы только себя готовим!" и т. д. Выпустит обиняк и посмотрит на Федора Сергеича. А в заключение окончательно рассердился и закричал на весь Трианон:

– Свиныи – и те лучше, не-чем эти французы, живут! Ишь ведь! Королей не имеют, властей не признают, страху не знают... в бога-то веруют ли?

Насилу мы его увели.

На другой день мы отправились в Фонтенбло, но эта резиденция уже не вызвала ни той сосредоточенности, ни того благоговейного чувства, каких мы были свидетелями в Версали. Благодаря Краснохолмскому приволью, Захар Иваныч настолько был уже преис-

полнен туками, что едва успели мы осмотреть перо, которым Наполеон I подписал отречение от престола, как он уже запыхался. Ни знаменитого Фонтенблосского леса, ни прочих достопримечательностей мы так и не осматривали, потому что Блохин на все предложения твердо отвечал: ну их к ляду! И только дорогой, едучи в Париж, молвил:

– Пожил, повоевал – и шабаш! Умный был человек, а вот... И какая этому причина?!

Во всяком случае, впечатления этих двух дней не прошли для Блохина даром. Тени Людовиков как бы остепенили его; до сих пор он выказывал себя умеренным либералом, теперь же вдруг сделался легитимистом.

Воротившись из экскурсии домой, он как-то пришипился и ни о чем больше не хотел говорить, кроме как об королях. Вздыхал, чесал поясницу, повторял: "ему же дань – дань!", "звезда бо от звезды", "сущие же власти"¹⁵ и т. д. И в заключение предложил вопрос: мазанные ли были французские короли, или немазанные, и когда получил ответ, что мазанные, то сказал:

– Ну, стало быть, не так их мазали, как прописано. Потому, если б их настояще мазали, так они бы и сейчас в этой самой Версали сидели, и ничего бы ты с ними не поделал... ау, брат!

Покончив таким образом с Людовиками, перешел к

Наполеону и не одобрил его.

– Знал ведь, что законный король в живых состоит, а между прочим и виду не подавал, что знает... все одно что у нас Пугачев!

И, наконец, до того довел необузданность чувств, что пожелал познакомиться и с Гамбеттой.

– Одно бы мне ему только слово сказать! только одно слово... и аминь!

Внимая Захару Иванычу, все остальные как-то при-
смирели. Вообще я давно уж заметил, что как только
заведется разговор о том, как и кто "мазан", так даже
у самых словоохотливых людей вдруг пропадает сло-
весность. Не знаю, понимают ли Краснохолмские пер-
вой гильдии купцы, что в это время с их слушателя-
ми происходит нечто не совсем ладное, но, во всяком
случае, они с изумительным инстинктом пользуются
подобными минутами замешательства. Уж на что, ка-
жется, добродушен Захар Иваныч, а посмотрите, как
он распелся, как только напал на подходящий мотив!
Сразу догадался, что он хоть до завтра калякай, а мы
все-таки будем его слушать. И в Красном Холму вы-
слушаем, и в Париже выслушаем. Потому что эти пер-
вой гильдии купцы... кто же их знает, что у них на уме!
Сейчас он об Старосмыслове печалуется: "что они с
ним изделали?", а вслед за тем вдруг по поводу того
же Старосмыслова сбесится и закричит: караул! си-

цилист!

И действительно, начал Блохин строго, а кончил еще того строже. Говорил-говорил, да вдруг обратился в упор к Старосмыслову и пророческим тоном при-совокупил:

– А ты, парень, все-таки на ус себе наматывай!

Чуть было я не сказал: ах, свинья! Но так как я только подумал это, а не сказал, то очень вероятно, что Захар Иваныч и сейчас не знает, что он свинья. И многие, по той же причине, не знают.

Часа четыре сряду я провозился на кровати, не смыкаячи очей, все думал, как мне поступить с Старосмысловым: предоставить ли его самому себе или же и с своей стороны поспособствовать его возрождению? В последнее время с Старосмысловым происходило нечто очень странное: он осунулся, похудел и до такой степени выцвел, как будто каждый день принимал слабительное. Сверх того, я заметил, что и Капитолина Егоровна, по временам, появляется с красными глазами, как бы от слез. Ясно, что между ними возник вопрос, и именно вопрос о раскаянии. По-видимому, Федор Сергеич готов сдаться; напротив того, Капитолина Егоровна – крепится. И по целым часам ведут они между собой бесконечно тяжкий разговор: как тут быть? – и ни до чего не могут договориться...

Разумеется, самая трудная сторона для разреше-

ния – это материальная. Какие перспективы может иметь учитель латинской грамматики? какую производительную силу представляет он собой? И притом такой учитель латинской грамматики, которому не выдали даже прогонных денег?! Вот, ежели вышлют прогоны, тогда можно, пожалуй, и воспрянуть; но если не вышлют... Но положим, что даже и вышлют – разве можно бессрочно жить в Париже, исполняя поручения на тему Tolle me, tu, mi, mis... Когда же нибудь придется и опять в Навозный с отчетом ехать... И не одному Старосмыслову, и всем придется туда ехать, всем с чистым сердцем предстать. Вот это-то мы и забываем. Гуляем да гуляем, думаем, что и конца этому гулянью не будет, и вдруг рассыльный из участка: пожалуйста!

И охота была Старосмыслову "периоды" сочинять! Добро бы философию преподавал, или занимал бы кафедру элоквенции,¹⁵⁴ а то – на-тко! старший учитель латинского языка! да что выдумал! Уж это самое последнее дело, если б и туда эта язва засела! Возлюбленнейшие чада народного просвещения – и те сбрендили! Сидел бы себе да в Корнелие Непоте копался – так нет, подавай ему Тацита! А хочешь Тацита – хоти и Пинегу... предатель!

И ведь отлично он знал, что за это у нас не похва-

¹⁵⁴ красноречия

лят. С пеленок заставляли его лепетать: "сила солому ломит" – раз; "плетью обуха не перешибешь" – два; "уши выше лба не растут" – три; и все-таки полез! И географии-то когда учили, то приговаривали: Кола, Пинега, Мезень; Мезень, Мезень, Мезень!.. Нет-таки, позабыл и это! А теперь удивляется... чему?

Ясно, что он Капочке поправиться хотел, думал, что за "периоды" она еще больше любить станет. А того не сообразил, милый человек, что бывают такие строгие времена, когда ни любить нельзя, ни любимым быть не полагается, а надо встать, уставившись лбом, и за-коченеть.

Удивительно, как еще Тацита Пафнутьев в покое оставил, как он и его в Пинегу не сослал? Истинно, Юпитер спас!

Ах, надо же и Пафнутьева пожалеть... ничего-то ведь он не знает! Географии – не знает, истории – не знает. Как есть оболтус. Если б он знал про Тацита – ужели бы он его к чертовой матери не услал? И Тацита, и Тразею Пета, и Ликурга, и Дракона, и Адама с Евой, и Ноя с птицами и зверьми... всех! Покуда бы начальство за руку не остановило: стой! а кто же, по-твоему, будет плодиться и множиться?

И все-таки надо как-нибудь подкрепить Старосмылова в его новом душевном настроении. Не так грубо, как взялся за это Захар Иваныч, а как-нибудь сторо-

ной, чтоб ему в самый раз было, да и Капитолину Егоровну не очень бы огорчило. Но как это сделать? Ежели начать с "чин чина почитай" – он-то, может быть, и найдет в своем сердце готовность воспринять эту истину, да Капитолина Егоровна, чего доброго, заплачет. По какой причине она заплачет – об этом двояко можно сказать. Может быть, оттого, что с прежней либеральной позицией жалко расстаться, а может быть, и оттого, что она и сама уж понимает, что музыка ее не выгорела. Но и в том и в другом случае несомненно, что она заплачет оттого, что на сердце кошки скребут.

Но потому-то именно и надо это дело как-нибудь исподволь повести, чтобы оба, ничего, так сказать, не понимая, очутились в самом лоне оного. Ловчее всего это делается, когда люди находятся в состоянии подпития. Выпьют по стакану, выпьют по другому – и вдруг наплыв чувств! Вскочут, начнут целоваться... ура! Капитолина Егоровна застыдится и скажет:

– Что ж, ежели все... попробуй, Федя! А Захар Иванович поощрит:

– Валяй!

Вот оно, какие дела могут из "периода" на свет божий выскочить!

Но тут мысли в моей голове перемешались, и я заснул, не придумавши ничего существенного. К счастью, сама судьба бодрствовала за Старосмыслова,

подготовив случай, по поводу которого всей нашей компании самым естественным образом предстояло осуществить идею о подпитии. На другой день – это было 17 (5) сентября, память Захарии и Елисаветы – едва я проснулся, как ко мне ввалился Захар Иваныч и торжественно произнес:

– Бог милости прислал. Прямо из церкви-с. Просим покорно сегодня пирога откусать.

– По какому случаю?

– По случаю дня ангела-с. Хоть и в иностранных землях находимся, а все же честь честью надо ангелу своему порадоваться. В русском ресторане-с.

И вдруг словно луч меня осветил. Все, что я тщетно обдумывал ночью и для чего не мог подыскать подходящей формулы, все это предстало передо мною в самой пленительной ясности!

"Русский ресторан" помещается недалеко от Итальянского бульвара, против Комической Оперы, и замечателен, по преимуществу, тем, что выходит окнами на обширный и притом совершенно открытый писсуар. Из русских кушаний тут можно получить: tschy russe, koulibak и bitok au smetane,¹⁵⁵ все остальное совершенно то же, что и в любом французском ресторане средней руки. Посетитель этого заведения немногочислен и стыдлив. Заходит больше средний русский

¹⁵⁵ щи русские, кулебяка, биток в сметане

человек, и не в обычный парижский обеденный час, а так, между двумя и тремя часами. Спросит порцию щей или биток, пообедает, а знакомым говорит, что завтракает. И знакомые тоже обедают, но уверяют, что завтракают. И таким образом, политиканят и лгут совершенно так же, как в России, а зачем лгут – сами не знают. Из «особ» сюда приходят (и тоже говорят, что завтракают) те немногие сенаторы, которые получают жалованье по штату и никакими иными «присвоенными» окладами не пользуются. На Париж-то ему посмотреть хочется, а жалованье небольшое и детей куча – вот он и плетется в русский ресторан «завтракать».

Да, есть такие бедные, что всю жизнь не только из штатного положения не выходят, но и все остальные усовершенствования: и привислянское обрусение, и уфимские разделы – все это у них на глазах промелькнуло, по усам текло, а в рот не попало. Да их же еще, по преимуществу, для парада, на крестные ходы посылают!

Сидит он, этот в штат осужденный, где-нибудь на Васильевском острове, рад бы десять таких жалованьев заглотать, и не дают. Вспомнит, как в свое время Юханцев жил, сравнит свои заслуги с его заслугами и заплачет. Обидно. А всего обиднее, что не только прибавки к штатному содержанию, но даже дел ему на

просмотр не дают: где тебе, старику! Вот уж крестный ход будет, так пройдешься! А между тем он, ей-богу, еще в полном разуме... Хоть сейчас испытайте! Ваше превосходительство! да вы попробуйте!.. Ну, что там пустое молоть!

И чего-чего только он не делал, чтоб из штата выйти! И тайных советников в нигилизме обвинял, и во всевозможные особые присутствия впрашивался, и уходящих в отставку начальников походя костил, новоявленных же прославлял... Однажды, в тоске смертной, даже руку начальнику поцеловал, ан тот только фыркнул! А он-то целуя, думал: господи! кабы тысячку!

Говядина нынче дорогая, хлеб пять копеек за фунт, а к живности, к рыбе и приступу нет... А на плечах-то чин лежит, и говорит этот чин: теперь тебе, вместо фунта, всего по два фунта съесть надлежит!

И вдруг он надумал в Париж... сколько смеху-то было! Даже экзекутор смеялся: так вы, Иван Семеныч, в Париж? А он одну только думу думает: съезжу в Париж, ворочусь, скажут: образованный! Смотришь, ан тысячка-другая и набежит!

И вот он бежит в русский ресторан, съест bitok au smetane – и прав на целый день. И все думает: ворочусь, буду на Петровской площади анекдоты из жизни Гамбетты рассказывать! И точно: воротился, расска-

зывает. Все удивляются, говорят: совсем современным человеком наш Иван Семеныч приехал!

Но ждет он месяц, ждет другой – нет против штатного положения облегчения, да и на-поди! Господа! да обратите же, наконец, внимание! Анна-то Ивановна ведь уж девятым тяжела ходит!

Вот в этот самый ресторан и привлек нас Блохин. Вероятно, он руководился соображением, что имениннику без кулебяки быть нельзя, а в другом месте этого кулинарного продукта не отыщешь.

Я не буду останавливаться на обеденном мени: Захар Иваныч из всех сил выбился, чтоб сообщить ему вполне Краснохолмский характер. Ради вящего сходства, он даже прихватил парочку тайных советников, из русских ресторанных habitués,¹⁵⁶ которые, должно быть, еще накануне пронюхали, что русский купчина будет справлять именины, и с утра, выбритые и с подвитыми висками, подстерегали нас. Я, впрочем, потому позволяю себе эту догадку, что тайные советники явились во фраках, и как только окончательно уверились, что их пригласили, то вынули из боковых карманов по звезде и возложили их на себя по установлению. За столом тайные советники поместились по обе стороны Зои Филиппьевны, причем когда кушанья начинали подавать с одного тайного советника, то дру-

¹⁵⁶ завсегдаев

гой завидовал и волновался при мысли, что, пока дойдет до него черед, лучшие куски будут уже разобраны. Сверх того, я заметил, что тайные советники всякого кушанья накладывали на тарелки против других вдвое: одну порцию лично для себя, а другую – ради чина. Но так как они поступали таким образом не из жадности, а по принципу, то Захар Иоаныч не только не тяготился этим, но даже упрашивал взять еще по кусочку – на звезду.

Ели и пили мы целых полтора часа. И вот, когда тайные советники впали, от усиленной еды, во младенчество, а прочие гости дошли до точки, я улучил минуту и, снявшись со стула, произнес спич.

– Захар Иваныч! – сказал я, – торжествуя вместе с вами день вашего ангела, я мысленно переносусь на нашу милую родину и на обширном ее пространстве отыскиваю скромный, но дорогой сердцу городок, в котором вы, так сказать, впервые увидели свет. Этот город был свидетелем ваших младенческих игр; он любовался вами, когда вы, под руководством маститого вашего родителя, неопытным юношей робко вступили на поприще яичного производства, и потом с любовью следил, как в сердце вашем, всегда открытом для всего доброго, постепенно созревали семена благочестия и любви к постройке колоколен и церквей (при этих словах Захар Иваныч и Матрена Ивановна

набожно перекрестились, а один из тайных советников потянулся к амфитриону и подставил ему свою голую и до скользкости выбритую щеку). И вот теперь, когда родитель ваш уже скончался ("царство небесное!" – шепчет Матрена Ивановна), родной город может засвидетельствовать, что ваше яичное производство не только не уменьшилось, но распорядительностью вашею доведено до размеров, дотоле не слышанных.

Исполать вам, Захар Иваныч! ибо надобно знать, что такое яйцо и какую роль оно играет в жизни человеческих обществ; надобно собственным опытом убедиться, как этот продукт хрупок и каким опасностям он подвергается при перемещениях, чтоб вполне оценить вашу заслугу перед отечеством. Если б приказчики ваши не разъезжали круглый год по деревням нашим, то крестьянин, этот первый производитель яйца, – куда бы, спрашивается, он девался с ним? А с другой стороны, если б вы, ценою неустанных трудов, не переместили яйца из деревни в столицу, каким бы другим равносильным продуктом мог заменить его житель последней? Таким образом, освобождая жителя деревни от продукта, который представляет для него ценность лишь потолкику, поколику он служит подспорьем для исправной уплаты податей, вы снабжаете оным жителя столицы, который любит

яйцо уже ради яйца и ценит оно, потому что понимает в нем толк. Но этого мало! К яичному производству вы постепенно присоединили производство курятное, а ежели подойдет хороший случай, то не возбраняете себе и скромные операции коровьим маслом. Я знаю, Захар Иваныч, что все эти операции вы производите при содействии любезнейшей супруги вашей, Зои Филиппьевны, и почтеннейшей вашей сестрицы, Матрены Ивановны (Матрена Ивановна крестится – и говорит тайным советникам: кушайте, батюшки!), но это приносит лишь честь вашей коммерческой прозорливости и показывает, как глубоко вы поняли смысл старинной латинской пословицы: *Concordia res parvae crescunt*,¹⁵⁷ а без конкордии и *magnae res dilabuntur*.¹⁵⁸ Поэтому, поздравляя вас с днем ангела, мы поступим вполне согласно с обстоятельствами дела (тайные советники, заслушав этот достолюбезный оборот речи, кивают головами), ежели в этом поздравлении соединим наш сердечный привет и верным сообщницам вашим на поприще яичного и курятного производства. Захар Иваныч! Зоя Филиппьевна! за вас поднимаю бокал мой! Плодитесь! Плодитесь смело и беззаботно, ибо в размножении купеческих детей заключается существеннейшее назначение Краснохолмского

¹⁵⁷ при согласии удаются и малые дела

¹⁵⁸ великие дела разрушаются

1-й гильдии купца! Вы же, милая Матрена Ивановна, яко добрая сестра и будущая тетка, старайтесь, и не имея собственного плода, проводить время с пользой!

Я на минуту остановился, и мы начали целоваться. Сознаюсь откровенно, самым вкусным мне показался поцелуй Зои Филипьевны, а самыми невкусными и даже противными – поцелуи тайных советников, у которых, от старости, и губы как будто изныли, а вместо них остался тонкий рубец, тщательно подбритый снизу и сверху. Когда же обряд целованья кончился, я продолжал:

– Но я не выполнил бы своей задачи, если б, ввиду настоящего умилительного торжества, не упомянул и о другой, вечно присущей сердцам нашим, имениннице – о нашей дорогой, далекой родине. Я не буду говорить здесь о благодеяниях, которые она щедрою рукою изливает на нас: мы все, здесь присутствующие, слишком явственно испытываем на себе выражение этих благодеяний. Одних из нас она произвела в тайные советники; другим в перспективе показывает звание коммерции советника, а в ожидании такового предоставляет пользоваться правами 1-й гильдии купца; перед третьими раскрывает тайны латинской грамматики; наконец, дам наделяет скромностью и свойственными женскому полу украшениями. Но не

забудем, что ежели, с одной стороны, отечество простирает над нами благодоющую руку свою, то, с другой стороны, оно делает это не беспошлинно, но под условием, чтоб мы повиновались начальству и любили оное. Ибо, в сущности, что такое отечество, Захар Иваныч (Захар Иваныч оттопыривает губы)? Отечество, Захар Иваныч, это есть известная территория, в которой мы, по снабжении себя надлежащими паспортами, имеем местожительство. Вот что такое отечество. Но я не могу скрыть от вас, Захар Иваныч, что территория, о которой я говорю, нередко изменяет свои очертания, отчасти вследствие военных удач или неудач, отчасти же вследствие дипломатических договоров и конвенций Так, до 1871 года, Страсбург был французским отечеством, ныне же, вследствие парижского договора, он сделался немецким отечеством. Подобно сему, Измаил долгое время состоял нашим отечеством, потом перестал быть оным, а ныне опять сделался таковым. Кто знает, быть может, со временем мы увидим мервских исправников, подобно тому как уже видим исправников карских, батумских ¹⁶ и иных? Благодаря этим изменяемостям, любовь к отечеству приобретает несколько абстрактный характер, вследствие чего многие, при упоминании об отечестве, только оттопыривают губы. И вот, для того чтоб мы не оттопыривали губ, но понима-

ли этот предмет во всей его ясности, нам предлагается начальство. Начальство, Захар Иваныч, есть нечто уже совершенно определенное, имеющее границы явственные и непререкаемые: от коллежского регистратора до действительного тайного советника включительно. И в этих границах мы всем должны повиноваться и всех любить. Конечно, горьконько бывает повиноваться коллежским регистраторам, но горечь эта несомненно и с избытком уравнивается сладостью повиновения тайным и действительным тайным советникам...

Я опять прерываю на минуту речь, но на этот раз не по собственному движению, а потому, что тайные советники, возгордившись похвалой, обходят присутствующих и всем по очереди подставляют свои скользкие щеки для наложения поцелуя. Наконец движение прекращается, и я продолжаю:

– Но практика, Захар Иваныч, представляет нам по временам примеры поразительнейших заблуждений. Большинство людей охотно и горячо любит отечество даже в том случае, когда не может с точностью определить его границ: любит и с Измаилом и без Измаила, и с Батумом и без оногo. Напротив того, очень немногие возвышаются до страсти к начальству. Очень возможно, что это происходит оттого, что отечество никогда не обременяет нас предписаниями,

тогда как начальство не может шагу ступить без таких; но возможно также, что тут есть и другая причина, а именно: отечество называет нас просто детьми, начальство же к этому нередко присовокупляет: "курицыными". Я думаю, однако ж, что это только недоразумение, и, одобряя любовь к отечеству с Измаилом и без оногo, никак не могу одобрить тех, которые в сердце своем рассматривают отечество отдельно от начальства. Начальство, Захар Иваныч, это продукт отечества, отечество же, в свою очередь, продукт начальства. Одно немислимо без другого, другое немислимо без одного – вот я как это дело понимаю. Одним словом начальство и отечество – это... вот (я вкладываю пальцы одной руки промежду пальцев другой руки и Делаю вид, что никак не могу растащить)! И ежели я сейчас сказал, что отечество производит одних из нас в тайные советники, а другим обещает в перспективе звание коммерции советников, то сказал это в переносном смысле, имея в виду, что отечество все эти операции производит не само собой (что было бы превышением власти), но при посредстве естественного своего органа, то есть начальства.

Захар Иваныч, ввиду вторичного упоминования о перспективе коммерции советника, не выдерживает и кричит: шампанского! Остальные подхватывают и троекратно провозглашают: ура!

– Тем не менее я убежден, что шероховатости и недоразумения, о которых я сейчас упоминал, суть не что иное, как горький плод слабого человеческого естества. Вся штука в том, Захар Иванович, что человек слаб, и так как эта слабость произвольная, то мы не имеем права не принимать ее в расчет при оценке человеческих действий. Но, кроме того, мы не должны забывать, что бывают минуты в жизни народов, когда действия начальствующих лиц приобретают как бы нарочито изнурительный характер, и что именно в эти-то минуты подначальный человек и отыскивает в себе охоту прегрешать. Все это, разумеется, может и даже должно в значительной мере служить оправданием для невинно павшего; но... Но в том-то и дело, Захар Иванович, что у всякой штуки всегда имеется в запасе еще две штуки, не одна, а именно две, и притом диаметрально противоположные. Так что если, с одной стороны, мы не имеем права не принимать в соображение смягчающих обстоятельств, то, с другой стороны, обязываемся не упускать из вида и того, что провидение, усеивая наш жизненный путь спасительными искушениями, в то же время приходит к нам на выручку с двумя прекраснейшими своими дарами. Первый из этих даров есть твердость в действиях; второй – раскаяние, сопровождаемое испрошением прощения. О первом распространяться не буду,

ибо оно достаточно известно всем здесь присутствующим; что же касается до второго, то дар сей практически может быть формулирован так: люби кататься, люби и саночки возить. Я уверен, что каждый из нас, ежели только он искренно вникнет в смысл этой формулы, найдет, что в ней не только нет ничего обременительного, но что, напротив, она во многом развязывает нам руки. Что стоит сказать: пардоне – формально ничего! а между тем едва вы произнесли это слово, как уже все забыто! Одно слово – только одно слово, Захар Иваныч! – и какие безграничные перспективы открываются перед нами! Не знаю, как вы, Захар Иваныч, но если очередь прегрешать дошла до меня, то я, выполнив это невольный долг, налагаемый на меня природою, непременно сказал бы: пардоне! А потом и опять бы своевременно прегрешил, и опять – пардоне! И делал бы я это тем охотнее, что, в сущности, куда бы я ни обернулся, куда бы ни пытался уйти – нигде от начальства спрятаться не могу. Везде оно меня отыщет и покарает; и следовательно, ежели я могу отвертеться от него с помощью коротенького "пардоне" – ужели же я не воспользуюсь этим? Итак, поднимем бокалы наши! И пусть те, которые чувствуют себя прегрешившими, из глубины сердец воскликнут: пардоне! – и затем пусть вновь на здоровье прегрешают!

Речь моя произвела потрясающее действие. Но в

первую минуту не было ни криков, ни волнения; напротив, все сидели молча, словно подавленные. Тайные советники жевали и, может быть, надеялись, что сейчас сызнова обедать начнут; Матрена Ивановна крестилась; у Федора Сергеича глаза были полны слез; у Капитолины Егоровны покраснел кончик носа. Захар Иваныч первый положил конец молчанию, сказав:

– Пардоне – и шабаш! Ну, парень, прошиб ты меня! Поцелуемся!

Слова эти послужили сигналом для наплыва чувств. Федор Сергеич бросился ко мне и, обнимая, прерывающимся голосом говорил:

– Вы облегчили... вы сняли бремя с души... Ах, если б вы знали, как я измучился! Капочка! милая!

В ответ на этот крик сердца Капитолина Егоровна улыбнулась сквозь слезы и сказала:

– Что ж, ежели все... попробуй, мой друг!

А Захар Иваныч присовокупил:

– Валяй!

Словом сказать, все произошло точь-в-точь, как я предвидел.

* * *

И вот, как бы в ответ на совершенный нами подвиг

смирения и добра, вечером того же дня произошло чудо.

Старосмыслов получил прогоны...¹⁷

Он получил их при любезном письме от самого Пафнутьева, который, в согласность с полученными начальственными предписаниями, просил забыть его недавние консервативные неистовства и иметь в виду одно: что отныне на всем лице России не найдется более надежного либерала, как он, Пафнутьев. Но в иллюзии все-таки убеждал не верить.

Одним словом, как-то так случилось, что не Старосмыслову пришлось раскаиваться, а раскаялся сам Пафнутьев.

Я считаю излишним описывать радостный переполох, который это известие произвело в нашей маленькой колонии. Но для меня лично к этой радости примешивалась и частичка горя, потому что на другой же день и Блохины и Старосмысловы уехали обратно в Россию. И я опять остался один на один с мучительною думою: кого-то еще пошлет бог, кто поможет мне размыкать одиночество среди этой битком набитой людьми пустыни...

VI

Главное, чего русский гулящий человек должен всего больше опасаться за границей, – это одиночества и в особенности продолжительного. Одиночество дает человеку поблажку мыслить – вот в чем беда. Мыслить, то есть припоминать, ставить вопросы, а буде не пропала совесть, то чувствовать и уколы стыда. Так что в результате непременно получится какое-то гложущее уныние. Это уныние приведет к нулю всю работу мысли; оно парализирует возможные решения, закроет возможные перспективы и будет лишь безнадежно раздражать до тех пор, покада счастливый случай не подвернет под руку Краснохолмского купца или всероссийского бесшабашного советника. Или, говоря другими словами, покада пустяки и праздное мелькание вновь не займут той первенствующей роли, которая, по преданию, им принадлежит.

Но для того, чтобы сделать мою мысль по возможности ясною, считаю нелишним сказать несколько слов о пустяках.

В среде, где нет ни подлинного дела, ни подлинной уверенности в завтрашнем дне, пустяки играют громадную роль.¹ Это единственный ресурс, к которому

прибегает человек, чтоб не задохнуться окончательно, и в то же время это легчайшая форма жизни, так как все проявления ее заключаются в непрерывном маятном движении от одного предмета к другому, без плана, без очереди, по мере того как они сами собой выплывают из бездны случайностей!

Предаваясь этому движению, человек совершает простую обрядность, не только не требующую помощи мыслящей силы, но даже идущую прямо для мысли. Подавленная, целой массой случайных подробностей, мысль прячется, глохнет, а ежели, от времени до времени, и настает для нее минуты пробуждения, то она не помогает, не выводит на дорогу, а только мучительно раздражает. Она ставит вопросы, взбудораживает совесть, но в то же время постыдно ослабевает перед всякой серьезной работой разъяснения. Вопросы остаются обнаженными, в том зачаточном виде, в каком они возникли; совесть бесконечно ноет – только и всего. Даже компромиссов не является, на которых, хоть с грехом пополам, можно было бы примириться. Одно желание: уйти, забыть, на все махнуть рукой...

Повторяю: при таких условиях одиночество лишает человека последнего ресурса, который дает ему возможность заявлять о своей живучести. Потребность усчитать самого себя, которая при этом является, приводит за собой не работу мысли в прямом значении

этого слова, а лишь безнадежное вращение в пустоте, вращение, сопровождаемое всякого рода трусостями, отступничествами, малодушиями.

Плод жизни, в основе которой лежат одни пустяки, – пустота, и эта пустота только пустяками же и может быть наполнена. Вопросы встают, но внушают болезненный страх; воспоминания плывут навстречу, но вызывают отчаяние; совесть пробуждается, но переходит в смуту. В силу какого-то ужасного предания, ничто не задерживает мысли, не вызывает ее на правильную работу. Остаются – пустяки. Они представляют собой жизненный фонд, естественное продолжение всего прошлого, начиная с пеленок и кончая последнею, только что прожитою минутой, когда с языка сорвалось – именно сорвалось, а не сказалось – последнее пустое слово. В одних пустяках человек ощущает себя вполне легко; перед ними одними он не чувствует надобности трусить, лицемерить, оглядываться в страхе по сторонам. Пустяки представляют подавляющую силу именно в том смысле, что убивают в человеке способность интересоваться чем бы то ни было, кроме самого низменного бездельничества. Является неудержимая потребность потонуть в пустяках, развеять жизнь по ветру, существовать со дня на день, слоняться от одного предмета к другому, ни во что не углубляясь...

Понятно, что там, где жизнь слагается под бременем массы пустяков, никакие твердые общественные устои не могут быть мыслимы. Те редкие проблески энергии, которые по временам пробиваются наружу, и они приобретают какие-то чудовищные, противочеловеческие формы. Причина простая: в кисельных берегах никакое истинно жизненное течение удержаться не может. Когда жизнь растекается и загнивает, то понятно, что случайные вспышки энергии могут найти себе выход только или в изуверстве, или в презрении. Ничего не жаль, нечего и некого воззвать к деятельности. Над всем опочила плесень веков; все потонуло в безразличной бездне, даже не отведав от плода жизни. Возможна ли, при подобных условиях, иная деятельность, кроме такой, которая ничего другого не приносит, исключая личного самомнения, ненависти и презрения?

Кто, не всуе носящий имя человека, не испытал священных экзальтации мысли? кто мысленно не обнимал человечества, не жил одной с ним жизнью? Кто не метался, не изнемогал, чувствуя, как существо его загорается под наплывом сладчайших душевных упоений? Кто хоть раз, в долгий или короткий период своего существования, не обрекал себя на служение добру и истине? И кто не пробуждался, среди этих упоений, под окрик: цыц... вредный мечтатель!

Мы, сходящие с жизненной сцены старики, мы настолько уже отдалены от упоений мысли, что с трудом можем воспроизвести даже внешние признаки их. Поэтому и бездна, лежащая между упоением и пробуждающим его (криком, не заставляет нас метаться от боли. Но несомненно, что и мы в свое время испытали все фазисы этих упоений. Однако ж пришли пустяки и заволкли их. Каким образом заволкли? – мы даже последовательности этого процесса теперь наметить не можем. Мы можем только сказать: заволкли, и затем, как бы под гнетом глубокой обиды, поспешить уйти от случайно выплывающих воспоминаний. Но, клянусь, даже и теперь становится жутко, когда спросишь себя: ужели с такою же легкостью пустяки заволкут и тех, которые призваны сменить нас?

Как бы то ни было, но для нас, мужей совета и опыта, пустяки составляют тот средний жизненный уровень, которому мы фаталистически подчиняемся. Я не говорю, что тут есть сознательное "примирение", но в существовании "подчинения" сомневаться не могу. И благо нам. Пустяки служат для нас оправданием в глазах сердцеведцев; они представляют собой нечто равносильное патенту на жизнь, и в то же время настолько одурманивают совесть, что избавляют от необходимости ненавидеть или презирать...

Счастливыцы!!

Тоска настигла меня немедленно, как только Блохины и Старосмысловы оставили Париж. Воротившись с проводин, я ощутил такое глубокое одиночество, такую неслыханную наготу, что чуть было сейчас же не послал в русский ресторан за бесшабашными советниками. Однако на этот раз воздержался. Во-первых, вспомнил, что я уж больше трех недель по Парижу толкаюсь, а ничего еще порядком не видал; во-вторых, меня вдруг озарила самонадеянная мысль: а что, ежели я и независимо от бесшабашных советников сумею просуществовать?

Целых два дня я бился, упорствуя в своей решимости, и скажу прямо: это были одни из мучительнейших дней своей жизни. Вся беда в том, что я сейчас же принялся мыслить. Начал с того, что побывал на берегах Пинег и на берегах Вилюя, задал себе вопрос: ужели есть такая нужда, которая может загнать человека в эти волшебные места? ² – и ничего на вопрос не ответил. Потом, тут же сряду, спросил себя: а что, если б Старосмыслова не на шутку... сначала на конях, затем на оленях, наконец на собаках... а? – и опять ничего не ответил. По сцеплению идей, с бе-

регов Пинеги и Вилюя я перенесся на берега Невы и заглянул в квартиру современного русского либерала. Увы! он сидел у себя в кабинете один, всеми оставленный (ибо прочие либералы тоже сидели, каждый в своем углу, в ожидании возмездия), и тревожно прислушивался, как бы выжидая: вот-вот звякнет в передней колокольчик. Лицо его заметно осунулось и выцвело против того, как я видел его месяц тому назад, но губы все еще по привычке шептали: в надежде славы и добра...³ И куда это он все приглашает? на что надеется? Или это такая уж скверная привычка: шептать, надеяться, приглашать? удивился я про себя и опять ничего не ответил. От либерала мысленно зашел на квартиру консерватора и застал там целое собрание. Шумели, пили водку, потирали руки, проектировали меры по части упразднения человеческого рода, писали вопросные пункты, проклинали совесть, правду, честь, проливали веселые крокодиловы слезы... Должно быть, случилось что-нибудь ужасное — ишь ведь как гады закопошились! Быть может, осуществился какой-нибудь новый акт противочеловеческого изуверства⁴, который дал *гадам* радостный повод для своекорыстных обобщений? Все это мелькнуло у меня в голове, мелькнуло и заплыло без ответа. Затем я направился в курную избу самарского мужика, но тут, даже не формулировавши вопроса,

без оглядки побежал дальше. Углубился в историю, вспоминал про Ермака, подарившего России Сибирь, про новгородскую вольницу, отыскавшую Вятку, Соликамск, Чердынь, Пермь; про Ченслера, указавшего путь к устьям Северной Двины, воскликнул: эк вас угораздило! и до такой степени оставил это восклицание без последствий, что даже и теперь не могу обстоятельно объяснить, каким образом и зачем оно у меня сложилось.

Одним словом, ширял сизым орлом по поднебесью⁵, рыскал серым волком по земле и даже растекался мыслью по древу. Совсем как во сне. Отчего я ни на одном вопросе не остановился, ни на один не дал ответа? я и на этот вопрос ответить не могу. Может быть, потому, что мысль, атрофированная продолжительным бездействием, вообще утратила цепкость; но, может быть, и потому, что затронутая мною материя представляла нечто до того обыденное, что и вопросы и ответы по ее поводу предполагаются фаталистически начертанными в человеческом сердце и, следовательно, одинаково праздными. Но то, чтоб не было ответов, но не было потребности ни отыскивать, ни формулировать их...

Несколько настойчивее и как будто определеннее останавливался я на вопросе о сердцеведцах и сердцеведении; но и тут, едва доходило дело до живого

мяса, как мысль моя сейчас же впадала в позорное двоегласие.

Вопрос о содержании сердец во всегдашней готовности для прочтения – один из самых мучительных в нашей жизни. И я полагаю, что потому именно он так обострился у нас, что нигде в целом мире не найдется такой массы глупых людей, для которых весь кодекс политической благонадежности выразился в словах: что ж, если у меня душа чиста – милости просим! Да и не только за себя таким образом говорят эти глупцы, но и к посторонним людям обращаются: "Ведь у вас, господа, души чистые: отчего же не одолжить их для прочтения?.." Ах, срам какой!

Хуже всего то, что, наслушавшись этих приглашений, а еще больше насмотревшись на их осуществление, и сам мало-помалу привыкаешь к ним. Сначала скажешь себе: а что, в самом деле, ведь нельзя же в благоустроенном обществе без сердцеведцев! Ведь это в своем роде необходимость... печальная, но все-таки необходимость! А потом, помаленьку да полегоньку, и свое собственное сердце начнешь с таким расчетом располагать, чтоб оно во всякое время представляло открытую книгу: смотри и читай!

Приливы предупредительно-пресекающего энтузиазма, во время которых сердце человеческое, так сказать, само собой летит навстречу околоточному,

до такой степени вошли в наши нравы, что сделались одною из самых обыкновенных обрядностей нашего существования. Мы так мало верим в себя, что даже не пытаемся искать защиты в самих себе, а прямо вопием: господа сердцеведцы! милости просим! Очевидно, мы сами в этом контроле видим единственное средство обелить себя не только в глазах любопытствующих, но и в своих собственных...

Само собой разумеется, что я лично ничего против приливов этого рода не имею. Напротив того, я в этом случае даже привередлив: сам и страницы помогаю перевертывать, потому что ведь у него, у сердцеведца, пальцы-то черт знает в чем перепачканы... Но, говоря по совести, все-таки не могу скрыть, что любители подобного чтения подчас бывают очень для подлежащего прочтению человека неприятны. Причина тому простая: в человеческом сердце не одни дела до благоустройства и благочиния относящиеся, написаны, но есть кое-что и другое. И вот когда начинают добираться до этого "другого", то, по мнению моему, это уже представляется равносильным вторжению в район чужого ведомства. Все равно как при обыске или прочтении писем частных лиц. Я знаю, конечно, что ежели у меня "искомого" ничего нет, то и опасаться мне нечего; но, к сожалению, кроме "искомого", у меня может оказаться и нечто "неискомое". Это

"неискомое" я имел слабость считать своею личною неприкосновенною тайностью, и вдруг на него глянул глазок-смотрок. "Помнишь ли, милый друг, как ты, как я..." – кажется, в этом ничего нет "искомого"? А между тем когда это "неискомое" делается обретенным, то чувствуется ужасная, почти несносная неловкость. Сначала думается: "вот оно какое дело случилось!", а потом думается и еще: "эх, руки-то коротки!.." Право, с ума сойти можно... И сходят.

Не знаю, может быть, меня упрекнут, что, рассуждая таким образом, я обнаруживаю крайнюю неспособность держаться на высоте положения. Виноват, действительно, этой способности во мне нет. Будь у меня она, я стоял бы себе да постаивал на высоте положения – и горюшка мало! Но раз что высоты для меня недоступны я поневоле отношусь скептически к полезным свойствам сердцеведения. И потому, когда замечаю, что большинство сердцеведов не только смешивает "искомое" с "неискомым", но даже сопровождает подобные смешения веселыми прибаутками, то эти последние нимало не кажутся мне восхитительными. Иной, например, сразу видит, что читать нечего, но заметит где-нибудь в уголке: "Помнишь ли, как ты, как я..." – и вцепится. А бывают и такие, что прежде всего норовят отыскать, не написано ли где: "Извлечение из высочайшего манифеста о кредитных биле-

тах", и как только отыщет, так сейчас: "эти страницы я уж у себя на дому прочту-с..."

Неужто это резон?

Вот почему иногда и думается: не лучше ли было бы, если б в виде опыта право читать в сердцах было заменено правом ожидать поступков... Но тут же сряду представляется и другое соображение: иной ведь, пожалуй, так изловчится, что и никогда от него никаких поступков не увидишь... неужто ж так-таки и ждать до скончания веков?

Нет, воля ваша, а это тоже не резон.

Или возьмем другой пример того же порядка. Многие публицисты пишут: ежели-де на песчаном морском берегу случай просыпал коробку с иголками, то нужно-де эти иголки все до одной разыскать, хотя бы для этого пришлось взбудоражить весь берег...

Многие, однако ж, полагают, что это не резон.

Но, с другой стороны, как размыслишь, да к тому же еще и с околоточным переговоришь, то представляется и такое соображение: иголки имеют свойство вписаться, причинять общее беспокойство и т. д. – неужто же так-таки и оставить их без разыскания?

Нет, как хотите, и это не резон.

Резон – не резон; не резон – и опять резон. Вот во-круг этих-то бесплодных терминов и вертится жизнь, как белка в колесе.

В сей крайности, мне кажется, самое лучшее: отложив всякое попечение, сидеть и молчать. Только и тут опять беда: пожалуй, молчавши, измучаешься!

Слово – серебро, молчание – золото; так гласит стародавняя мудрость. Не потому молчание приравнивается злату, чтоб оно представляло невесть какую драгоценность, а потому что, при известных условиях, другого, более правильного, выхода нет. Когда на сцену выступает практическое сердцеведение, то я, прежде всего, рассуждаю так: вероятно, в данную минуту обстоятельства так сложились, что без этого обойтись невозможно. Но в то же время не могу же я заглушить в своем сердце голос той высшей человеческой правды, который удостоверяет, что подобные условия жизни ни нормальными, ни легко переживаемыми назвать не приходится. И вот, когда очутишься между двумя такими голосами, из которых один говорит: "правильно!", а другой: "правильно, черт возьми, но несносно!", вот тогда-то и приходит на ум: а что, ежели я до времени помолчу! И помолчу, потому что и без меня охотников говорить достаточно...

Тяжелое наступило ныне время, господа: время отравления особого рода ядом, который я назову *газетным*. Ах, какое это неслыханное мучение, когда газетные трихины играть начинают! Ползают, суматошатся, впиваются, ссыскивают, точат. Наглотаешься

с утра этого яду, и потом целый день как отравленный ходишь...

Какой же, однако, выход из этого лабиринта двоесловий? Неужто только один и есть: помолчу?

.....

Но положение мое ухудшилось еще больше, когда, наскучив бесплодным пребыванием в мире конкретностей, я самонадеянно попытался сизым орлом взлететь в сферу отвлеченностей. В старину я делывал подобные полеты нередко. Вместе с прочими сверстниками я охотно баловал себя экскурсиями в ту область, где предполагается «невидимых вещей обличение», и, помнится, экскурсии эти доставляли мне живейшее удовольствие. Не скажу, чтоб я видел эту область вполне отчетливо, но, во всяком случае, созерцание ее возбуждало во мне не страх, а положительно сладостное чувство. Вообще тогда жилось дерзновеннее (я, конечно, имею в виду только себя и своих сверстников), хотя не могу не сознаться, что основной жизненный фонд все-таки был поражен непоследовательностью, граничащей с легкомыслием. Две жизни шли рядом: одна, так сказать, *pro domo*,¹⁵⁹ другая – страха ради иудейска, то есть

¹⁵⁹ для себя

в форме оправдательного документа перед начальством. Сидишь, бывало, дома и всем существом, так сказать, уходишь в область «невидимых вещей обличения». И вдруг бьет урочный час – беги в канцелярию. Надел штаны, вицмундир, и через четверть часа находишься уж совсем в другой области – в области «видимых вещей утверждения». Естественно, и там и тут – вопросы совсем разные. В первой области – вопрос о том, позади ли нужно искать золотого века или впереди; во второй – вопрос об устройстве золотых веков при помощи губернских правлений и управ благочиния, на точном основании изданных на сей предмет узаконений. Посидишь, поскребешь пером, смотришь, опять бьет урочный час. Снова бежишь домой, переменяешь штаны, надеваешь сюртук или халат и опять попадаешь в область «невидимых вещей обличения». Так и прошла молодость...

Нынешнему поколению может показаться не совсем складною эта беготня из одной области в другую, но тогда – жилось и неловкостей не ощущалось.

И вот теперь, спустя много-много лет, благодаря случайному одиночеству, точно струя молодости на меня хлынула. Дай, думаю, побегаю, как в старину бывало.

Однако бегать не привелось, ибо как ни ходкоплыли навстречу молодые воспоминания, а все-таки при-

шлось убедиться, что и ноги не те, и кровь в жилах не та. Да и вопросы, которые принесли эти воспоминания... уж, право, не знаю, как и назвать их. Одни, более снисходительные, называют их несвоевременными, другие, несомненно злобные, – прямо вредными. Что же касается лично до меня... А впрочем, судите сами.

Вопрос первый: утешает ли история? Лет сорок тому назад – я знаю это наверное – я, по сущей правде, ответил бы: да, утешает. А нынче, что я скажу? Ведь я даже мыслить принципиально, без вводных примесей, разучился. Начну с мрака времен и, только что забрезжит свет, сейчас наткнусь либо на Пинегу с Вилюем, либо на устав о пресечении, да тут и загрязну. Именно это самое и теперь случилось. Едва выглянул на меня вопрос, едва приступил я к его расчленению, как вдруг откуда ни взялся генерал-майор Отчаянный и так сверкнул очами, что я сразу опешил. Нет, уж лучше я завтра... – смущенно ответил я сам себе и в ту же минуту поспешил с таким расчетом юркнуть, чтоб и ушей моих не было видно.

Вопрос второй: можно ли жить с народом, опираясь на оный? Сорок лет тому назад я наверное ответил бы: не только можно, но иначе и жить нельзя. Нынче... Только что начну я рассказывать и доказывать "от принципа", что человеческая деятельность, вне сфе-

ры народа, беспредметна и бессмысленна, как вдруг во всем моем существе "шкура" заговорит. Выглянут молодцы из Охотного ряда, сотрудники с Сенной площади⁶ и, наконец, целая масса аферистов-бандитов, вроде Наполеона III, который ведь тоже возглашал: tout pour le peuple et par le peuple...¹⁶⁰ И, разумеется, в заключение: Нет, уж лучше я завтра...

Вопрос третий: можно ли жить такую жизнью, при которой полагается есть пирог с грибами исключительно затем, чтоб держать язык за зубами? Сорок лет тому назад я опять-таки наверное ответил бы: нет, так жить нельзя. А теперь? – теперь: нет, уж я лучше завтра...

Словом сказать, на целую уйму вопросов пытался я дать ответы, но увы! ни конкретности, ни отвлеченности – ничто не будило обессилевшей мысли. Мучился я, мучился, и чуть было не крикнул: водки! но, к счастью, в Париже этот напиток не столь общедоступный, чтоб можно было, по произволению, утешаться им...

Так я и лег спать, вынеси из двухдневной тоски одну истину: что, при известных условиях жизни, запой должен быть рассматриваем не столько с точки зрения порочности воли, сколько в смысле неудержимой

¹⁶⁰ все для народа и через народ

потребности огорченной души...

Мой сон был тревожный, больной. Сначала мерещились какие-то лишенные связи обрывки, но мало-помалу образовалось нечто связанное, целый colloquium,¹⁶¹ героиней которого была... свинья! Однако ж этот colloquium настолько любопытен, что я считаю нелишним поделиться им с читателем, в том виде, в каком сохранила моя память.

ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ СВИНЬЯ,⁷ ИЛИ РАЗГОВОР СВИНЬИ С ПРАВДОЮ *Прерванная сцена*

Действующие лица:

Свинья, разъявшееся животное; щетина ощерилась и блестит вследствие непрерывного обхождения с хлевной жидкостью.

Правда, особа, которой, по штату, полагается быть вечно юною, но уже изрядно побитая. Прикрыта, по распоряжению начальства, лохмотьями, сквозь которые просвечивает классический полный мундир, то есть нагота.

Действие происходит в хлеву.

Свинья (*кобенится*). Правда ли, сказывают, на небе-де солнышко светит?

Правда. Правда, свинья.

Свинья. Так ли, полно? Никаких я солнцев, живучи

в хлеву, словно не видывала?

Правда. Это оттого, свинья, что когда природа создавала тебя, то, создавая, приговаривала: не видать тебе, свинья, солнца красного!

Свинья. Ой ли? *(Авторитетно.)* А по-моему, так все эти солнцы – одно лжеучение... ась?

Правда безмолвствует и сконфуженно поправляет лохмотья. В публике раздаются голоса: правда твоя, свинья! лжеучения! лжеучения!

Свинья *(продолжает кобениться).* Правда ли, будто в газетах печатают: свобода-де есть драгоценнейшее достояние человеческих обществ?

Правда. Правда, свинья.

Свинья. А по-моему, так и без того у нас свободы по горло. Вот я безотлучно в хлеву живу – и горюшка мало! Что мне! Хочу – рылом в корыто уткнусь, хочу – в навозе кувыркаюсь... какой еще свободы нужно! *(Авторитетно.)* Изменники вы, как я на вас погляжу... ась?

Правда *(вновь старается прикрыть наготу.* Публика гогочет: правда твоя, свинья! Изменники! изменники! Некоторые из публики требуют, чтоб Правду отвели в участок. Свинья самодовольно хрюкает, сознавая себя на высоте положения.

Свинья. Зачем отводить в участок? Ведь там для проформы подержат, да и опять выпустят. *(Ложится в*

навоз и впадает в сантиментальность.) Ах, нынче и участковые одним языком с фельетонистами говорят! Намеднись я в одной газете вычитала: оттого-де у нас слабо, что законы только для проформы пишутся...

Правда. Так ты и читаешь, свинья?

Свинья. Почитываю. Только понимаю не так, как написано... Как хочу, так и понимаю!.. *(К публике.)* Так вот что, други! в участок мы ее не отправим, а своими средствами... Сыскивать ее станем... сегодня вопросец зададим, а завтра – два... *(Задумывается.)* Сразу не покончим, а постепенно чавкать будем... *(Сопя, подходит к Правде, хватает ее за икру и начинает чавкать.)* Вот так!

Правда *(пожимается от боли; публика грохочет. Раздаются возгласы: ай да свинья! вот так затейница!*

Свинья. Что? сладко? Ну, будет с тебя! *(Перестает чавкать.)* Теперь сказывай: где корень зла?

Правда *(растерянно).* Корень зла, свинья? корень зла... корень зла... *(Решительно и неожиданно для самой себя.)* В тебе, свинья!

Свинья *(рассердилась).* А! так ты вот как поговариваешь! Ну, теперь только держись! Правда ли, сказывала ты: общечеловеческая-де правда против околоточно-участковой не в пример превосходнее?

Правда *(стараясь изловчиться).* Хотя при извест-

ных условиях жизни, невозможно отвергать...

Свинья. Нет, ты хвостом-то не верти! Мы эти момо-то слыхивали! Сказывай прямо: точно ли, по мнению твоему, есть какая-то особенная правда, которая против околоточной превосходнее?

Правда. Ах, свинья, как изменнически подло.

Свинья. Ладно; об этом мы после поговорим. *(Наступает плотнее и плотнее.)* Сказывай дальше. Правда ли, что ты говорила: законы-де одинаково всех должны обеспечивать, потому-де что, в противном случае, человеческое общество превратится в хаотический сброд враждующих элементов... Об каких это законах ты говорила? По какому поводу и кому в поучение, сударыня, разглагольствовала? ась?

Правда. Ах, свинья!

Свинья. Нечего мне «свиньей»-то в рыло тыкать. Знаю я и сама, что свинья. Я – Свинья, а ты – Правда... *(Хрюканье свиньи звучит иронией.)* А ну-тко, свинья, положи-ка правду! *(Начинает чавкать. К публике.)* Любо, что ли, молодцы?

Правда корчится от боли. Публика приходит в неистовство. Слышится со всех сторон: Любо! Нажимай, свинья, нажимай! Гложи ее! чавкай! Ишь ведь, распостылая, еще разговаривать вздумала!

На этом colloquium был прерван. Далее я ничего

не мог разобрать, потому что в хлеву поднялся такой гвалт, что до слуха моего лишь смутно долетало: «правда ли, что в университете...», «правда ли, что на женских курсах...» В одно мгновение ока Правда была опутана целой сетью дурачки предательских подвохов, причем всякая попытка распутать эту сеть встречалась чавканьем свиньи и грохотом толпы: давай, братцы, ее своим судом судить... народным!!

Я лежал как скованный, в ожидании, что вот-вот сейчас и меня начнут чавкать. Я, который всю жизнь в легкомысленной самоуверенности повторял: бог не попустит, свинья не съест! – я вдруг во все горло зарорал: съест свинья! съест!

В эту минуту сильный стук в дверь заставил меня проснуться.

* * *

Стучалась хозяйка. Кто-то добрый человек проходил по лестнице и слышал мои стоны. Хозяйка прибежала испуганная – ей представилось, что от нечего делать я произвожу опыты самоубийства, – и, разумеется, очень обрадовалась, как узнала, что весь переполох произошел оттого, что мне приснилась свинья.

– Mais cela m'arrive tous les jours!¹⁶² – воскликнула она и сейчас же самым естественным образом объяснила это явление.

Дело в том, что меблированная квартира была как раз расположена над рынком Мадлены, и так как туда каждую ночь привозили транспорты свиней, то обстоятельство это не могло не действовать соответствующим образом на воображение квартирантов.

– В первое время, когда мы сняли наше заведение, это было очень тяжело, – добавила она, – я, впрочем, довольно скоро привыкла, но мой бедный муж чуть с ума не сошел. Однако теперь все пришло в порядок. Всякий день мы видим во сне каждый свою свинью, и это уж не смущает нас.

Тем не менее она ужасно изумилась, когда я, в свою очередь, объяснил ей, что нам видятся во сне совершенно различные свиньи: ей – такие, которых люди едят, а мне – такие, которые сами людей едят.

– У нас таких животных совсем не бывает, – сказала она, – но русские, действительно, довольно часто жалуются, что их посещают видения в этом роде... И знаете ли, что я заметила? – что это случается с ними преимущественно тогда, когда друзья, в кругу которых они проводили время, покидают их, и вследствие этого они временно остаются предоставленными самим

¹⁶² Но это со мной бывает каждый день!

себе.

Я должен был согласиться, что это правда. Одиночество вынуждает нас думать, а мы к думанью непривычны. Сообща мы еще можем как-нибудь проваландаться: в винт, что ли, засядем или в трактир закатимся, а как только останешься один, так и обступит тебя...

– Очень мы оробели, *chere madame*, – прибавил я. – Дома-то нас выворачивают-выворачивают – всё стараются, как бы лучше вышло. Выворотят наизнанку – нехорошо; налицо выворотят – еще хуже. Выворачивают да приговаривают: паче всего, вы не сомневайтесь! Ну, мы и не сомневаемся, а только всеминутно готовимся: вот сейчас опять выворачивать начнут!

– Но ведь, приехавши за границу, *mon cher monsieur*...

– И за границей тоже. Как набоишься дома, так и за границей небо с овчинку кажется. В ресторан придешь – гарсона боишься: какое вы, скажет, имели право меня не дельными заказами беспокоить? В музей придешь – думаешь: а что, если я ничего не смыслю? В библиотеку завернешь – думаешь: а ну как у меня язык сболтнет, дайте, мол, водевиль "Отец, каких мало" почитать, буде он цензурой не воспрещен! Так-то, *chere madame*! Взвесьте-ка все это, да и спросите себя по совести: можем ли мы другие сны видеть, кроме

самых, что называется, экстренных?

Признания мои, видимо, тронули добрую женщину. Глаза ее отуманились, и до слуха моего не раз долетало тихое, но глубоко прочувствованное: saperlotte!¹⁶³

– Единственное средство избавиться от видений, – продолжал я, – это вновь подыскать компанию, которая не давала бы думать. Слыхал я, будто в Париже за сходную цену собеседника нанять можно? Не знаете ли вы, chere madame?

Она задумалась на минуту, как бы ища в своих воспоминаниях.

– C'est Га j'ai votre affaire! – воскликнула она, хлопнув себя по ляжке. – Ah, vous serez bien, bien content mon cher monsieur! je ne vous dis que Га!¹⁶⁴

И точно: через полчаса она уже вновь стучалась в мою дверь, ведя за собой "собеседника".

– Le general Capotte!⁸ ¹⁶⁵ – отрекомендовала она пришельца и оставила нас вдвоем.

Передо мной стоял крупный, плечистый и сильный детина, достаточно пожилой (впоследствии оказалось, что ему 60 лет), но удивительно сохранив-

¹⁶³ черт возьми!

¹⁶⁴ Что ж, я устрою ваше дело!.. О, вы будете вполне, вполне довольны, мой дорогой господин! поверьте!

¹⁶⁵ Генерал Капотт!

шийся. В построении его тела замечалось, однако ж, нечто в высшей степени загадочное. Голова выдалась вперед, грудь – тоже, между тем как живот представлялся вдавленным и вся нижняя часть тела искусственно отброшенную назад. Руки выворочены, левая представляется устремленною, с выдавшимися указательным и третьим пальцами; правая – согнута в локте и как бы нечто держит в стиснутом кулаке. Ноги тоже изумительные: левая – держит позицию, правая – осталась позади и слегка приподнята. Где-то я видел подобные фигуры (впоследствии выяснилось, что на вывесках провинциальных трактиров). И лицо у него было знакомое, как бы специально приспособленное: белые хрящевидные щеки; один глаз прищурен и всматривается, другой – задумался; рот – перекосило. И в довершение загадочности на плечах – вицмундир ведомства народного просвещения.

Он молча подал мне карточку, на одной стороне которой значилось:

Jean-Marie-François-Archibald Capotte.

Conseiller d'Etat Actuel.

Ancien professeur de billard

,¹⁶⁶

А на другой:

¹⁶⁶ Жан-Мари-Франсуа-Аршибальд Капотт, действительный статский советник, бывший преподаватель игры на бильярде

Иван Архипович Капотт.

Действительный статский советник.

Педагог.

Карточка эта разом объясняла все загадочности телесного построения. Одно только сомнение представлялось уму: говорить ли ему «ваше превосходительство» или просто: Капотт? Несомненно, что в том кафе, при котором он состоит, в качестве всегда готового к услугам посетителей бильярдного партнера (за это он ежедневно получает от буфета одну котлету и две рюмки gorki), его зовут не иначе, как «general»; но почему-то мне показалось, что, по совести, он совсем не генерал, а прохвост. Мы, русские, на этот счет очень щекотливы. Охотно признавая заслуги, оказываемые государству отлично-усердным ведением входящих и исходящих регистров, мы подозрительным оком взираем на заслуги, приносимые бильярдной игрой, фехтованием и хореографическим искусством. Да ведь оно и в самом деле как будто странно. Сидишь, например, в балете, спрашиваешь соседа, а кто, мол, это сию минуту такое изумительное антраша отколол? – и вдруг ответ: это действительный статский советник Мариюс Петипа...

А в Париже это уж и совсем никуда не годится, ибо там даже Гамбетта не дослужился до действительно-го статского советника.

Как бы то ни было, но, взглянув еще раз на вывернутые Капоттовы ноги, я сразу порешил, что буду называть его просто: mon cher Capotte.¹⁶⁷

– Ну-с, mon cher Capotte, – начал я, – так вы изъявляете готовность быть моим собеседником... Какие же ваши условия?

Разумеется, он не сразу ответил мне, но предварительно начал лгать. Из слов его оказывалось, что все "знатные иностранцы" (конечно, из русских) непременно обращаются к нему. Ибо он не только приятный собеседник, но и муж совета. Все проекты, которыми "знатные иностранцы", воротившись из Парижа, радуют Россию, принадлежат ему, Капотту. Так, например, не очень давно князь Букиазба проект публиковал: как поступить с мужиком? – и выдал его за собственный, а, в сущности, главным руководителем в этом деле был Капотт.

– Князь даже совсем не того хотел, что потом вышло, – объяснил Капотт, – он думал, что мужика необходимо в кандалы заковать. Но я убедил его передать это дело на обсуждение в наше кафе – мы там всё демократы собираемся...

– Но и шпионы, Капотт?

– Гм... вы понимаете, что ежели в интересах истины необходимо...

¹⁶⁷ мой дорогой Капот

– Продолжайте, Капотт.

– И мы, по внимательном рассмотрении, решили: мужика расковать, а заковать интеллигенцию, препоручив молодцам из Охотного ряда иметь бдительнейший за нею надзор...

– Послушайте, Капотт! как вы, однако ж, чисто по-русски говорите!

Замечание это, видимо, ему польстило.

– О, душою я и до сих пор русский! – воскликнул он и в доказательство произнес несколько неупотребительных в печати выражений с такою отчетливостью, что по комнате в одно мгновение распространился смрад.

– Прекрасно! – перебил я его, – но не будем увлекаться. Стало быть, если б и у меня, чего боже сохрани, что-нибудь навернулось... вы мне поможете, Капотт?

– Несомненно, – ответил Капотт.

– Но, главное, вы поможете мне убить время... Время – это злейший из наших врагов! Скучно нам, Капотт, ах, как скучно!

– Русские, действительно, чаще скучают, нежели люди других национальностей, и, мне кажется, это происходит оттого, что они чересчур избалованы. Русские не любят ни думать, ни говорить. Я знал одного полковника, который во всю жизнь не сказал ни одно-

го слова своему денщику, предпочитая объясняться посредством телодвижений.

– Ах, Капотт! но ведь это-то и есть...

– Идеал, хотите вы сказать? Сомневаюсь. В сущности, разговаривать не только не обременительно, но даже приятно. Постоянное молчание приводит к угрюмости, а угрюмость – к пьянству. Напротив того, человек, имеющий привычку пользоваться даром слова, очень скоро забывает об водке и употребляет лишь такие напитки, которые способствуют общительности. Русские очень талантливы, но они почти совсем не разговаривают. Вот когда они начнут разговаривать...

– Благодарю вас, Капотт!

– Вообще России предстоит великая будущность; но все зависит от того, в какой мере и когда будет ей предоставлено воспользоваться даром слова. Так, например, ежели это случится через тысячу лет...

– Благодарю вас, Капотт!

– Мы во Франции с утра до вечера говорим, – не унимался Капотт, – говорим да говорим, а иногда что-нибудь и скажем. Но если б нас заставили тысячу лет молчать, то и мы, наверное, одичали бы...

– Еще раз благодарю вас, Капотт, но я считаю подобные разговоры преждевременными. Возвратимся к предмету нашего свидания. Ваши условия?

– Условия мои всегда одинаковы. Десять франков

в день – это мой гонорар. Затем, куда бы мы с вами ни пошли – в театры, рестораны и проч. – вы предоставите мне то же удобства, какими будете сами пользоваться. Если, по обстоятельствам, вам придется где-нибудь остаться одному, то я буду ожидать вас в ближайшем кафе, и вы уплатите за мою консоммацию. Я же, с своей стороны, обязываюсь быть в вашем распоряжении от одиннадцати часов утра вплоть до закрытия театров. Но в крайнем случае вы можете задержать меня и дольше.

Эти условия были положительно тяжелы для моего бюджета, но страх вновь увидеть во сне свинью был так велик, что я, не долго думая, согласился.

– В принципе я ничего не имею против ваших условий, – сказал я, – но предварительно желал бы предложить вам два вопроса. Во-первых, об чем мы будем беседовать?

– Я могу говорить обо всем. Я выжил тридцать лет в России; следовательно, если вы захотите говорить об язвах, удручающих вашу страну, – я могу перечислить их вам по пальцам; если же, напротив, вы пожелаете вести речь исключительно о доблестях – я и тут к вашим услугам. Затем я знаю очень много "рассказов" из жизни достопримечательных русских деятелей и уверен, что рассказы эти доставят вам удовольствие. Такова моя программа относительно России. Что же ка-

сается Франции, то вы можете предлагать мне какие угодно вопросы – я на всё имею самые обстоятельные ответы.

– Отлично. Во-вторых, ответьте мне откровенно, КапOTT!! Вы не шшш... то бишь pardon! – не сердцеведец?

Я ждал, что КапOTT смутится, но он смотрел на меня ясно и почти благородно. Очевидно, подобный вопрос уже не раз был обращаем к нему.

– В смысле постоянного занятия – нет, – отвечал он твердо, – но не скрою от вас, что когда обстоятельства призывают меня, то я всегда застаю себя стоящим на высоте положения!

Тем не менее, говоря это, он привстал, как бы приготавливаясь ретироваться. Такова сила предрассудка, сопряженная с представлением о сердцеведении, что даже этот крупный и сильный мужчина опасался: а ну как меня за это не похвалят! Разумеется, я поспешил успокоить его.

– КапOTT! – сказал я, – не опасайтесь! Вообще говоря, сердцеведение, конечно, не особенно для меня симпатично; но так как я понимаю, что в благоустроенном обществе обойтись без этого нельзя, то покоряюсь. Но прошу вас об одном: читайте в моем сердце, но читайте лишь то, что действительно в нем написано! Не лгите! а ежели чего не поймете, то не доклады-

вайте, не объяснившись предварительно со мною!

Он с радостью согласился исполнить эту просьбу, и мы окончательно поладили.

Биография Капотта была очень трогательна. Он был внук сестры Марата и много пострадал от людской несправедливости по случаю этого несчастного родства. Уже родители Капоттовы старались примерным поведением и чистосердечным раскаянием смыть наследственное пятно, но все усилия их остались тщетными: ни Наполеон, ни Бурбоны не доверяли их искренности. Нередко пробовали Капотты предавать своих кровных, оставшихся верными бездельным Маратовым преданиям, но их предательства называли недостаточными и своекорыстными; когда же они проливали слезы боли и раскаяния, то их слезы называли крокодиловыми. Со вступлением на престол Луи-Филиппа сердца Капоттов на мгновение оживились надеждою; но хотя Луи-Филипп был возведен на трон не *par*ceque,¹⁶⁸ а *quoique*¹⁶⁹ Бурбон, однако ж, в отношении к Маратовским преданиям оказался еще больше Бурбоном, нежели самые истые Бурбоны. Он даже «извещений» не велел принимать от Капоттов, «яко от людей бездельных и доверия не заслуживающих». Тогда Капотты окончатель-

¹⁶⁸ потому что

¹⁶⁹ хотя (он был)

но пали духом и долгое время жили в полном отчуждении, находя утешение только в религии. Наконец, в 1840 году, юный отпрыск этого дома Jean-Marie-Francois-Archibald Capotte принял героическое решение. Это был двадцатилетний юноша, сильный, цветущий, полный надежд и в совершенстве постигший тайны бильярдной игры. Наскучив унылым прозябанием в отечестве и возмущенный несправедливостью сограждан, он отряс прах с ног своих и переселился в снега России.

В России словно только и ждали его приезда. Прибыв в Петербург, он чистосердечно объяснил свое родство с Маратом, присовокупив при этом, что постарается искренним раскаянием смыть с себя это пятно. Поступок этот был найден благородным. Признано было, что внук не должен отвечать за поступки деда, хотя бы то был Марат. Когда же на вопрос: что он может делать? – Капотт с твердостью ответил: все что угодно! – то было сочтено за наиболее удобное пристроить его в качестве педагога. А дабы сообщить этому устройству нарочитую прочность, Капотт изъявил готовность присоединиться к единой истинной православной греко-российской церкви. Узнав об этом, русские дамы вдруг словно сбесились. Графиня Мамелфина, княгиня Букиазба, маркиза де Сангло, генеральша Белокурова наперебой переманивали его

друг у друга для воспитания детей. Благодаря их ходатайствам, Капотт был зачислен на службу разом по трем ведомствам: у старого князя Букиазба по части изобретения пристойных законов, у маркиза де Сангло – по части распространения пристойного просвещения и у генерала Белокурова – по какой-то не вполне ясной части, в титуле которой можно было, однако ж, разобрать: "строгость и притом быстрота". И по всем трем ведомствам получал пристойное жалование.

Между тем юные питомцы были тоже без ума от Капотта, ибо последний, посеяв в их сердцах семена религии, в то же время обучал их веселым романсам и игре на бильярде. Кроме того, имея в виду, что питомцам его предстоит великое будущее, он издал "Краткие правила для изобретения мероприятий и немедленного их осуществления", которые и до сих пор остаются незаменимыми. Словом сказать, Капотт до того преуспел, что когда, по истечении двадцати пяти лет, маркиз де Сангло объявил ему, что он произведен в генералы, то, несмотря на свое французское легкомыслие, он хлопнул себя по ляжке и прослезился. Но, на свою беду, он в то же время узнал, что, на основании каких-то сокращенных сроков, выслужил разом три пенсии, и... пожелал выйти в отставку.

Это была важная ошибка с его стороны, ибо она от-

вратила от него сердца родителей. Дело в том, что он успел сколотить изрядный капиталец и, подобно всем французам, легкомысленно увлекся идеей о независимой жизни. Открывши школу бильярдной игры, он надеялся, что молодое поколение поддержит его. И, действительно, в первое время дела его пошли блистательно, потому что, независимо от бильярдной, он содержал еще маркитантскую, из которой в долг отпускал закуски и вино. Но через год, совсем непредвиденно, прибыл из Парижа француз Сан-Кюлотт (слухи ходили, что его, из мщения к Капотту, выписала генеральша Белокурова, а злые языки, кроме того, прибавляли: "с производством в коллежские регистраторы") и стал распевать такие песенки, что кадеты разом ошалели. А, через месяц на помощь к Сан-Кюлотту явилась девица Альфонсинка (Капотт был на этот счет строг и Альфонсинок в своем "заведении" не допускал) и те же песни начала распевать уже с пристойными иллюстрациями. В сей крайности Капотт попытался было обратиться с жалобой на Сан-Кюлотта к родителям и даже заговорил о нравственности, но родители (или, точное, родительницы), вместо ответа, напомнили ему об измене, а некоторые даже дозволили себе жестокий намек на происхождение от Марата. Кадеты между тем рассеялись по лицу земли, не уплатив долгов, и Капотт окончательно

прогорел. Тогда, продав за бесценок свое заведение тому же Сан-Кюлотту, он вновь отряс прах с ног своих, тайно воссоединился к единой истинной римско-католической церкви и переехал в Париж.

Теперь он скромно живет в Париже на свою пенсию, которая, однако ж (по трем ведомствам), представляет для него верный ресурс в количестве семи тысяч франков ежегодно. Большую часть времени он проводит в кафе, играя на бильярде, но, кроме того, всегда имеет к услугам "знатных иностранцев" разнообразный выбор соблазнительных картинок и секретных принадлежностей туалета. Бывшие питомцы не забывают его, и это составляет его утешение и гордость. Некоторые из них уплатили ему долги по бильярдной, но большинство ограничивается тем, что сообщает ему свои проекты. Когда эти проекты скопляются во множестве, тогда Капотт временно исчезает из кафе и весь отдается государственным соображениям.

Между тем местные демагоги, в свою очередь, не забывают, что Капотт олицетворяет собою последний отпрыск пресловутого Маратова корня. В день рождения Марата они сходятся в кафе и качают Капотта. А в день Маратовой смерти тоже сходятся в кафе и качают Капотта вторительно. Причем называют его general и слушают его рассказы о том, как он был од-

нажды сослан на каторгу, как его секли кнутом, как он с каторги бежал к бурятам, dans les steppes,¹⁷⁰ долгое время исправлял у них должность шамана, оттуда бежал – в Китай... et me voila a Paris.¹⁷¹

Целых четыре дня я кружился по Парижу с Капоттом, и все это время он без умолку говорил. Часто он повторялся, еще чаще противоречил сам себе, но так как мне, в сущности, было все равно, что ни слушать, лишь бы упразднить представление "свиньи", то я не только не возражал, но даже механическим поматыванием головы как бы приглашал его продолжать. Многого, вероятно, я и совсем не слышал, довольствуясь тем, что в ушах моих не переставаячи раздавался шум.

Первый день мы беседовали об язвах, удручающих Россию. До завтрака Капотт говорил:

– Главная ваша язва в том состоит, что вы никогда не представляете себе ясно, чего вы хотите. Сегодня вы выражаете чувства, всем вообще человекам свойственные, а завтра вдруг пустите такую душу, что хоть топор повесь. И это происходит не от ренегатства, а оттого, что, вследствие недостаточной подготовки для познания вещей, вы не различаете добра от зла. К тому же, на ваше несчастье, вы восприим-

¹⁷⁰ в степи

¹⁷¹ и вот я в Париже

чивы и потому легко воспламеняетесь. Но вы увлекаетесь без разбору, без критики, и, к сожалению, чаще всего тем, чем уж никто в целом мире не увлекается. Сегодня, видя человека, которому тяжело дышится, вы великодушно говорите: надо ему помочь! А завтра, едва только начал этот человек дышать легче, как вы уже сердитесь и восклицаете: надо его подтянуть! Ясно, что при такой неустойчивости взглядов и чувств не может существовать ни малейшего доверия к будущему. Боязнь завтрашнего дня – вот червь, который точит вашу жизнь. Но смею думать, что покуда вы будете заниматься только трепетанием, ваш национальный гений особенно блестящих свойств не предъявит.

Я слушал эту проповедь и возмущался духом. Но так как я раз навсегда принял за правило: пускай Капотты с Гамбеттами что угодно рассказывают, а мы свою линию будем потихоньку да полегоньку вести! – то и ограничился тем, что сказал:

– Врете вы всё, Капотт! Я уверен, что после завтрака вы совсем другое будете говорить!

И точно, после завтрака, выпивши на свой пай бутылку бургонского, Капотт говорил:

– Вы, русские, чересчур настойчивы в преследовании ваших целей – вот ваша главная язва. *Vous etes trop logiques.*¹⁷² Жизнь требует уступок, а вы хотите

¹⁷² Вы слишком логичны

только реформ. В такое короткое время – и такой прогресс! – какой организм это выдержит! А вы не только выдерживаете, но еще говорите: мало! Вам дали свободу слова, а вы как будто и не подозреваете этого, и всё жалуется: когда ж нам свободу слова дадут? Нет, mon cher monsieur, так нельзя! Конь и о четырех ногах, да спотыкается, а человек... Человека вот как надо держать, cher monsieur, чтоб он не спотыкался!

Говоря это, он показывал, как надо "держать" человека: одной рукой натягивал воображаемые вожжи, другую – стискивал воображаемый бич.

Перед обедом в ушах моих раздавалось:

– Подобно древним римлянам, русские времен возрождения усвоили себе клич: panem et circenses!¹⁷³ И притом чтобы даром. Но circenses у вас отродясь никогда не бывало (кроме секуций при волостных правлениях), а panem начал поедать жучок. Поэтому-то мне кажется, старый князь Букиазба был прав, говоря: во избежание затруднений, необходимо в них сию прихоть истреблять.

А после обеда (три рюмки горки и две бутылки "ординёра") я слышал следующее:

– Тем не менее скажу вам откровенно: тридцать лет сряду стараюсь я отличить русские язвы от русских доблестей – и, убей меня бог, ничего понять не могу!

¹⁷³ Хлеба и зрелищ!

Выговоривши это коснеющим языком, он повалился на диван и заснул. Я же отправился в "Varietes" и в третий раз с возрастающим удовольствием прослушал "La femme a rара".¹⁷⁴ Но как, однако ж, заматерела Жюдик!

– А как любит русских, если б вы знали! – рассказывал мне сосед по креслу, – представьте себе, прихожу я на днях к ней. – Так и так, говорю, позвольте поблагодарить за наслаждение... В Петербурге, говорю, изволили в семьдесят четвертом году побывать... – Так вы, говорит, русский? Скажите, говорит, русским, что они – душки! Все, все русские – душки! а немцы – фи! И еще скажите русским, что они (сосед наклонился к моему уху и шепнул что-то, чего я, признаюсь, не разобрал)... Это, говорит, меня один кирасир научил!

Второй день мы с Капоттом посвятили доблестям. До завтрака, впрочем, дело шло довольно вяло, но за завтраком Капотт постепенно разогрелся.

– Нигде я не едал таких прекрасных рыб, как в России! – ораторствовал он, – *Oukha au sterlet* – ah! *e'est quelque chose d'ineffable!*¹⁷⁵ Однако ж когда я поступил воспитателем к молодому графу Мамелфину, то мне долгое время не давали этого божественного кушанья! Всем, бывало, подают уху стерляжью, а мне – из

¹⁷⁴ «Папочкина женушка»

¹⁷⁵ Стерляжья уха – о! это почти невыразимое

окуней. Но когда графиня ближе ознакомилась с моими нравственными качествами, то мне стали давать две тарелки с лучшими кусками, а старого графа перевели на уху из окуней. Вот тогда я узнал... Да, впрочем, одна ли уха?! а осетровый янтарный балык? а тающая провесная белорыбица? а икра банкетная, салфеточная и зернистая? Я долгое время не мог разобраться, что это такое, но когда понял... о!!!

За обедом КапOTT вспоминал:

– Тем не менее рыбами далеко не исчерпываются дары, которыми наделил Россию ее национальный гений. Вспомним о румяной кулебяке с угрем, о сдобном пироге-курнике, об этом единственном в своем роде поросенке с кашей, с которым может соперничать только гусь с капустой, – и не будем удивляться, что под воспитательным действием этой снеди умолкают все вопросы внутренней политики. Самых лучших поросят я ел у маркизы де Сангло, самые лучшие кулебяки – у генеральши Белокуровой. Что же касается до княгини Букиазба, то она приготавливала для меня особый напиток, называемый "ломпопС". Ah, c'est bien, bien barbare, cette boisson-la!¹⁷⁶ В первое время я подумал, что это одна из тех жестоких мистификаций, которым так охотно предаются русские «бояре» относительно беззащитных иностранцев, но когда я

¹⁷⁶ О, это очень, очень варварский напиток!

понял... о!!!

Наконец, после ужина, перед отходом на сон грядущий, он сказал:

– Есть у вас и еще одна доблесть: вы тверды в бедствиях. Ежели есть у вас поросенок – вы едите поросенка, ежели нет ничего – вы довольствуетесь хлебом, смешанным с лебедой... C'est Га!¹⁷⁷ Никто этого не ест... ну, вот ей-й-богу, никто! ха-ха!

Последние слова он произнес заплетающимся языком и затем, взглянув на меня с какой-то неисповедимой иронией, дико захохотал. Увы! то были естественные последствия полубутылки *fine champagne*,¹⁷⁸ выпитой на ночь!

Третий день был посвящен нами чертам из жизни достопримечательных деятелей.

По словам Капотта, оказывалось, что русские вельможи давно уже сомневались в непререкаемости основ, на которых покоилось крепостное право. Так, например, однажды за обедом маркиз де Сангло выразился так: "Хотя крепостное право и похваляется многими, яко согласные с требованиями здоровой внутренней политики, но при сем необходимо иметь в виду, что и оные люди, провидением в наше распоряжение для услуг предоставленные, суть, подобно нам,

¹⁷⁷ не правда ли?

¹⁷⁸ коньяку

по образу и подобию божию созданы!" А присутствовавший при этом генерал Бедокуров присовокупил: "Сие есть несомненно, хотя с некоторым в физиономиях повреждением!" В другой раз князь Букиазба высказал такое мнение: "Сия мысль, что Иван (камердинер князя) служит мне токмо за страх, весьма для меня прискорбна, хотя не могу скрыть, что и за сим я пользуюсь его услугами с удовольствием". Наконец старый граф Мамелфин чуть было совсем не проговорился. "Тогда лишь я счастливым почитать себя буду... – начал он, но, вспомнив, что за сие не похвалят, продолжал: – А впрочем, если б и впредь оное продолжать за нужное было сочтено, то мы и за сие должны благодарить и оным без критики пользоваться".

– И эти люди назывались либералами и состояли в подозрении! – присовокупил в заключение Капотт.

Некоторые из этих достопримечательных людей не чужды были и литературным занятиям. Так, князь Урюпинский-Доезжай написал сочинение: "О чае и сахаре и удовольствиях, ими доставляемых", а князь Серпуховский-Догоняй, в ответ на это, выпустил брошюру: "Но наипаче сивухой". Граф Пустомыслов печатно предложил вопрос: "Куда девался наш рубль?", а граф ТвэрдоонтС тоже печатно ответил: "Много будешь знать, скоро состаришься". Наконец, генерал-майор Отчаянный вопрошал тако: "Следует ли

ввести кобылу в ряды кавалерии?" – и отвечал на вопрос утвердительно: "Следует, ибо через сие был бы достигнут естественный коневой ремонт". А генерал Правдин-Маткин на это возражал: "Сие столь же разумно, как если б кто утверждал, что необходимо в ряды армии допустить генерал-майорш, дабы через сие достигнуть естественного ремонта генерал-майоров". Одним словом, шла непрерывная и живая полемика по всем отраслям государственного управления, но полемика серьезная, при равном оружии: князь с князем, граф с графом, генерал-майор с генерал-майором. Буде же в полемику впутывался коллежский регистратор, то на таковой делалась надпись: "Печатать *не* дозволяется. Цензор Красовский-Бируков-Фрейганг⁹". При сем с духовной стороны депутатом был и такожде к печатанию не одобрил смиренный Иона Вочревебывший".

– Однажды военный советник (был в древности такой чин) Сдаточный нас всех перепугал, – рассказывал Капотт. – Совсем неожиданно написал проект "о необходимости устройства фаланстеров из солдат, с припущением в оных, для приплода, женского пола по пристойности", и, никому не сказав ни слова, подал его по команде. К счастью, дело разрешилось тем, что проект на другой день был возвращен с надписью: "дурак!"

Но с особенным сочувствием, как и следовало ожи-

дать, Капотт относился к своим бывшим питомцам, относительно которых он был неистощим, хотя и довольно однообразен. Так, молодой князь Букиазба, уже в четырнадцатилетнем возрасте, без промаху сажал желтого в среднюю лузу; и однажды, тайно от родителей, поступил маркёром в Малоярославский трактир, за что был высечен; молодой граф Мамелфин столь был склонен к философским упражнениям, что, имея от роду тринадцать лет, усомнился в бессмертии души, за что был высечен; молодой граф Твёрдоонто тайком от родителей изучал латинскую грамматику, за что был высечен; молодой подпрапорщик Бедокуров, в предвидении финансовой карьеры, с юных лет заключал займы, за что был высечен. Что же касается до молодого маркиза де Сангло, то он, с семилетнего возраста, готовил себя по духовному ведомству.

– Теперь это бодрая молодежь в цвете сил и надежд, – восторженно прибавил Капотт, – и любо посмотреть, как она поворачивает и подтягивает! Один только де Сангло сплоховал: поехал на Афон, думал, что его оттуда призовут (каких, мол, еще доказательств нужно!), а его не призвали! Теперь он сидит на Афоне, поет на крылосе и бьет в било. Так-то, mon cher monsieur! и богу молиться надо умеючи! Чтоб видели и знали, что хотя дух бодр, но плоть от пристой-

ных окладов не отказывается!

На четвертый день мы занялись делами Франции, причем я предлагал вопросы, а Капott давал ответы.

Вопрос первый. Воссияет ли Бурбон на престоле предков или не воссияет? Ежели воссияет, то будет ли поступлено с Грeви и Гамбеттой по всей строгости законов или, напротив, им будет объявлена благодарность за найденный во всех частях управления образцовый порядок? Буде же *не* воссияет, то неужели тем только дело и кончится, что не воссияет?

Ответ Капotta. Виды на воссияние слабы. Главная причина: ничего не приготовлено. Ни золотых карет, ни белого коня, ни хоругвей, ни приличной квартиры. К тому же бесплоден. Относительно того, как было бы поступлено, в случае воссияния, с Грeви и Гамбеттой, то в легитимистских кругах существует такое предположение: обоих выслатъ на жительство в дальние вотчины, а Гамбетту, кроме того, с воспрещением баллотироваться на службу по дворянским выборам.

Вопрос второй. Не воссияет ли кто-либо из Наполеонидов?

Ответ. Трудно. Но буде представится случай пустить в ход обман, коварство и насилие, а в особенности в ночное время, то могут воссиять. В настоящее время эти претенденты главным образом опираются на кокоток, которые и доныне не могут забыть, как ве-

село им жилось при Монтихином управлении. Однако ж республика, по-видимому, уже предусмотрела этот случай и в видах умиротворения кокоток установила такое декольте, перед которым цепенела даже смелая «наполеоновская идея».

Вопрос третий. Не воссияют ли Орлоаны?

Ответ. Не воссияют.

Вопрос четвертый. Но что вы скажете о Гамбетте и о рара Trinquet? не воссияют ли они? ¹⁰ Или, быть может, придет когда-нибудь Иван Непомнящий ¹¹ и скажет: а дайте-ка, братцы, и я воссияю?

Ответ. О первых двух могу сказать: их воссияние сомнительно, потому что ни один gavroche ¹⁷⁹ не согласится кричать vive l'empereur Gambetta!, ¹⁸⁰ а тем менее: vive l'empereur Trenquet!¹⁸¹ Правда, были времена, когда кричали: да здравствует царь Горох! – но, кажется, эти времена уже не возвратятся. Что же касается до Ивана Непомнящего, то он не воссияет... наверное! Хотя же у вас в Москве идет сильная агитация в пользу его, но я полагаю, что это только до поры до времени. Обыкновенно принято с Иванами поступать так: ты, дескать, нам теперь помоги, а потом мы тебе

¹⁷⁹ уличный мальчишка

¹⁸⁰ да здравствует император Гамбетта!

¹⁸¹ да здравствует император Тренки!

нос утрем! И точно: не успеет Иван порядком возвеселиться, как его уже опять гонят: ступай свойственные тебе телесные упражнения производить. Так-то, mon cher monsieur!

Вопрос пятый, дополнительный. И вы полагаете, что правильно так с Иванами поступать?

Ответ. На это могу вам сказать следующее. Когда старому князю Букиазба предлагали вопрос: правильно ли такой-то награжден, а такой-то обойден? – то он неизменно давал один и тот же ответ: о сем умолчу. С этим ответом он прожил до глубокой старости и приобрел репутацию человека, которому пальца в рот не кладут.

Прослушав эти ответы, я почувствовал себя словно в тумане. Неужели, в самом деле, никто? Ни Бурбон, ни Тренки... никто!!

– Послушайте, Капотт! – воскликнул я в смущении, – но подумали ли вы о будущем? Будущее! ведь это целая вечность, Капотт! Что ждет вас впереди? Какую участь готовите для себя?

Я говорил так горячо, с таким серьезным и страстным убеждением, что даже кровожадный отпрыск Марата – и тот, по-видимому, восчувствовал.

– Вероятно, придется прожить без воссияния, – сказал он уныло, – конечно, быть может, будет темненько, но...

Голос его дрогнул, и на глазах показались слезы.

– *Ainsi soit-il!*¹⁸² – произнес он торжественно и, хлопнув себя по ляжке (он всегда это делал, когда находился в волнении), разом выпил на сон грядущий две рюмки *goriki*.

.....

На пятый день Капотт не пришел. Я побежал в кафе, при котором он состоял в качестве завсегдатая, и узнал, что в то же утро приходил к нему *un jeune seigneur russe*¹⁸³ и, предложив десять франков пятьдесят сантимов, увлек старого профессора с собою. Таким образом, за лишнюю полтину меди Капотт предал меня...

* * *

Медлить было нечего. Я сейчас же направил шаги свои в русский ресторан, в уверенности найти там хоть одного бесшабашного советника. И, на мое счастье, нашел ту самую пару, с которой не очень давно познакомился на обеде у Блохиных. Они сидели у самого окошка, за столиком друг против друга, и, по-ви-

¹⁸² Да будет так!

¹⁸³ молодой русский барин

димому, подсчитывали прохожих, останавливавшихся у писсуара Комической Оперы. Перед ними стояли неубранные тарелки, с которых только что исчезли битки au smetane. Не спрашивая их дозволения, я тотчас же заказал еще три порции зраз и три рюмки очищенной; затем мы поздоровались, уселись и замолчали. Несколько раз старики взглядывали на меня, разевали рты, чтоб сказать нечто, но ничего не говорили. Но, от времени до времени, то тот, то другой поворачивался по направлению к улице и произносил:

– Сто двадцать седьмой!

На что другой кратко отзывался:

– Однако! сегодня что-то уж не на шутку...

Наконец подали водку и зразы; и то, и другое мы мгновенно проглотили и вновь замолчали. Я даже удивился: точно все слова у меня пропали. Наверное, я хотел что-то сказать, об чем-то спросить и вдруг все забыл. Но наконец один из стариков возгласил:

– Сто сорок третий! – и, повернувшись ко мне, присовокупил: – Вот у нас этих удобств нет.

Тогда и другой почувствовал себя свободнее и тоже высказался:

– Здесь насчет этого превосходно. Сошел с тротуара, завернул в будочку и прав.

– И, надо сказать правду, здешнее население пользуется этим удобством с полным сознанием своего

права на него. Представьте себе, невступно час мы здесь сидим, а уж сто сорок три человека насчитали. Семен Иваныч! смотрите-ка, смотрите-ка! Сто сорок четвертый! сто сорок пятый!

– А вон и сто сорок шестой бежит!

Я сейчас же догадался, что это статистики. С юных лет обуреваемые писсуарной идеей, они три года сряду изучают этот вопрос, разъезжая по всем городам Европы. Но нигде они не нашли такой обильной пищи для наблюдений, как в Париже. Еще год или два подробных исследований – и они воротятся в Петербург, издадут том или два статистических таблиц и, чего доброго, получают премию и будут избраны в де-си-янс академию.

Но так как это были только догадки с моей стороны, то, конечно, я поспешил проверить их.

– Исследованиями занимаетесь? – спросил я.

– Да, исследуем, – ответили они в один голос.

Из дальнейших расспросов оказалось, что в этом деле заинтересован, в качестве мецената, капиталист Губошлепов, который, на приведение его в ясность, пожертвовал миллион рублей. Из них по пяти тысяч выдал каждому статистику вперед, а остальные девятьсот девяносто тысяч спрятал в свой письменный стол и запер на ключ, сказав:

– По окончании видно будет...

– А ключ он вам отдал?

– Нет, в карман положил.

– Ах, братцы!

Старики тревожно переглянулись и даже побледнели. Но, к счастью, они до того прониклись своею идеей и принесли ей столько жертв, что никакие опасения уже не могли сбить их с истинного пути. Не успели они надлежащим образом сосредоточиться на моей догадке, как уж один из них радостно воскликнул:

– Николай Петрович! ваше превосходительство! Сто сорок седьмой, сто сорок восьмой, сто сорок девятой!

Затем они подробно изложили мне план работ. Прежде всего они приступили к исследованию Парижа по сю сторону Сены, разделив ее на две равные половины. Вставши рано утром, каждый отправляется в свою сторону и наблюдает, а около двух часов они сходятся в русском ресторане и уже совместно наблюдают за стеною Комической Оперы. Потом опять расходятся и поздно ночью, возвратись домой, проверяют друг друга.

– И много берет это у вас времени? – полюбопытствовал я.

– Да как вам сказать! вот пять месяцев живем в Париже, с утра до ночи только этим вопросом и заняты, а между тем и десятой части еще не высмотрели.

– И любопытных результатов достигли?

– Да вот как-с. Теперь я, например, Монмартрским бульваром совсем овладел, так верьте или не верьте, а даже сию минуту могу сказать, в какой будке есть гость и в какой – нет!

– Черт побери!

– Это так точно, – подтвердил и Семен Иванович, – то же самое и я могу сказать о бульваре Бонн-Нувелль...

– Законы статистики везде одинаковы, – продолжал Николай Петрович солидно. – Утром, например, гостей бывает меньше, потому что публика еще исправна; но чем больше солнце поднимается к зениту, тем наплыв делается сильнее. И, наконец, ночью, по выходе из театров – это почти целая оргия!

– И заметьте, – пояснил Семен Иванович, – каждый день, в одни и те же промежутки времени, цифры всегда одинаковые. Колебаний – никаких! Такова неизблемость законов статистики!

– Бесподобно. Но что же вы, кроме наблюдений, в Париже делаете? В театрах бывали?

– Собираемся, да все недосуг...

– В Лувре, в Люксембургском дворце, на выставке художественных произведений были? Венеру Милосскую видели? с Гамбеттой беседовали? В ресторане Фуа turbot sauce Mornay¹⁸⁴ ели? В Jardin

¹⁸⁴ камбала под соусом Морнэ

d'acclimatation¹⁸⁵ на верблюдах ездили? – сыпал я один вопрос за другим.

– То-то, что недосуг еще...

– Стало быть, только с предметом своих исследований и познакомились?

Собеседники мои поникли головами.

– Ну, а насчет республики как? Понравилась?

Но и на этот вопрос ответа не последовало.

Я взглянул на этих трудолюбивых и скромных стариков, и сердце мое вдруг умилилось. "Вот люди! – воскликнул я мысленно, – которые наверное не знают ни уныния, ни вопросов, кроме того, который задан им Губошлеповым! Живут они себе в Париже и, не засматриваясь по сторонам, выполняют полегоньку провиденциальное свое назначение. И благо им! Именно только так и можно жить в наше смутное время! И если бы мы все следовали их примеру, если б всякий из нас глядел только в ту точку, которая у него перед носом, – насколько человечество было бы счастливее! Насколько самая жизнь была бы удобнее и приятнее! Устройте, например, писсуары, удовлетворите хоть в этом отношении справедливые требования публики, какой вдруг получится переворот в жизни целой массы пешеходов! Как все будут довольны! Как повеселеют и расцветут лица! Какая появится

¹⁸⁵ Зоологическом саду

в движениях свобода и уверенность!"

– Господа, да не возьмете ли вы и меня...

К счастью, я не успел договорить, потому что в эту минуту Николай Петрович в каком-то неистовом восторге закричал:

– Семен Иваныч! смотрите! целая компания! Сто пятьдесят девятый! сто шестидесятый! сто шестьдесят первый... ах!

Я поспешил уплатить за зразы и водку и воспользовался восторженным состоянием бесшабашных советников, чтоб улизнуть из ресторана.

Весь вечер я просидел один и потому ночью опять видел во сне свинью.

На другой день я уже мчался на всех парах в Петербург.

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Октябрь уж начался, и признаки осени выказывались довольно явственно. Несколько дней сряду стояла переменная погода, солнце показывалось накоротке, и ежели не наступили настоящие холода, то в воздухе уже чувствовалась порядочная сырость. Тянуло на север, в печное тепло, за двойные рамы, в страну пирогов с грибами и держания языков за зубами... Хорошо там!

Я собрался мигом, но момент отъезда был выбран не совсем удачно. Кёльнский поезд выходил из Парижа вечером; сверху сыпалось что-то похожее на пашу петербургскую изморозь, туман стлался по бульварам и улицам, и, в довершение всего, платформа железнодорожной станции была до крайности скудно освещена. Все это, вместе взятое и осложненное перспективами дорожных неудобств, наводило уныние и тоску.

Вообще русский культурный человек не имеет особенной склонности к передвижениям, а за границей он, сверх того, встречает при переездах множество неудобств, которые положительно застают его врасплох. Главное неудобство – недостаток железнодорожной прислуги. Приходится не только самому нести

свой ручной багаж, но самому отыскать свой вагон, самому сесть на место и самому сказать: ну, сели – теперь с богом! У тамошних людей все это не считается неудобством. Не потому, что там нет охотников получать пятиалтынные за мелкие услуги по переноске коробок, чтоб эта монета утратила свой престиж в глазах кабального большинства, а потому, что нет охотников давать эти пятиалтынные. Предполагается, что всякий сам сумеет найти свое место и устроить себя. Все равно как в жизни вообще. Бывают обстановки, при которых можно получить следующее даром, а бывают и такие, при которых следующее можно получить, только сунув в руку желтенькую или зелененькую бумажку. И когда люди привыкают к этим последним обстановкам, то всегда держат подачки наготове и только тогда чувствуют себя обнадеженными, когда всё, что следует, отдадут.

Заграничный человек идет и прямо садится на место, как будто оно и в самом деле его. А мы, русские, в этом не уверены. Все думается: сесть-то я сяду, да усидеть-то придется ли? А вдруг генерал Отчаянный крикнет (да еще в темноте!): знай сверчок свой шесток – ну, и снимайся с места, разыскивай, где он, этот "свой" шесток, обретается? Поэтому мы, как и во всех случаях жизни, прежде всего суем в руку двугривенный и спрашиваем, можно ли сесть? Русские кондук-

торы знают это и снисходят, а заграничные кондукторы не понимают, и только покрикивают: *en voitures, les voyageurs, en voitures!*¹⁸⁶ Как будто это так уж легко: взял да и сел!

Но, сверх того, большинство из нас ещё помнит золотые времена, когда по всей Руси, из края в край, раздавалось: эй, Иван, платок носовой! Эй, Прохор, трубку! – и хотя, в течение последних двадцати лет, можно бы, кажется, уж сродниться с мыслью, что сапоги приходится надевать самолично, а все-таки эта перспектива приводит нас в смущение и порождает в наших сердцах ропот. Единственный ропот, который, не будучи предусмотрен в регламентах, пользуется привилегией: роптать дозволяется.

Именно это чувство неизвестности овладело мной, покуда я, неся под мышками и в руках какие-то совсем ненужные коробки, слонялся в полумраке платформы. Собственно говоря, я не искал, а в глубоком унынии спрашивал себя: где-то он, мой шесток ("иде дом мой?" как певали братья славяне на Минерашках у Излера), обретается? Не знаю, долго ли бы я таким манером прослонялся, если б в ушах моих не раздавался, на чистейшем русском диалекте, призыв:

– Вы русский, и я русский; давайте вместе искать.

И действительно, ободряя друг друга и напоминая,

¹⁸⁶ пассажиры, займите свои места, займите свои места!

что на Париж действие регламентов не распространяется, мы вдвоем нашли довольно скоро и так ловко уселись на местах, как будто и в самом деле эти места были наши собственные. Да и пора было, потому что, едва я успел сказать: теперь – с богом! как паровоз засвистел, запыхтел, и мы покатили.

Нас ехало в купе всего четыре человека, по одному в каждом углу. Может быть, это были всё соотечественники, но знакомиться нам не приходилось, потому что наступала ночь, а утром в Кёльне предстояло опять менять вагоны. Часа с полтора шла обычная дорожная возня, причем мой vis-Ю-vis¹⁸⁷ не утерпел-таки сказать: «а у нас-то что делается – чудеса!» – фразу, как будто сделавшуюся форменным приветствием при встрече русских в последнее время. И затем все окунулось в безмолвие.

Но мне не спалось. Как только я сознал себя одиноким, так тотчас навстречу поплыли "мысли". Вспомнилось тоскливое, бесцельное заграничное шатание, в сопровождении потухшей любознательности и отсутствия интереса ко всему, исключая трактиров; вспомнилось и серое житьишко дома, полное беспредметных и неосмысленных тревог... И как-то неволью, само собою сказалось: ах, какая это ужасная вещь – жизнь!

¹⁸⁷ сидевший напротив спутник

В конечных результатах, жизненные тревоги последнего времени настолько уж развратили нас, что каждый в своих действиях и суждениях почти исключительно выходит из представления о "шкуре". Боязнь за "шкуру", за завтрашний день – вот основной тезис, из которого отправляется современный русский человек, и это смутное ожидание вечно грозящей опасности уничтожает в нем не только позыв к деятельности, но и к самой жизни. На первый взгляд тут кроется как бы противоречие. Ежели человек тревожно цепляется за свой завтрашний день – стало быть, он жаждет жить. Ничуть не бывало. Не жажда жизни заставляет трепетать, а просто инстинктивная сердечная смута, которая, помимо сознания, каждую минуту сосет и терзает. Сама по себе жизнь и ненавистна, и постыла, но так как она привязалась, то приходится ее выносить. Да об ней как-то и не думается, а думается только об этой несносной смуте, которая до такой степени всем завладела, все заслонила, что уничтожила даже силу взглянуть смело в глаза смерти. Не завтрашнего дня жаль, а жутко при мысли, что, может быть, он будет, а может быть, и не будет.

"Шкурный" инстинкт грозит погубить, если уже не погубил все прочие жизненные инстинкты. Ужасно подумать, что возможны общества, возможны времена, в которых только проповедь надругательства

над человеческим образом пользуется правом гражданственности. Уши слышат, очи видят – и веры не имут. Невольно вырывается крик: неужто все это есть, неужто ничего другого и не будет? Неужто все пропало, все? Ведь было же когда-то время, когда твердили, что без идеалов шагу ступить нельзя! Были великие поэты, великие мыслители, и ни один из них не упоминал о "шкуре", ни один не указывал на принцип самосохранения, как на окончательную цель человеческих стремлений. Да, все это несомненно было. Так неужто же и эти поэты, и эти мыслители, Шекспиры, Байроны, Сервантесы, Данты, были люди опасные, подлежащие упразднению?

В смысле свободы мышления мы, конечно, не можем похвастаться, чтоб наше прошлое было изобильно благоприятными днями. Но даже в самые трудные времена злобная ограниченность, пошлость и приниженность стремлений не выступали так нагло вперед, *не выказывали так явно своей властности*. Чувствовалась общая суровость жизненных тонов, но не было подлого ликования с поддразниваниями, наускиваниями и проч. Правда, действующая в кварталах, представлялась обязательною, но никому не приходило в голову утверждать, что нет солнца, кроме солнца, сияющего из будки, и что правду высшую, человеческую, следует заковать в кандалы. Полезность

Псоя Стахича Замухрышкина ¹ рекомендовалась к непременному признанию, но никто не позволял себе сказать, что Пушкин – разбойник, а Псой Стахич – идеал человеков. Право, мне кажется, что даже цензура того времени не пропустила бы ничего подобного. Потому что ведь проповедь всеобщего одичания, по малой мере, столь же опасна, как и проповедь всеобщего равенства перед домашним обыском.

А нынче – послушайте, какая трель всенародно раздаётся из любого литературного клоповника! Мыслить не полагается! добрый же сын отечества обязывается предаваться установленным телесным упражнениям и затем насыщаться, переваривать и извергать. Всякий же, кто обнаружит попытку мышления, будет яко пособник, укрыватель и соучастник злодейских замыслов... Неужто же мы так и останемся при этих хлевных идеалах?

Неужто это будет?..

Всякий, конечно, совершенно ясно понимает практическую несостоятельность подобных опасений, и всякому в то же время становится жутко, потому что хлевные идеалы формулируются уже чересчур решительною и беззастенчивою рукой. Страшно подумать, что может выдаться хоть одна минута подобного торжества, что возможны даже сомнения в этом смысле. Помилуйте! ведь нас, наконец, всех, от мала до вели-

ка, вша заест! Мы разучимся говорить и начнем мычать! Мы будем в состоянии только совершать обрядные телесные упражнения, не понимая их значения, не умея ни направлять их, ни пользоваться какими-нибудь результатами! Мы будем хлеб сеять на камне, а навоз валить во щи...

Да, это тоже своего рода крамола. Это крамола против человечества, против божьего образа, воплотившегося в человеке, против всего, что человечеству дорого, чем оно живет и развивается. И к ужасу, это крамола не подпольная, а явно и вслух проповедуемая. Обитательница хлебов не знает солнца – и отрицает его; не знает вольного воздуха – и удостоверяет, что это выдумка злонамеренных людей. А Правда слушает это бессмысленное бормотание и пожимается. Она ощупывает свою "шкуру" и боится, как бы до нее дело не дошло! Как тут не воскликнуть: вша источит нас, вша! Мычать будем! щи с навозом будем хлебать!

Я помню, покойница бабушка говаривала: и мужичка, мой друг, без ума пугать не надо; запугаешь его – он и будет сохой вавилоны по пашне водить, и сам-то из сил выбьется, да и пользы от этого никакой! Милая бабушка! точно она провидела!

.....

Вот тут и рассуждай, утешает ли история. Несомненно, такие личности бывают, для которых история служит только свидетельством неуклонного нарастания добра в мире; но ведь это личности исключительные, насквозь проникнутые светом. Их точно так же подавляют идеалы будущего, как других пригнетает прах прошедшего. Это личности до того верующие, что для них осуществление идеалов не составляет даже вопроса времени. Они уже осуществились, эти идеалы, они носятся перед глазами, их можно осязать руками, и никакие уколы неумолимой действительности не в силах поколебать в них эту блаженную уверенность... Конечно, тут не может быть даже вопроса о том, утешает ли история.

Этот изумительный тип глубоко верующего человека нередко смущал мое воображение, и я не раз пытался воспроизвести его ². Но задача оказывалась непосильною. Нужно иметь и громадную подготовку, и почти сверхъестественное художническое чутье, чтоб отыскать неисчерпаемое богатство содержания в этом внешнем однообразии веры. Часто представлял я себе человека, забытого, затерянного и все-таки обращающего глаза к востоку. Он ясно видит, как горит и пламенеет этот восток, и совсем не замечает, что на самом деле и восток и запад, и север и юг – все кругом охвачено непроглядной тьмою. Но

ведь это картина – и только; картина, характеризующая лишь момент известного душевного настроения. Повторите этот момент хотя бесчисленное множество раз, вы не выйдете из пределов однообразия, не получите ничего, кроме утомительных перифраз. Чтобы выйти из этого однообразия, необходимо прежде всего понять, что тут главным действующим лицом является «вера» и что представление о «вере» объемлет собой не только всего человека, но весь мир, всю область знания. И вот тот, кто сумеет раскрыть всю беспредельность этого содержания, кто найдет в себе мощь воспроизвести все разнообразие идеалов, которое составляет естественный вывод этого содержания, – тот, несомненно, напишет картину, бесконечное разнообразие и яркость которой зажжет все сердца. Слово утратит вялость, образы будут полны жизни и огня. Но спрашиваю по совести: где тот художник, которому были бы под силу такие глубины?

Повторяю: не об этих исключительных натурах может идти здесь речь, а о простой злобе дня. Герой этой злобы – заурядный деятель современности, устроитель ее будничных отношений, человек относительной правды, относительного добра, относительного счастья. Он живет, потому что схвачен тисками жизни; но раз он живет, лукавые мудрствования уже не смущают его. Он вникает в обстановку современности и

делает все усилия, чтоб примениться к ней; он ищет не абсолютной правды, а *возможной*, и примиряется с нею; наконец, он охотно признаёт «удобство» за синоним счастья и подчиняется этому определению. Вообще это человек несложных требований, невыспранных идеалов, который в случае нужды пойдет на компромисс: только не добивай до конца! Понятно, что для этого человека утешения, преподаваемые историей, составляют не вопрос экзальтированной веры, а конкретнейшую задачу самого обыкновенного будничного обихода.

Несомненно, что и между этими средними деятелями современности встречается очень много честных людей, которые совершенно искренно верят, что история представляет неистощимый источник утешений. Но средний человек всегда инстинктивно отличает теорию от практики. Не будучи даже малодушным, он отводит для исторических утешений скорее отдаленное будущее, нежели ближайшее настоящее. В настоящем процесс нарастания правды нередко кажется ему равносильным процессу сдирания кожи с живого организма. Туго приходит в мир правда, и притом ценою неслыханных жертв. Самоотверженность не в нравах среднего человека, да ведь она и не обязательна. Средний человек не прочь даже, в видах самооправдания, сослаться на ненормальность само-

отверженности вообще и в принципе будет, пожалуй, прав. И хотя ему можно возразить на это: так-то так, да ведь в ненормальной обстановке только ненормальные явления и могут быть нормальными, но ведь это уж будет порочный круг, вращаться в котором можно до бесконечности, не придя ни к какому выводу.

Поэтому ежели в глазах человека веры безразличны все виды и степени относительной правды, оспаривающие друг у друга верх, то для человека среднего борьба этих правд составляет источник глубоких и мучительных опасений. Он не подавлен ни будущим, ни прошедшим; он всеми своими помыслами прикован к настоящему и от него одного ждет охранного листа на среднее, не очень светлое, но и не чересчур мрачное существование. Программа его скромна и имеет очень мало соприкосновения с блеском и полнотою исторических утешений...

И вот, когда у него оспаривается право на осуществление даже этой скромной программы, он, конечно, получает полное основание сказать: я охотно верю, что история *должна* утешать, но не могу указать на людей, которых имеют коснуться ее утешения. Что касается до меня лично, то я чувствую только одно: что история сдирает с меня кожу.

А между тем этот средний человек именно и есть действительный объект истории. Для него пишет ис-

тория свои сказания о старой неправде; для него происходит процесс нарастания правды новой. Ради него создаются религии, философские системы, утопии; ради него самоотвергаются те исключительные натуры, которые носят в себе зиждительное начало истории. Каким же образом ему примириться с утешениями истории, каким образом уверовать в них, когда он ежеминутно встречает осязательные доказательства, что эта самая история на каждом шагу в кровь разбивает своего собственного героя?

Дело в том, что история дает приют в недрах своих не только прогрессивному нарастанию правды и света, но и необычайной живучести лжи и тьмы. Правда и ложь живут одновременно и рядом, но при этом первая является нарождающеюся и слабо защищенною, тогда как вторая представляет собой крепкое место, снабженное всеми средствами самозащиты. Легко понять, какого рода результаты могут произойти из подобного взаимного отношения сторон.

Вообще ложь имеет за собой целую свиту преимуществ. Во-первых, она знает, что торжество правды не влечет для нее за собой никаких отмщений. Правде чужда месть; она приносит за собой прощение, и даже не прощение, а просто только восстановление действительного смысла явления. Во-вторых, цикл правды до сих пор никогда не представлялся за-

вершившимся, и даже сомнительно, можно ли ждать, чтоб он когда-нибудь завершился. Правда способна развиваться до бесконечности, открывая новые и новые горизонты и облекаясь в новые, более совершенные формы. Эта растяжимость правды и на человека действует возбуждающим образом. Он не прекращает своих поисков не потому, что это была прихоть бунтующей природы, как утверждают литературные клоповники, а потому, что искания эти столь же естественны, как естествен и самый закон прогрессивного нарастания правды. Ложь знает неизбежность этих исканий, но знает также и неизбежность сопровождающих эти искания недоумений и ошибок. И, на минуту посрамленная, в лицемерном спокойствии ждет очереди для отмищений.

Среднему человеку приходится считаться со всеми этими привилегиями лжи. Повторяю: его иск к жизни и ее благам до крайности скромны. До такой степени скромны, что он сам всегда признаёт за ложью право защищаться до последней крайности. Выть может, он даже отказал бы себе в праве идти навстречу искомой правде (эту осторожность подсказывает ему "шкура"), но он не может сделать это, потому что все инстинкты тянут его в эту сторону. И вот для него наступает момент ожесточенной свалки. Это – свалка жизни, в которой нет свидетелей, а все сплошь – действующие

лица. И в этой свалке его бьют, бьют, бьют без конца!

Ибо ежели и не его лично бьют, так нельзя же ведь сказать: тебя не бьют, а до прочих тебе нет дела! Это будет рассуждение каплуны, а не человеческое!

А так как процесс нарастания правды трудный и медлительный, то встречаются поколения, которые нарождаются при начале битья, а сходят со сцены, когда битье подходит к концу. Даже передышкой не пользуются. Какой горькой иронией должен звучать для этих поколений вопрос об исторических утешениях!

Утешайся историей и живи одной мыслью с народом – вот обязательные условия существования современного человека. И точно: когда жизнь кидает, вместо хлеба, камень, тогда поневоле приходится искать утешений в истории; но ведь, по правде-то говоря, не история должна утешать, а сама жизнь. Во всяком случае, средний человек имеет право так думать, этого желать. Да если б он думал иначе, если б он не ждал, что сама жизнь непосредственно поступится чем-нибудь в пользу его, то он и не добывал бы, ценою смертного боя, материалы, из которых созидаются исторические утешения. И тогда история едва ли имела бы возможность занести на свои страницы достаточное число фактов нарастания добра, которое можно бы принять за отправный пункт для утешений.

Что же касается до единения с народом, то это вопрос едва ли еще не более жестокий, нежели вопрос об исторических утешениях. Конечно, достигнуть или, точнее, представить себе это единение на манер тех испускателей трубных звуков, у которых нет ничего за душой, кроме высокомерного и суетного празднословия, очень легко; но действительное единение с народом, по малой мере, столь же мучительно, как и сдирание с живого организма кожи, ради осуществления исторических утешений. Не призыва требует народ, а подчинения, не руководства и ласки, а самоотречения. Вы задаете себе задачу, мир, валяющийся во тьме, призвать к свету, на массы болящие и недугующие пролить исцеление. Но бывают исторические минуты, когда и этот мир, и эти массы преисполняются угрюмостью и недоверием, когда они сами непостижимо упорствуют, оставаясь во тьме и в недугах. Не потому упорствуют, чтоб не понимали света и исцелений, а потому, что источник этих благ заподозрен ими ³. В такие минуты к этому валяющемуся во тьме и недугах миру нельзя подойти иначе, как предварительно погрузившись в ту же самую тьму и болея тою же самою проказой, которая грозит его истребить.

Вот какие изумительные задачи выпали на долю среднего человека. С одной стороны, он обязывается завоевывать для истории утешения, а с другой – по-

грузаться в тьму и примиряться с проказой. Добавьте к этому смертный бой ликующей современности, которая как-то особенно злобно привязывается именно к среднему человеку – и картина душевного благополучия будет полная. Я не говорю, что он преднамеренно и тщеславно берет на себя выполнение этих непосильных задач; напротив, они тяготеют над ним фаталистически, и он, даже при желании, не может ускользнуть от них. С каждым шагом вперед он идет навстречу ликующей современности, и не только не может защититься от нее, но не может и отступить. Жизнь защемила его в свои тиски и не выпустит до тех пор, пока не высосет всей его крови до последней капли. А затем выбросит в общую яму его труп и будет туда валить новые и новые трупы, из массы которых история, со временем, выработает свои "утешения".

* * *

Положа руку на сердце, говорю: меня мороз подирал по коже от этих мрачных дум. От времени до времени я заглядывал в окно и сквозь окрестную тьму различал вдали целые светящиеся города. То был промышленный уголок Бельгии с его неусыпающими фабриками и заводами. Вот то, где доподлинно добываются исторические утешения! думалось мне, и во-

ображение рисовало целые картины процесса этого добывания. Да и единение с народом тут же кстати пристегнулось. С народом, повинным вечной работе и изнемогающим под игом тьмы и проказы! Поди-ка подступись к этому народу! Ты думаешь о наслаждениях мысли, чувства и вкуса, о свободе, об искусстве, об литературе, а он свое твердит: жрать! Не разнообразно, но зато как определенно! Вот он говорит, что книги истребить надо – войди-ка с ним в единение во имя истребления книг! А может быть, ему и фабрика с заводом не в утешение, а в тягость – что ж, и эта почва для единения не дурна! Как бы то ни было, но уж он не уступит! Кто в проказе – тот с ним, у кого нет проказы – тот против него! Коротко и ясно.

Ты хочешь единения с народом? – прекрасно! выбирай проказу, ложись в навоз, ешь хлеб, сдобренный лебедой, надевай рваный пониток и жги книгу. Но не труби в трубу, не заражай воздуха запахом трубных огрехов! Трубные звуки могут только раздражать, а с таким непочатым организмом, как народ, дело кончается не раздражениями, а представлением доказательств.

Но всероссийские клоповники не думают об этом. У них на первом плане личные счета и личные отмщения. Посевая смуту, они едва ли даже предусматривают, сколько жертв она увлечет за собой: у них нет

соответствующего органа, чтоб понять это. Они знают только одно: что лично они непременно вывернутся. Сегодня они злобно сеют смуту, а завтра, ежели смута примет беспокойные для них размеры, они будут, с тою же холодною злобой, кричать: пали!

Очевидно, тут речь идет совсем не об единении, а о том, чтоб сделать из народа орудие известных личных расчетов. А сверх того, может быть, и розничная продажа играет известную роль. Потому что, сообразите в самом деле, для чего этим людям вдруг понадобилось это единение? С чего они так внезапно заговорили о нем?

Я помню еще от лет детства, как наш сельский батюшка говаривал: всегда бывали господа и всегда бывали рабы, и впредь уповательно так же будет. Говорил-говорил батюшка, да вдруг пришел царь-освободитель и снял с рабов узы. И остался батюшка с носом. Но он не обиделся этим и, вынув из-за пазухи предикку на тему "любите други своя", воскликнул: "Совершилось дело прелюбезное и для всех сердец равно благопотребное! С горних высот раздался глас: рабы да возвеселятся, помещики же да радуются! Размыслим же о сем, любезные слушатели, и для сего предложим себе два вопроса: первое, что сие означает? и второе, что сим достигается?" и т. д.

В сущности, наши консервативные клоповники

твердо помнят только дореформенный батюшкин афоризм и хлопчут только об одном: о действительнейших средствах народного порабощения. Но они понимают, что как скоро раз сказано: "рабы да возвеселятся", то упрощенные батюшкины предики уже недостаточны, а главное, они знают, что встретят на пути противников, которым действительно ненавистно народное порабощение. Стало быть, прежде всего нужно упразднить этих людей, стереть их с лица земли, обрызгать "слюною бешеной собаки". А для этого необходимо сделать их подозрительными, дать им кличку, воспользоваться всеми неясностями и недоразумениями жизни, чтоб наплодить массу новых неясностей и недоразумений. И когда травля будет надлежащим образом организована, когда пробудившееся чувство исторической розни будет доведено до степени неразличения врагов от друзей, тогда...

Что будет тогда – клоповники сами не уясняют себе. Они не презирают в будущее, а преследуют лишь ближайшие и непосредственные цели! Поэтому их даже не пугает мысль, что "тогда" они должны будут очутиться лицом к лицу с пустотой и бессилием. Покамест они удовлетворены уже тем, что ненавидеть могут свободно. И действительно, они ненавидят все, за исключением своей ненависти. Ненавидят завтрашний день, потому что тайна, которую он

хранит в недрах своих, мешает им бездумно предаться удовлетворению инстинктов человеконенавистничества; ненавидят своих собственных детей, потому что видят в них пособников и соучастников завтрашнего дня. Собственно говоря, нельзя представить положения более ужасного. Быть осужденному на вечное омертвление и знать, что тут же рядом нечто страдает, изнывает, стонет, но все-таки живет – разве можно представить себе казнь более жестокую, нежели это пустоутробное, пустомысленное и клопочущее самодовлеющей злобой существование?

Но для живущих дело не в том, чего достигают граждане клоповников, а в том, что бывают исторические минуты, когда их клеветы производят известный переполох в обществе. Мир, конечно, не погибнет от этих клевет, и история не перестанет созидать утешения; но отдельные индивидуумы могут погибнуть. Вот это именно и составляет ахиллесову пяту среднего человека. Видя, с какою безнаказанностью действует клевета, он начинает бояться, и в уме у него постепенно созревает деморализирующее "учение о шкуре". Но, раз деморализирован средний человек, деморализация уже делается достоянием всего общества. Все поголовно начинают усчитывать себя и припоминать; у всех опускаются руки, у всех начинают биться сердца беспредметной тревогой. Работа мысли пе-

рестает быть плодотворною и сосредоточивается исключительно на одном: на спасении "шкуры".

По совести говорю: общество, в котором "учение о шкуре" утвердилось на прочных основаниях, общество, которого творческие силы всецело подавлены, одним словом: случайность – такое общество, какие бы внешние усилия оно ни делало, не может прийти ни к безопасности, ни к спокойствию, ни даже к простому благочинию. Ни к чему, кроме бессрочного вращения, в порочном кругу тревог, и в конце концов... самоумерщвления.

.....

Было уже около шести часов утра, когда я вышел из состояния полудремоты, в которой на короткое время забылся; в окна проникал белесоватый свет, и облака густыми массами неслись в вышине, суля впереди целую перспективу ненастных дней. Мой vis-a-vis тоже проснулся, и я не без смущения заметил, что глаза его были пристально устремлены на меня. Это был человек средних лет, скорее молодой, нежели старый, подвижной и худощавый, не безобразный, но с сильным выражением приказной каверзости в лице, так что я тотчас же мысленно надел ему на голову фуражку с кокардой и форменное пальто. Такое выраже-

ние лица нередко встречается у земцев (он и действительно оказался таковым), которые когда-то служили в столоначальниках и ошиблись в надеждах на дальнейшую бюрократическую карьеру. Люди эти слывут в земстве дельцами, сочиняют формочки с бесчисленным множеством граф, называют себя консерваторами, хвастаются связью с землею, утверждают, что «русский мужичок не выдаст», и приходят в умиление от «Московских ведомостей». Нельзя сказать, чтоб они были положительно противны, но известная ограниченность мешает им различать добро от зла. Потому они всегда смотрят в одну точку, говорят одним и тем же тоном одни и те же слова, мыслят азбучно, но с сознанием благонадежности своих мыслей и бесконечно надоедают всем авторитетностью и избытком пустяков. По-видимому, этот человек узнал меня.

– В Париже побывали? – спросил он меня с напускною развязностью земского человека, который, памятуя, что он в некотором роде исполняет должность пятого колеса в колеснице государственного механизма, не хочет, чтоб его заподозрили, что он чем-нибудь стесняется.

– В Париже, – отвечал я.

– Поездили? погуляли?

– Так же, как и вы.

– Вернитесь домой, что-нибудь в смешном роде

напишете?

– Может быть, и в смешном...

Он с минуты помолчал. Ответы мои не удовлетворяли его: почему-то он ждал, что я перед ним, земцем, откроюсь. Потом он уперся руками в колени и опять в упор посмотрел на меня. Именно тем взглядом посмотрел, который говорит: а вот я смотрю на тебя – и шабаш!

– Однако, вы любите-таки посмеяться...

Он откинулся спиной к стене купе и ждал. Но я молчал.

– А пора бы, наконец, и трезвенное слово сказать,⁴ – продолжал он, все пристальнее и пристальнее вглядываясь в меня, как будто поставив себе задачу запечатлеть в своей памяти не только слова мои, но и выражение лица.

– Рады стараться!

– Вот видите, вы и теперь шутите. А ведь я, право, не шутя говорю: пора.

– Да, сколько помнится, я никогда пьяных слов и не говорил.

– И опять шутите! Я вам говорю, что пора трезвенное слово сказать, а вы о каких-то пьяных словах...

– В таком случае отвечу вам яснее: по крайнему моему убеждению, все слова, которые я когда-нибудь говорил, были трезвенные.

– Будто?

– Именно. Только надо знать грамоте и понимать, что читаешь – вот что прежде всего.

– Гм...

Он на минуту смолк, однако ж не сконфузился.

– Я, знаете, тамбовец; земец я... – начал он, как бы желая этим сказать, что стоит выше грамотности.

– Отлично.

– Вам, может быть, странным кажется, что я так прямо с вами заговорил?

– Да, странно.

– Но мы живем в такое время, когда церемонии-то приходится сдать в архив.

– Не вижу надобности.

– Право, так... а?

– Повторяю вам: не вижу надобности.

Но, по-видимому, и эти ответы не удовлетворили его, потому что он довольно-таки строго покачал головой и с расстановкою произнес:

– Однако, вы... не патриот!

Земцы вообще прилипчивы и самодовольны, но они редко бывают недоброжелательны. Дома, в своих захолустьях, они с утра до вечера суетсяя и хлопчут: покупают новые умывальники для больниц, чинят паромы, откладывают до будущей сессии вопрос о мелком поземельном кредите, о прекращении эпи-

зоотии, об оздоровлении крестьянских жилищ и проч., и так как все это им удается, то они чувствуют себя совершенно довольными. Набегаются день-денской, у всех побывают, со всеми поговорят, везде закусят, а к ночи, усталые, воротятся домой и засыпают до следующего утра. Понятно, что при таких условиях не может быть речи о недоброжелательном отношении к ближнему. Веруя искренно в свой жизненный подвиг, земец и ближнего своего не решаетя заподозреть в неверии.

Потому что тут дело ясное: вот он, рукомойник – смотри!

Но последнее трудное время, по-видимому, тронуло даже эту душевную ясность. Земцы начинают подзревать и озираться. Рукомойники остаются нелужеными, паромы дают течь, потому что земец решил, что это дело второстепенное и что прежде всего следует смотреть вглубь. Вот он и смотрит; смотрит да смотрит, и вдруг фигу увидит. Взволнуется, побежит и начинает шевелить бровями. И все разом бровями зашевелят – ужасно у них это серьезно выходит. Пошевелят и порознь и вкупе – и опять фигу увидят... Нельзя сказать, чтоб это было страшно, но как-то бестолково и бесполезно. По крайней мере, я лично очень жалею, что на наших глазах переводится наивная и добродушная порода людей, вполне довольных полу-

чаемым ими содержанием.

Сидевший передо мной экземпляр земца⁵, вероятно, и прежде уже таил в себе семена недоброжелательства; но события последнего времени еще более обострили в нем это качество. Он не просто смотрел вглубь, но потщился укрепить свой ум чтением передовых статей. Представление о рукомыльниках и пароммах он, по-видимому, совсем уж утратил и весь погрузился в дела внутренней политики. При этом, вероятно, вновь зароились в его мозгу и прерванные честолюбивые мечты столоначальника-неудачника. Представилась возможность не только наверстать потерянное, но и получить рубль на рубль. Творчество – не в ходу; зато на подозрительность – требование. В прежнее время он был бы рад-радехонек, если б его почтили хоть местом начальника отделения; теперь он смотрит уж выше. Даже исконную земскую неряшливость он уж успел стряхнуть с себя. Прежде он ездил в третьем классе и комкал свои пожитки в узел; нынче он в первом классе едет, и в руках его блестит лакированный мешок; прежде он умывался только через день; нынче он даже поясницу каждодневно моет казанским мылом. Вообще при взгляде на этого человека впечатление получалось колючее. До такой степени колючее, что когда он усомнился в моем патриотизме, то мне как-то невольно пришло на мысль: а

ведь он, пожалуй, возьмет да вдруг...

– Вы, может быть, опасаетесь, что я закричу караул? – продолжал он, прозорливо комментируя мысленные тревоги, отражавшиеся в моем лице.

– Здесь я не опасаясь этого, потому что за такой подвиг вас, наверное, высадят на станции.

– А в Вержболово, например?

Я должен был ожидать этого вопроса; но есть вопросы, которых всегда ожидаешь и которые всегда же застают врасплох. Я спасовал и сдался на капитуляцию.

– Спрашивайте, – сказал я.

– Прежде всего разуверьтесь, – начал он, – я человек правды – и больше ничего. И я полагаю, что если мы все, люди правды, столкнемся, то весь этот дурной сон исчезнет сам собою. Не претендуйте же на меня, если я повторю, что в такое время, какое мы переживаем, церемонии нужно сдать в архив.

– Ах, что вы! да разве я думал?..

– То-то-с. По моему мнению, мы все, люди добра, должны исповедаться друг перед другом и простить друг друга. Да-с, и простить-с. У всякого человека какой-нибудь грех найдется – вот и надобно этот грех ему простить.

– Ах, боже мой! да ведь это и есть моя мысль!

– Ну-с, так это исходный пункт. Простить – это пер-

вое условие, но с тем, чтоб впредь в тот же грех не впадать, – это второе условие. Итак, будем говорить откровенно. Начнем с народа. Как земец, я живу с народом, наблюдаю за ним и знаю его. И убеждение, которое я вынес из моих наблюдений, таково: народ наш представляет собой образец здорового организма, который никакие обольщения не заставят сойти с прямого пути. Согласны?

– Но разве можно сомневаться в том?

– Прекрасно. Несмотря, однако ж, на это, несмотря на то, что у нас под ногами столь твердая почва, мы не можем не признать, что наше положение все-таки в высшей степени тяжелое. Мы живем, не зная, что ждет нас завтра и какие новые сюрпризы готовит нам жизнь. И все это, повторяю, несмотря на то, что наш народ здоров и спокоен. Спрашивается: в чем же тут суть?

Я ничего не ответил на этот вопрос (нельзя же было ответить: прежде всего в твоих безумных подстрекательствах!), но, грешный человек, подмигнул-таки глазком, как бы говоря: вот именно это самое и есть!

– В том суть-с, что наша интеллигенция не имеет ничего общего с народом, что она жила и живет изолированно от народа, питаясь иностранными образцами и проводя в жизнь чуждые народу идеи и представления; одним словом, вливая отраву и разложе-

ние в наш свежий и непочатый организм. Спрашивается: на каком же основании и по какому праву эта лишенная почвы интеллигенция приняла на себя не принадлежащую ей роль руководительницы?

Я опять хотел было подмигнуть глазком: но на этот раз он смотрел на меня в упор и ждал. Поэтому я решился ответить ни да, ни нет.

– Удивительно, как вы плавно говорите! – польстил я ему.

– Прекрасно, – отвечал он. – А теперь спрашивается: что необходимо предпринять, чтоб устранить это растлевающее влияние? чтоб вновь вдвинуть жизнь в ту здоровую колею, с которой ее насильственно свела ложь, насквозь пропитавшая нашу интеллигенцию?

Он опять остановился, но на этот раз уже не для того, чтоб выждать от меня ответа, а для того, чтобы дать, так сказать, вылежаться фигуре вопрошения, которую он так искусно пустил в ход. Он даже губы сложил сердечком, словно сам себе подсвистать хотел.

– Ответ на этот вопрос простой, – продолжал он, – необходимо вырвать с корнем злое начало... Коль скоро мы знаем, что наш враг – интеллигенция, стало быть, с нее и начать нужно. Согласны?

Признаюсь откровенно: как я ни был перепуган, но при этом вопросе испугался вдвое ("шкура" заговори-

ла). И так как трусость, помноженная на трусость, дает в результате храбрость, то я даже довольно ответственно пробормотал:

– Прекрасно. Но, помнится, в девяностых годах прошлого столетия некто Марат именно такого рода целебные средства предлагал...⁶

– То-то вот и есть, что вы всё иностранных образцов ищите! – нимало не смущаясь, прервал он меня. – Марат! что такое Марат?! И какое значение может иметь Марат... для нас?

Тогда я опять понял, что в известных случаях прежде всего необходимо соглашаться, и, разумеется, поспешил исправить свою ошибку.

– Еще бы! – сказал я с увлечением. – Марат! что такое Марат?! там, у себя, он был Марат, а у нас, вероятно, был бы коллежским асессором!

– То-то вот и есть. Надо говорить дело, а вы... Марат!! Нас, батюшка, Маратами-то не удивишь! Итак, первое дело – побоку интеллигенцию; второе дело – побоку печать!

Но при слове "печать" мне опять сделалось тяжело, и я уже совсем бессознательно проговорил:

– Но Гутенберг...

– Что такое Гутенберг?

. – То есть не Гутенберг... а собственно говоря... Позвольте! не лучше ли было бы печать-то простить,

а вот, например, суды, земство... их бы вот...

– Суды – всенепременно-с. Но земство – земля-с. Земли касаться не следует-с.

– Ну да, земство – это так, – оправдывался я, – здоровое земство и за ним здоровый народ... И затем, ежели принять в соображение присвоенные земским деятелем оклады...

Я хотел было развить мою мысль, как вдруг случился совершенно неожиданный скандал. Один из наших спутников, вероятно, увидел отличнейший сон и на чистейшем русском диалекте закричал: Ай люли! ай люли!

Это восклицание разом перерезало наш разговор. Собеседник мой обиделся и проворчал:

– Нарезался... свинтус!

Но я, признаюсь, был обрадован, потому что с этими земцами, как ни будь осторожен и консервативен, наверное, в конце концов в чем-нибудь да проштрафишься. Сверх того, мы подъезжали к Кёльну, и в голове моей созрел предательский проект: при перемене вагонов засесть на несколько станций в третий класс, чтоб избежать дальнейших собеседований по делам внутренней политики.

– В Кёльне сядемте опять вместе, – обольщал меня между тем мой vis-a-vis, – я уверен, что мы наверное столкнемся. Слушайте! – прибавил он с увлечением, –

вы должны! вы непременно должны трезвенное слово сказать! это ваша нравственная обязанность!

– Ай люли! ай люли! – опять запел беспокойный сосед и на этот раз сам проснулся от звуков собственного голоса.

– Фляжку-то не стибрили у тебя? – продолжал он, обращаясь к своему vis-a-vis, тоже проснувшемуся, – а я, брат, должно быть, переспал... инда очумел!

Через десять минут мы были в Кёльне.

* * *

Я выполнил в Кёльне свой план довольно ловко. Не успел мой ночной товарищ оглянуться, как я затесался в толпу, и по первому звонку уж сидел в вагоне третьего класса. Но я имел неосторожность выглянуть в окно, и он заметил меня. Я видел, как легкая тень пробежала у него по лицу; однако ж на этот раз он поступил уже с меньшею развязностью, нежели прежде. Подошел ко мне и довольно благосклонно сказал:

– В народ идти пожелали?.. Ну, и прекрасно! Только попомните мое слово: необходимо, чтоб вы трезвенное слово сказали! Увидимся... в Вержболове!

Он удалился скорым шагом по направлению к своему вагону, но слова его остались при мне и заставили меня задуматься. За минуту перед тем я готов был

похвастаться, что ловко отделался от назойливого собеседника, но теперь эта ловкость почему-то представилась мне уже сомнительною. А ну, как вместо ловкости-то я собственными руками устроил себе западню? – смутно мелькало у меня в голове.

Земец, коль скоро ему раз вступило в голову, – что он консерватор, делается строг до непреклонности. На всякое возражение он смотрит, как на противодействие, и ежели, на беду, заподозрит при этом еще иронию, то готов мстить до седьмого колена. Говоря относительно, эта мстительность была бы не очень-то страшна, но то-то вот и есть, что времена-то нынче переходчивые: не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Смотришь на него, как он усами шевелит, думаешь, что он в каком-нибудь Цивильске на вечные времена погрузнул, а на поверку окажется, что он только нырнул там, а вынырнул-то вон где! Ты ему *там* не потрафил, а он тебя *тут* учтет, да еще так учтет, что небу жарко будет.

Разумеется, при помощи сметки и очень большого запаса осторожности, можно и это дело обладать. А именно: всякому встречному стараться попасть в тон, польстить, оказать услугу, сказать при случае: как это вы с такими способностями да в чертовой дыре засели! Только чересчур уж много хлопот это требует. Ведь нынче и не сочтешь, сколько этих "встречных"

развелось. Всех не переслушаешь, всякому не накла-
няешься. Поди угадай, которого полезно очаровать и
про которого можно сказать: а ты, по-прежнему, про-
должай в Пирятине смердеть!

Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на
прохожих и все думаю: который из них суженый мой?
какого мне умницей и красавчиком назвать? Если
б можно было всем огулом крикнуть: здорово, молод-
цы! – это было бы сейчас готово; но ведь они самолю-
бивы, и каждый непременно требует, чтоб его назвали
"молодцом" особо.

Смешай-ка его с массой других "молодцов" – он
обидится, будет мстить; а попробуй каждого останав-
ливать, перед каждым изъясняться – ей-богу, спина
переломится, язык перемелется. Да, пожалуй, еще
скажут: вот, мол, сума переметная, ко всякому лезет,
у всех ручку целует! должно быть, в уме какое-нибудь
предательство засело, коли он так лебезит!

Но все-таки, если раз судьба уж свела с прохожим
или проезжим – держи его крепче за фалды! Нужды
нет, что он прямо из-под Наровчата выскочил, все-та-
ки слушай его и удивляйся мудрости его соображе-
ний. Самое лучшее: слушай и не возражай – прохожие
это любят. Можно, однако ж, и возразить, но так, чтоб,
благодаря возражению, мудрость еще рельефнее вы-
ступила – это они тоже любят. А всего больше любят

раскаянье. Они будут на бобах разводить, а ты сиди и раскаивайся. Можешь даже слегка наклепать на себя – и это в заслугу сочтется. Был, дескать, я разбойником печати ⁷, неповинные души погублял, а теперь с тобой, наровчатским мудрецом, посидел – и вот, я весь тут. Никогда они этих ласковых твоих слов не забудут. Потому что, в сущности, они добрые, исключая, разумеется, тех минут, когда задыхаются от злобы. И вот, когда ты подметишь, что он в твою пользу размяк, тогда уж не плошай. Следи за ним, где он нырнул, в которую сторону побежала струя, и где можно предположить, что он вынырнет. Но при этом имей в виду и следующее: если он слишком долго ныряет, то легко может случиться, что течение вновь прибьет его к наровчатским трясинам, а там он уж окончательно пойдет ко дну. Тогда, делать нечего, лови другого прохожего мудреца, к другому примазывайся.

А что, если мой недавний собеседник возьмет да вынырнет? – думалось мне. Ведь он меня тогда с кашей съест! Что я такое? много ли нужно, чтоб превратить мое бытие в небытие? Хотя, с другой стороны, на какую потребу мне бытие? вот так бытие! Так не лучше ли сразу погрузиться в небытие, нежели остаться при бытии, с тем чтоб смотреть в окошко да улыбаться прохожим?

И ведь какую задачу мне задал этот проезжий муд-

рец: скажи ему трезвенное слово – шутка! Он будет закусывать да усы в очищенной мочить – а я перед ним навытяжке стой и трезвенные слова говори... шутники!

Право, мне до сих пор совсем искренно казалось, что я никогда никаких других слов, кроме трезвенных, не говорил, а вот отыскался же мудрец, который в глаза мне говорит: нет, совсем не того от тебя нужно. Но что-нибудь одно: или я был постоянно пьян, и в таком случае от пьяного человека нечего и ждать трезвенного слова; или я был трезв, а те, которые слушали меня, были пьяны. А может быть, они и теперь пьяны.

Ужасно мудрено иметь дело с пьяными ценителями. Говори ему, вразумляй, взывай к его совести, пробуждай в нем самосознание, кричи ему: проспись, пьяница! – а его только тошнит в ответ. А именно это и случается сплошь и рядом. Пьяный не возражает и не опровергает, а выражается афоризмами. Ни начала, ни конца у этих афоризмов уследить невозможно, а между тем он так самодовольно долбит ими, точно в них, и только в них одних, заключается патент на дальнейшее существование. "Нет, вы не патриот!" – поди разгрызи этот камень! Спроси его, что он разумеет под словом "патриот"? – он, вместо ответа, повторит: нет, вы не патриот! Спроси, почему он именно в данном случае формулирует упрек в недостатке

патриотизма? – он и опять повторит: нет, вы не патриот! Да, пожалуй, еще глазком подмигнет, бездельник. Ужасно очутиться лицом к лицу с этой глухой стеной. Сама по себе, стена есть только стена; но сознание, что нельзя от нее отойти, действует на человека необыкновенно мучительно. Весь дрожишь от боли и все-таки стоишь.

Вот если б он сказал: не нужно, мол, никаких ваших слов, ни пьяных, ни трезвенных – это, по крайней мере, было бы складно. Да, пожалуй, оно к тому и придет. Общество погрузилось с некоторых пор в такую смуту, что и само не разберет, пьяно оно или трезво. К кому обращаться с словом-то? – вот ведь к какому мы вопросу пришли. Будь слово самое трезвенное, все-таки найдутся пьяницы, которые перетолкуют его в пьяном смысле; будь слово самое пьянственное – те же пьяницы будут плескать руками. Велика должна быть сладкая привычка говорить, если даже такая дремучая смута не в силах заставить человека добровольно погрузиться в тину молчания! Но откуда взялась эта привычка? зачем?

Поймите же, пьяницы, сколько нечеловечески горького заключается в этих вопросах, и как должен быть измучен человек, который предлагает их себе! Ведь слово-то дар божий – неужто же так-таки и затоптать его? Ведь оно задушить может, если его не выгово-

ритель!.. Но раз подобные вопросы возникли, никакого другого ответа на них нельзя ожидать, кроме бесповоротного осуждения. И небо и земля, и движение, и жизнь – все исчезает; впереди усматривается только скелет смерти, в пустой череп которой наровчатский проезжий, для страха, вставил горящую стеариновую свечку.

Я невольно вспомнил: не дальше как в июле, три месяца тому назад, я ехал за границу, и спутниками моими были Удав и Дыба. Не скрою: не понравились мне тогда эти люди. Городят какие-то двусмысленности, не то либеральничают, не то "жамкнуть" собираются. Наслушаешься их – точно пустую бочку то вскаатишь на гору, то опять с горы спустишь. А теперь с какою благодарностью, можно сказать, даже с любовью я помянул их! Так бы, кажется, и не наслушался музыки их речей, кабы бог привел опять на распутии встретиться! Даже об ТвэрдоонтС всплакнул и у того некоторые словечки были...

Сравните их с этим не помнящим родства Маратом, которого я только что оставил, – и вы сразу почувствуете, как из области не особенно блестящей, но все-таки человеческой, переноситесь в область чистейшего истуканства. Интеллигенцию – побоку, печать – побоку; суды – побоку; с чем же жить-то останетесь? Земство покуда еще пощадил – жалованье ему оттуда вы-

дают; но дай срок! когда он вынырнет, он и земству копоту задаст. Он в солнце кишку пожарной трубы направит, чтоб светило умереннее. И все-таки мне не столько солнца жалко, сколько печати. Солнца-то, я знаю, не усмирить, а печать... чик! и нет ее!

Удав и Дыба были довольно разнообразны в выборе сюжетов для собеседования и, сверх того, обладали кой-какою фантазией. Напротив того проезжий Марат однообразен до утомительности и беден фантазией до нищенства. За душой у него всего один медный грош, и он даже не старается ввести насчет его в заблуждение. Он прямо и всенародно ставит его ребром, как бы говоря: вот вам грош, и знайте, что другого у меня нет.

Удав и Дыба охотно склонялись на сторону "подтягиванья", но, отстаивая это мировоззрение, они отчасти обставляли его теоретическими соображениями, отчасти ссылались на обстоятельства и вообще как бы слегка стыдились. Грустно, мол, но делать нечего. Проезжий Марат хотя тоже до краев преисполнен "подтягиванья", но уже у него нет ни обстановок, ни ссылок, ни стыда, так что "подтягиванье" является совершенно самостоятельной бессмыслицей, не имеющей ни причин, ни предмета.

Склоняясь на сторону "подтягиванья", Удав и Дыба тем не менее не отрицали, что можно от времени до

времени и "поотпустить". Проезжий Марат не только ничего подобного не допускает, но просто не понимает, о чем тут речь. Да он и вообще ни о чем понятия не имеет: ни о пределах власти, ни о предмете ее, ни о сложности механизма, приводящего ее в действие. Он бьет в одну точку, преследует одну цель и знать не хочет, что это однопредметное преследование может произвести общую чахлость и омертвление.

Все в мире выясняется только при посредстве сравнительного метода. Часто мы бываем несправедливы к людям потому только, что полагаем, что хуже их не может уж быть. А на поверку оказывается, что природа в этом смысле неистощима. С каким бы удовольствием я побеседовал теперь с Удавом! с каким наслаждением выслушал бы бесконечные рассказы Дыбы о мудрости князя Михаила Семеныча и прозорливости графа Алексея Андреича! ⁸ По крайней мере, в этих беседах я мог бы уловить образ, слово... Конечно, возражать было и тогда неудобно; но неужто ж непременно надобно возражать?

А теперь вот, гляди на картонное лицо не помнящего родства прохожего и слушай его азбучное гудение! И не моргни.

Наконец, мы и в Вержболове. Все, о чем в течение праздного скитания по заграничным палестинам томилось и тосковало сердце, – все теперь тут, налицо. Осмотр вещам совершился; «отметка о возвращении» оторвана. Тихо, смиренно, благородно. Кто-то в толпе крикнул: «теперь, брат, ау!» Крикнул и собственного голоса не узнал. В станционном ресторане подают сосиски с капустой и предупреждают: «Это у немцев, в Эйдткунене, с трихинами, а у нас и заведения этого нет». Все крестятся, все довольны: слава богу! приехали! Какой-то земец, – но не мой: я нарочно три дня в Берлине прожил, чтобы «мой» схлынул – надевает на шею аннинский крест. Барыни спрашивают друг друга: Ну что провезли? – и от радостного волнения тыкают вилкой и не могут попасть в тарелку.

При входе в спальный вагон меня принял молодой малый в ловко сшитом казакине и в барашковой шапке с бляхой во лбу, на которой было вырезано: *Артельщик*. В суматохе я не успел взглянуть в его лицо, однако ж оно с первого же взгляда показалось мне ужасно знакомым. Наконец, когда вес понемногу угмонилось, всматриваюсь вновь и кого же узнаю? – того самого «мальчика без штанов», которого я, четыре

месяца тому назад, видел во сне, едучи в Берлин!

– Слушайте-ка, – сказал я, улучив минуту, когда он проходил мимо меня, – помните, между Бромбергом и Берлином, в какой-то немецкой деревне, я вас без штанов видел?

Однако он прошел, сделав вид, что не расслышал моего вопроса. Мне даже показалось, что какая-то тень пробежала по его лицу. Минуту перед тем он мелькал по коридору, и на лице его, казалось, было написано: уж ежели ты *мне* на водку не дашь, так уж после этого я и не знаю... Теперь же, благодаря моему напоминанию, он вдруг словно остепенился.

Разумеется, я не настаивал; но явление это не могло, однако ж, не заинтересовать меня. Что собственно не понравилось ему в моем напоминании? То ли, что я когда-то знал его в угнетенном виде, которого он теперь, одевшись в штаны, стыдится, или то, что я был однажды свидетелем, как он хвастался перед "мальчиком в штанах", что он, хоть и без штанов, да зато Разуваеву души не продал, "а ты, немец, контрактом господину Гехту обязался, душу ему заложил"... И вот теперь, после такого решительного бахвальства, я же встречаю его не только в штанах, но и в суконной поддевке, в барашковой шапке, форма и качество которых несомненно свидетельствуют о прикосновенности к этой метаморфозе господина Разуваева.

Подобные неясности в жизни встречаются довольно нередко. Я лично знаю довольно много тайных советников (в Петербурге они меня игнорируют, но за границей, по временам, еще узнают), которые в свое время были губернскими секретарями и в этом чине не отрицали, что подлинный источник света – солнце, а не стеариновая свечка. И представьте себе, ужасно они не любят, когда им про это губернское секретарство напоминают. И тоже трудно разобрать, почему.

В надежде уяснить себе этот вопрос, я несколько раз, даже по пустякам, зазывал "мальчика без штанов" в свой купе, но какие вопросы я ни предлагал, он на все отвечал однословно и угрюмо. Наконец я решил дать ему двугривенный. Принял.

– Это на первый раз, – поощрительно присовокупил я, не вступая, впрочем, в дальнейший допрос.

Поклонился, но промолчал.

Миновали Ковно. Пришла ночь, а с нею пора делать постели. Я и еще двугривенный дал. Опять принял и даже как будто повеселел.

– От Разуваева штаны получили? – спросил я как бы мимоходом.

– От него.

– А помните ли вы...

Притворился, что какие-то пассажиры его требуют, и ушел, не давши мне договорить.

Ночь я провел совершенно спокойно и видел веселые сны. Я будто бы пишу, а меня будто бы хвалят, находят, что я трезвенные слова говорю. Вообще я давно заметил: воротишься домой, ляжешь в постельку, и начнет тебя укачивать и напевать: "Спи, ангел мой, спи, бог с тобой!"

Утром проснулся, еще семи часов не было. Выхожу в коридор – "мальчик" сидит и папироску курит. Вынимаю третий двугривенный.

– По контракту? – спрашиваю.

– Не иначе, что так.

– Крепче?

– Для господина Разуваева крепче, а для нас и по контракту все одно, что без контракта.

– Значит, даже надежнее, нежели у "мальчика в штанах"?

– Пожалуй, что так.

– А как же теперь насчет Разуваева? помните, хватались?

Заторопился, стал к чему-то прислушиваться, сделал вид, что нечто услышал, и скрылся.

Вплоть до самой Луги я не мог его уловить. Несколько раз он пробежал мимо, хотя я держал наготове четвертый двугривенный, – и даже с таким расчетом держал, чтоб он непременно заметил его, – но он, очевидно, решился преодолеть себя и навстречу

ласке моей не пошел.

Разумеется, это меня возмутило. Вот, думалось мне, как Разуваев "обязал" тебя контрактом, так ты и заочно ему служишь, все равно как бы он всеминутно у тебя перед глазами стоял, а я тебе уж три двугривенных сряду без контракта отдал, и ты хоть бы ухом повел! Нет, надобно это дело так устроить, чтоб на каждый двугривенный – контракт. Коротенький, но точный, и душа чтоб тут же значилась. И непременно в разуваевском вкусе. Чтоб для тебя, "мальчика без штанов", это был контракт, а для меня чтоб все одно, что есть контракт, что его нет.

Наконец, в Луге, все пассажиры разошлись обедать, и я поймал-таки его.

– Вот вам рубль, – говорю.

Принял.

– Слышал я за границей, что покуда я ездил, а на вас мода пошла? – продолжал я.

Усмехнулся и хотел было увильнуть; но потом вспомнил, что я за свой рубль имел хоть на ответ-то право, – и посовестился.

– На нас, сударь, завсегда мода. Потому, господину Разуваеву без нас невозможно.

Проговорив это, он скорым шагом удалился к выходу и через минуту уже сновал взад и вперед по платформе, отрывая зубами куски булки, которая заменя-

ла ему обед.

Через два часа мы были дома.

Примечания I

Книга очерков «За рубежом» возникла в результате заграничной поездки Салтыкова летом – осенью 1880 г. Печатались «За рубежом» первоначально в «Отечественных записках», 1880, № 9 – 11; 1881, № 1, 2, 5, 6.

Отдельным изданием – единственным при жизни автора – "За рубежом" вышли в сентябре 1881 г. Текст отдельного издания отличается от текста журнальной публикации немногочисленными разночтениями.

Прочитав первую главу "За рубежом", критик П. В. Анненков писал Салтыкову: "Это прелесть. Мне кажется, что одни комментарии к Вашим рассказам могли бы составить порядочную репутацию человеку, который бы за них умело взялся. Ввиду того, что Вы один из самых расточительных писателей на Руси, комментарии почти необходимы. Сколько собрано намеков, черт, метких замечаний в одном последнем рассказе, так это до жуткости доходит – всего не разберешь, всего не запомнишь".

Появление очерков "За рубежом" в "Отечественных записках" привлекло большое внимание русского общества и печати. Не было, кажется, ни одной сколько-нибудь видной газеты в столицах и в провинции,

которая так или иначе не откликнулась бы на публикацию очередной главы. Однако серьезных выступлений критики о всем произведении, по существу, не было. Как сказано, отдельное издание "За рубежом" появилось осенью 1881 г. Политическая обстановка в стране после цареубийства 1 марта и контрнаступления правительства сделали невозможным публичное обсуждение одной из самых "резких" по тону книг Салтыкова. Тем более невозможным, что в двух последних главах "За рубежом" писатель уже начал свою беспримерную борьбу о наступавшими силами новой и самой свирепой реакции. Послепервомартовскими главами "За рубежом" начинается трагический Салтыков 80-х годов, когда его голос приобрел особенно мощное значение. Но все, чем могла откликнуться прогрессивная печать на появление отдельного издания "За рубежом", – хотя и высокой, но самой общей оценкой новой книги Салтыкова – признанием ее "крупным фактом" в русской литературе и жизни¹⁸⁸

ЗА РУБЕЖОМ

¹⁸⁸ См.: Порядок. – 1881. <...>

¹ *Юнгфрау* – одна из самых красивых гор в Швейцарии, господствующая над городом Интерлакеном, в котором Салтыков прожил несколько дней летом 1880 г.

² *...на берегах Иловли* Название этой реки в Саратовской губ. (приток Дона) часто упоминалось в газетах 1880 г. в связи с бедствиями засухи и недорода этого года.

³ *...в долине Лана.* – На реке Лан (приток Рейна) расположен курорт Бад-Эмс, в котором летом 1880 г. жил и лечился Салтыков.

⁴ *...вздыхают над вопросами об акклиматизации саранчи, колорадского жука и гессенской мухи.* – В 1879–1880 гг. сельское хозяйство России подверглось не только засухе, но и невиданным нашествиям саранчи, а также колорадского жука. Они опустошили урожаи не только южных губерний, но и средней черноземной полосы. Ухудшение положения деревни, а также трудящегося населения городов явилось одним из факторов, способствовавших обострению общественно-политической борьбы в стране и вызреванию революционной ситуации. Ироническое

сочетание слов *акклиматизации саранчи* – сатирический выпад против равнодушия и безрукости властей в борьбе с этим народным бедствием.

⁵ *Kraenchen... Kesselbrunnen* – баденские минеральные воды. «...отпущенных по пачпорту», в *Вержболове обыскали*. – Отъезжающие русские приравниваются к людям крепостной неволи.

Отпущенные по пачпорту – термин из времен крепостного права. Так называли помещичьих крестьян, переведенных с барщины на оброк и отпущенных из имения. Вержболово (ныне литовский город Вирбалис) – до войны 1914 г. русская пограничная станция с Германией.

⁶ ...объявили нас от митирогнозии свободными – сатирический псевдоним для обозначения грубой уличной брани. В целях иронического эффекта слово создано Салтыковым по модели научной терминологии из греческих: meter – мать и gnosis – познание. Ср. ниже аналогичное словообразование: «митирологии».

⁷ *Кажется, мы нынче смирно сидим... Ни румынов, ни греков, ни сербов, ни болгар – ничего за нами, нет*. – Нынче – то есть после только что закончившейся 1 июля 1880 г. Берлинской конференции, установившей границы Греции, Турции, Сербии, Бол-

гари, Румынии и тем закрепившей положения Берлинского конгресса 1878 г. Конгресс был созван по инициативе Австро-Венгрии и Англии для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного договора, завершившего русско-турецкую войну 1877–1878 гг. Основной целью конгресса и конференции было ограничить русские претензии на Балканах и остановить движение России к проливам.

⁸ *Эйдткунен* – до войны 1914 г. немецкая железнодорожная станция, пограничная с Россией (ныне Краснознаменск Калининградской обл.).

⁹ *Один... назывался по фамилии Дыба; другой... Удав... Один прошел школу графа Михаила Николаевича в качестве чиновника для преступлений; другой прошел школу графа Алексея Андреевича в качестве чиновника для чтения в сердцах.* – У д а в и Д ы б а – сатирические типы высших царских бюрократов, непосредственных вершителей и проводников политики самодержавного правительства. Граф Михаил Николаевич – военный генерал-губернатор Северо-Западного края М. Н. Муравьев, усмиритель восстаний 1863 г. в Литве и Белоруссии, за что получил от царя титул графа, а общественным мнением был заклеен как «вешатель». Граф Алексей Андреевич – А. А. Аракчеев. Первоначально главою «школы», которую проходили «чиновники для чтения

в сердцах», другими словами – официальные и секретные агенты политической полиции царизма, был назван (в рукописи) граф Петр Андреевич. Эти имя и отчество, а также титул принадлежали бывшему шефу жандармов и начальнику III Отделения (в 1866–1874 гг.) Шувалову, прозванному за свое всевластие «Петром IV» и «Аракчеевым II». Но он здравствовал, и Салтыков, взвесь центурную опасность своего первоначального намерения, отказался от него.

¹⁰ ...в червленом... – в темно-красном, багровом.

¹¹ *Шафнер* – кондуктор, проводник (нем. Schaffner).

¹² ...ибо нынче и у нас в Петербурге... вольно! –

Указание на так называемую «диктатуру сердца» – политику графа М. Т. Лорис-Меликова, назначенного в феврале 1880 г. (после взрыва в Зимнем дворце, произведенного С. П. Халтуриним) начальником Верховной распорядительной комиссии, а после ее ликвидации, в августе того же года, министром внутренних дел и шефом жандармов (что не означало ликвидации «диктатуры»). Считая недостаточными одни административно-судебные меры в борьбе с революционным движением, Лорис-Меликов ослабил систему политических репрессий и цензурного гнета, уволил в отставку наиболее непопулярных реакционных министров, наметил ряд либеральных реформ и пытал-

ся привлечь к разработке их представителей прогрессивной и даже радикальной общественности, в частности Салтыкова. Политика «диктатуры сердца» продолжалась до событий 1 марта 1881 г. После издания Александром III манифеста об укреплении самодержавия Лорис-Меликов и его либеральные коллеги вышли в отставку.

¹³ *«...в песках которого ютилось знакомое читателю Монрепо»* – указание на главный образ в предшествовавшей «За рубежом» салтыковской книге «Убежище Монрепо».

¹⁴ *Я видел такие обширные полевые пространства в... Пензенской губернии.* – В 1865–1866 гг. Салтыков служил в Пензе управляющим Казенной палатой.

¹⁵ *...пропадать пропадом в Петергофском уезде.* – В 1877 г. Салтыков купил имение-дачу в селе Лебяжьем под Ораниенбаумом Петергофского уезда.

¹⁶ *...до Филиппова заговенья* – то есть до 14 ноября ст. ст.; по названию в православном и народно-бытовом календаре.

¹⁷ *Инстербург* – после Великой Отечественной войны город Черняховск Калининской области.

¹⁸ *...Печорские леса слишком часто нам во сне*

снятся... – Печорский уезд Архангельской губернии был одним из районов ссылки для революционеров.

¹⁹ *Кнехт* – работник, батрак (нем. Knecht).

²⁰ ...около каждого «обеспеченного наделом». – Иронически цитируется термин из официальных документов по проведению реформы 19 февраля 1801 г. Реформа эта, признавшая всю землю, находившуюся в пользовании «барских крестьян», собственностью помещиков, обязывала последних «обеспечить крестьян наделом земли». «Наделы», которыми крестьяне не могли прокормиться, должны были выкупаться ими по ценам, намного превышающим действительную стоимость земли.

²¹ *Cur quomodo?.. quibus auxilium* – термины римского права, применявшиеся при процессуальном исследовании обстоятельств и причин совершенного преступления. Здесь ниже Салтыков использует эти латинские термины для эзоповского обозначения государственной власти, под защитой которой набиравшая силы буржуазия – кулачество – предавалась «кровопивственному процессу» над крестьянскими массами.

²² ...мы, того и гляди, и политическую-то экономию совсем упраздним – одна из полемических стрел в лагерь народнических теоретиков, надеяв-

шихся, что России удастся избежать капиталистического пути развития. Политическая экономия означает здесь капитализм и вообще весь противопоставленный идеалам социализма мир общественных отношений, основанных на частной собственности.

²³ ...у нас практически заниматься вопросом о «распределении богатств» могут только Политковские да Юханцевы, – Справку о Политковском и учиненном им огромном казнокрадстве см. ниже примеч. 17 к гл. IV. Юханцев – герой сенсационного уголовного процесса растратчиков и аферистов из петербургского «Общества взаимного кредита», похитивших с 1873 по 1878 г. свыше двух миллионов рублей общественных денег (Юханцев был кассиром «Общества»).

²⁴ ...всеобщность недовольства... – О широком распространении настроений недовольства в стране на рубеже 70 – 80-х годов сохранилось множество свидетельств современников.

²⁵ Когда делили между чиновниками сначала западные губернии, а впоследствии Уфимскую... – Летом 1880 г., как раз в момент отъезда Салтыкова за границу, в ряде газетных статей было раскрыто дело о расхищении высшими чиновниками империи казенных земель в Уфимской и Оренбургской губернии.

ях. Огромные хищения эти (преимущественно земель с ценным корабельным лесом) были произведены в бытность П. Л. Валугева с 1872 по 1877 г. министром государственных имуществ. Дело получило широкую огласку, приковало к себе на ряд месяцев исключительное внимание печати и вынудило Лорис-Меликова назначить senatorскую ревизию. Уже вернувшись из-за границы, Салтыков писал П. В. Анненкову по поводу предстоящей ревизии, порученной сенатору М. Е. Ковалевскому, с которым был близко знаком: «Выплыло нечто ужасное. Из 420 тысяч десятин казенных оброчных статей осталось налицо только 18 десятин. Остальное все роздано... Это одно из самых крупных событий, и ужасно любопытно, успеют ли его проглотить и скомкать, или же ему суждено иметь развитие» (письмо от 18 октября 1880 г.).

²⁶ *...а толоконников чтоб к нам под начал определили...* – Толоконник – иначе неимущий, бедняк, тот, кто питается дешевой пищей – толокном.

²⁷ *На вроде тех, какие у нас, в «прекрасном далеко», через час по ложке прописывают...* – По-видимому, намек на издававшиеся за границей программные «записки» русской либеральной, в том числе земской, оппозиции (см., например, напечатанную анонимно в 1875 г. брошюру К. Д. Кавелина «Чем нам быть?» и др.). В прекрасном далеко – цитата из «Мертвых душ»

Гоголя (ч. I, гл. II).

²⁸ ...*в карамзинско-державинском роде*... – здесь: в значении духа верноподданничества.

²⁹ ...*перелагают Давидовы псалмы*... – Современники усматривали здесь намек на писательскую деятельность в области духовно-религиозной литературы бывшего министра внутренних дел и затем государственных имуществ П. А. Валуева («Сборник кратких благоговейных чтений на все дни года» и др.).

³⁰ «*О ты, что в горести...*» – начальные строки «Оды, выбранной из Иова...» Ломоносова.

³¹ ...*"вы кому руку-то жмете? ведь это..."* – подразумевается: доносчик, шпион. Недосказанность – один из приемов в технике эзоповской речи Салтыкова.

³² ...*это ежели с точки зрения «предостережений» и розничной продажи*... – Правительство добивалось от прессы нужной ему информации путем цензурно-административных репрессий, наиболее популярными среди которых были: объявление органу печати «предостережения» (после третьего «предостережения» следовало закрытие) и запрещение розничной продажи, что сильно било по карману владельцев газет и заставляло их оказывать на своих редакторов соответствующее давление.

³³ ...брошюры г. Цитовича. – Профессор Новороссийского университета П. П. Цитович «прославился» в 1878 г. своими ультрареакционными, доносительными пасквилями на деятелей революционной демократии. Эти пасквили, не без таланта написанные, издавались автором отдельными брошюрами в громадных тиражах («Что делали в романе «Что делать?», «Разрушение эстетики», «Реальная критика» и др.). В 1880 г. Цитович предпринял в Петербурге издание официозно-консервативной газеты «Берег», вскоре прекратившем свое существование.

³⁴ ...департамент Расхищений и Раздач... – один из «псевдонимов» царских министерств в салтыковской сатире. Ближайшим образом имеется в виду министерство государственных имуществ, непосредственно ответственное за расхищение и раздачу казенных земель в Уфимской и Оренбургской губерниях.

³⁵ ...в последнее время русская печать... настаивала на том, чтоб всех русских жарили по суду. – См. об этом ниже, примеч. 21 к гл. III.

³⁶ «Вот хоть бы земство, – молвил Дыба, – ну, разве это... мечта?..» – Разговоры «автора» с «бесшабашным советником» о земстве – сатира на ту бюрократическую опеку правительства над органами

местного самоуправления, которая свела их значение к чисто хозяйственной деятельности, касающейся «польз» и «нужд» данной губернии или уезда...

³⁷ *«Мальчик в штанах и мальчик без штанов»*. – Почти сразу после появления диалога в печати был отмечен полемический характер ряда мест салтыковской «сцены» по отношению к речи Ф. М. Достоевского о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г. на торжествах открытия памятника поэту в Москве и сразу же ставшей знаменитой. Салтыков отрицательно отнесся к выступлению Достоевского. По его мнению, автор «Братьев Карамазовых» «эскамотировал», то есть использовал «в свою пользу», Пушкинский праздник. В диалоге двух мальчиков, а также в последующем тексте «За рубежом» не раз встречается ироническая цитата знаменитых мест из речи Достоевского: «новое слово», «скиталец», «гордый человек» и др. Но полемичны по отношению к выступлению Достоевского не частности, а главное и основное в понимании этими писателями России и Запада и их сопоставления. Для Салтыкова, в творчестве которого обличение пассивности народа и общества заняло такое огромное место и звучало так трагически, особенно неприемлем был призыв Достоевского к смирению, обращенный к протестующим, оппозиционным, борющимся кругам русской интеллигенции. Неприемлемо было

и понимание смирения как народного идеала и добродетели («Смирись, гордый человек... вот это решение по народной правде и народному разуму»). Словами «мальчика без штанов» («Что Колупаев! С Колупаевым мы сочтемся... это верно!») Салтыков указывал на существование в народных массах также и совсем других настроений – борьбы, а не послушности. Резко враждебно отнесся Салтыков и к утверждению Достоевского, будто народ русский уже нашел для себя «правду» в религии. В споре с либеральным публицистом[...] радовским по поводу своей речи о Пушкино Достоевский утверждал (в «Дневнике писателя» в 1880 г.), что «наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его». Как бы отвечая на это и подобные ему утверждения Достоевского о русском «народе-богоносце», Салтыков вкладывает в уста «мальчика без штанов» такой ответ на вопрос «мальчика в штанах», знает ли его русский «коллега», «что такое бог?»: «А бог его знает, что такое бог! У нас, брат, в селе Успленью-матушке престольный праздник показан – вот мы в спожинки его и справляем!»

38 *...вот мы в спожинки его и справляем.* – Спожинки или дожинки – последние снопы, празднование окончания жатвы; также название в народно-крестьянском обиходе Успенского поста, совпадающего

по времени с уборкой урожая (август).

³⁹ ...а нынче еще урядников ругаться наняли. – Институт полицейских урядников был введен 1 августа 1879 г. в связи с «неблагополучным положением» в деревне. В среднем на уезд приходилось по 11 урядников.

⁴⁰ А я такую сигнацию выдумал: предъявителю выдается из разменной кассы... плюха! – После русско-турецкой войны курс русского рубля за границей стоял очень низко. Слова «мальчика без штанов» связаны с каламбуром Салтыкова, сказавшего в ответ на сообщение, что в Германии за рубль только полтинник дают: «Погодите, скоро за него будут только по морде давать».

⁴¹ ...выкупные подавай! – По «Положениям» 19 февраля 18[...]¹ г. крестьянам для выкупа усадеб и полевых наделов была представлена от государства ссуда (единовременно выплаченная помещикам), которую они должны были погасить в течение сорока девяти лет. Взносы погашения назывались выкупными платежами или просто выкупами.

⁴² ...двадцать лет, как Вы хвастаетесь, что идете исполнскими шагами вперед, а некоторые из Вас даже и о каком-то «новом слове» поговаривают... – Предмет критики здесь: официальные и

неофициальные апологии послереформенного развития России и, как упомянуто уже, пушкинская речь Достоевского (то место в ней, где говорится, что русскому народу предназначено высказать человечеству «новое слово» – «изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону!»).

II

¹ ...любуется люцернским раненым львом, с подписью: *Helvetiorum virtuti ac fidei*, каковую надпись, в шутливом русском тоне, переводит: «любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1790 году, за поденную плату, французское престол-отечество». – Находившиеся на службе у Бурбонов швейцарские наемные войска участвовали в защите последней резиденции Людовика XVI, дворца Тюильри, захваченного 10 августа 1792 г. посетившими парижскими секциями. Памятник швейцарцам, павшим при защите Тюильри, был воздвигнут в 1821 г. в Люцерне по модели Торвальдсена; высеченный в скале, он изображает умирающего льва.

² ...людей-мучеников... – Речь идет о русской революционной эмиграции.

³ ...в смысле предупреждения и пресечения. – «Предупреждение и пресечение преступлений» – термины полицейского и уголовного права.

⁴ В 1848 году Берлин даже бунтовал, но непродолжительно и скучно. – Революционное восстание в Берлине, начавшееся 18 марта 1848 г., продолжалось два дня. Результатом восстания явилась очень умеренная конституция при сохранении монархии.

³ ...встречаются в это время на Невском еще железнодорожники и кокетки... – Речь идет о железнодорожных концессионерах-капиталистах, «героях» салтыковской сатиры в «Дневнике провинциала в Петербурге».

⁶ ...ему воздвигнут на Королевской площади памятник... – Памятник победы над Францией в войне 1870–1871 гг. Королевская площадь Берлина находилась в северной части Тиргартена.

⁷ ...начнет повествовать об Верте или об Седане. – Верт – город в Нижнем Эльзасе, близ которого 6 августа 1870 г. разыгралось первое крупное сражение франко-прусской войны, закончившееся победой пруссаков; Седан – крепость во Франции, где 2 сен-

тября 1870 г. Мольтке окончательно разгромил французскую армию и часть ее, вместе с Наполеоном III, взял в плен.

⁸ ...(*«не знает, как блеснуть очаровательнее»*, как выражается у Островского Липочка Большова) – из пьесы «Свои люди – сочтемся», д. I, явл. 1 (в подлиннике: «Сами не понимают, как блеснуть очаровательнее!»).

⁹ ...*не могу не припомнить одного любопытного факта из моего прошлого.* – Далее излагается эпизод, связанный с именем известного ученого-криминалиста профессора Я. И. Баршева. В годы обучения в Александровском (ранее Царскосельском) лицее Салтыков слушал у названного профессора курс уголовного права и судопроизводства.

¹⁰ *Рассказывают, правда... что берлинское начальство... отнюдь не церемонится с излюбленными берлинскими людьми.* – Эти строки относятся к тому этапу истории социал-демократического движения в Германии, который прошел под знаком осуществленного Бисмарком в 1878 г. «чрезвычайного закона против социалистов». Как раз в мае 1880 г., то есть незадолго до того, как Салтыков посетил Германию, закон был продлен еще на четыре года (до 1884 г.). Непосредственным толчком[...] похода им-

перского правительства и буржуазии против [...] социал-демократии на выборах в рейхстаг в 1874 и 1877 гг., что и имеет в виду Салтыков, говоря о «некоторых парламентских выборах».

¹¹ *...все равно, что быть вверженным в львиный ров...* – реминисценция библейского рассказа о пророке Данииле, брошенном за неисполнение царского указа в ров, в котором содержались львы, и о чудесном спасении его.

¹² *...вассерфрау* – женщины, подающие лечебные воды.

¹³ *...динстманы, пактрегеры* – посыльные, носильщики.

¹⁴ *...кому скажет: лоб!* – Слово «лоб!» провозглашалось в рекрутском присутствии по отношению к новобранцу, принятому на военную службу (от обычая брить лоб принятому и брить затылок не принятому).

¹⁵ *...нескромности табльдотного Рюи-Блаза.* – Рюи-Блаз – одновременно лакей и любовник королевы у героя одноименной драмы Виктора Гюго.

¹⁶ *Et voila comme on ecrit l'histoire* – ставшие крылатыми слова из комедии Вольтера «Шарль, или Графиня Живари» (1, 7).

¹⁷ *... "во всех ты, душенька, нарядах хороша"* – из

поэмы «Душенька» И. Ф. Богдановича.

¹⁸ *А то не хотите ли в Фавориту!..* – Замок Фаворите начала XVIII в. – одна из популярнейших достопримечательностей в окрестностях Баден-Бадена, а также место увеселительных прогулок.

¹⁹ *...сама «вдова» благословила...* – вдова Наполеона III, экс-императрица Евгения, урожденная Монтихо.

²⁰ *...не имеющие... понятия об «увенчании здания»...* – то есть о конституции, об «увенчании» «здания» реформ 60 – 70-х годов.

²¹ *Там, батюшка, нынче Изабелла в ход пошла!* – С начала 1880 г. в Испании сильно обострилась борьба клерикалов-консерваторов за уничтожение конституции 1876 г. Вдохновительницей и организатором движения явилась бывшая испанская королева Изабелла II (Мария-Луиза), свергнутая с престола в 1868 г. и жившая с тех пор в Париже.

²² *...некогда они <швейцарцы> изменили законному австрийскому правительству, и с тех пор опера «Вильгельм Телль» дается в Петербурге под именем «Карла Смелого»...* – Возникновение легенды о свободолюбивом стрелке Вильгельме Телле связано с национально-освободительной борьбой швейцарских кантонов против австрийского ига Габсбур-

гов (кон. XIII – нач. XIV в.). Написанная на этот исторический сюжет опера Россини «Вильгельм Телль» шла на русской и итальянской сценах в Петербурге с политически «нейтрализованным» сюжетом и под измененным названием «Карл Смелый» («Carlo il Temerario»). В 40 – 60-е годы спектакли оперы пользовались огромным успехом у радикально настроенной молодежи. О революционизирующем воздействии оперы Салтыков писал неоднократно, начиная с первой своей повести «Запутанное дело».

²³ *Петанлерчик* – уменьшит, от «петанлер» (фр. pet-en-l'air) – короткая куртка.

²⁴ *Еще когда устав о кантонистах был сочинен.* – Уставом 1824 г. все кантонисты (солдатские сыновья, прикрепленные с рождения к военному ведомству) были переданы в заведение начальнику военных поселений Аракчееву.

²⁵ *А я вам докладываю: всегда эти «увенчания» были... Возьмем хоть бы вопрос об учреждении губернских правлений...* – Сатирическая острота заключается здесь в намеке на то, что при организации губернских правлений в 1775 г. они по закону являлись учреждениями совещательными при «государевом наместнике» – губернаторе и должны были состоять из выборных представителей от сословий. В даль-

нейшем при введении земских учреждений губернским правлениям был придан исключительно бюрократический характер с подчинением их органам центральной власти.

III

¹ *С акушерками повидаться ездили?* – Ученые акушерки – первоначальное название в России женщин-врачей. Вслед за первой русской женщиной-врачом Н. П. Суловой, окончившей в конце 60-х годов Цюрихский университет, в Швейцарию устремлялось немало русских девушек, искавших образования и самостоятельности.

² *...когда нам в первый раз отворили двери за границу...* – Жесткие правила выезда за границу, установленные в царствование Николая I, были существенно облегчены законом от 26 августа 1856 г.

³ *risum teneatis, amici!* – из «Ars poetica» («Наука поэзии») Горация.

⁴ *...нужно начать борьбу... А где же взять сил для борьбы?...Остается один выход: благородным образом тосковать.* – Эти слова написаны в самый разгар героических попыток «Народной воли» дезор-

ганизовать самодержавное правительство революционным террором. Они – одно из свидетельств неверия Салтыкова в успешность таких попыток и его отрицательного отношения к таким формам политической борьбы.

⁵ *Управа благочиния* – архаическое уже в момент написания главы наименование органа исполнительной полиции. Салтыков пользуется этим наименованием здесь и в дальнейшем для обозначения полицейского отношения царской бюрократии к русскому обществу и его интересам.

⁶ *Кунавино* – предместье в Нижнем Новгороде, примыкавшее к ярмарочным постройкам; «славилось» как место всероссийского купеческого разгула.

⁷ *...граф Твэрдоонто*. – В образ графа Твэрдоонто¹⁸⁹ – сатирическую персонификацию высшей царской бюрократии – Салтыков ввел ряд черт, относящихся к личности и биографии графа Д. Л. Толстого, которого знал со времен их совместного пребывания в Царскосельском (Александровском) лицее. В 1865 г. Толстой был назначен обер-прокурором св. Синода, в 1860 г., после покушения Д. Каракозова на

¹⁸⁹ В славяно-русской азбуке буква *т* называлась «твердо», а буква *о* – «он», сочетание *то* читалось по названиям букв «твердо» – «он». Таким же приемом создана Салтыковым еще одна сатирическая фамилия: князь Букиазба (*б* – бука, *а* – аз).

Александра II, он становится также и министром народного просвещения. За период пребывания на этих постах Толстой своей яркой реакционностью вызвал к себе ненависть всех слоев общества. 15 апреля 1880 г. в связи с изменением правительственного курса, после взрыва в Зимнем дворце, Толстой был уволен с обеих должностей. Отставка Толстого вызвала радость во всех прогрессивных кругах и создала большую популярность Лорис-Меликову, добившемуся этой отставки. В 1880 г. Толстой совершил заграничное путешествие и почти в одно время с Салтыковым был и в Швейцарии и в Париже («странствующий администратор»). Все эти и многие другие факты из политической биографии Толстого нашли отражение в образе графа Твэрдоонто. Отразились в этом образе и опасения Салтыкова, что находящийся не у дел создатель административной «теории повсеместного смерча» может воспрянуть «при первом кличе: шествуйте, сыны!». В мае 1882 г. Толстой был назначен на пост министра внутренних дел и являлся в правительстве одним из самых последовательных и жестких проводников курса реакции 80-х годов.

⁸ «*Так храм оставленный – все храм...*» – из стихотворения Лермонтова «Я не люблю тебя...».

⁹ *...граф Пустомыслов...* – все тот же граф Твэрдоонто (неустраненный след первоначальных коле-

баний Салтыкова в наименовании персонажа).

¹⁰ ...*Вифезда... купель Силоамская*. – В Евангелии воды пруда Вифезда в Иерусалиме и источника Силоам вблизи Иерусалима связываются с исцелениями по слову Христа двух неизлечимых больных. В переносном смысле – средство исцеления.

¹¹ *«Граф и репортер»*. – Этот «драматический разговор», имеющий своим основным предметом сатирическую характеристику фигуры Твэрдоонто, представляет вместе с тем едкую пародию на репортерский жанр буржуазной печати, в особенности суворинского «Нового времени». Ближайшим прототипом для создания сатирического образа Подхалимова – репортера газеты «И шило бреет» послужила фигура парижского корреспондента «Нового времени» в конце 70-х годов С. Ф. Шарапова.

¹² *Вы, конечно, знаете стих Пушкина: «Красного лета отравы, муха несносная, что ты...»* – Твэрдоонто приписывает Пушкину стих, принадлежащий Е. Баратынскому («Ропот», 1841 г.).

¹³ ...*кстати: вы были на этом празднике... в Москве?* – Имеются в виду торжества по случаю открытия памятника Пушкину в Москве в июне 1880 г. В них отразился подъем литературно-общественной жизни в период второй революционной ситуа-

ции, произошла демонстрация либерально-оппозиционных сил в защиту «свободной мысли» и печати.

¹⁴ ...*"Мне вручила талисман"* – из стихотворения Пушкина «Талисман».

¹⁵ *Moïse sauve des eaux.* – По библейской мифологии, пророк Моисей получил свое имя от нашедшей его у реки, когда он был младенцем, дочери фараона. По-еврейски Моисей – Моше – значит «взятый из воды».

¹⁶ *Рассыпьте, молодцы!..* – Здесь и дальше приводятся мнемонические тексты воинских трубных сигналов.

¹⁷ ...*быстрых разумом Невтонов...* – из оды Ломоносова 1747 г.

¹⁸ ...*проштудируйте осьмой, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый томы...* – томы Свода законов Российской империи. Сатирический материал, связанный с этой темой, разработан Салтыковым в гл. VIII «Современной идиллии».

¹⁹ ...*раб лукавый...* – образ из евангельской притчи.

²⁰ ...*звуки йодля...* – Йодль (ном.) – жанр и манера исполнения (на высоких горловых регистрах) народных песен у альпийских горцев.

²¹ ...*и в иностранных и русских журналах появи-*

лись слухи о предстоящих для нашей печати льготах. – 1880 г. с его «новыми веяниями» поставил перед правительством вопрос о пересмотре и изменении законов о печати, в том числе и о замене административных репрессий взысканиями по решению судебных органов. Последний пункт особенно выдвигался самими представителями русской печати, в том числе демократической. Салтыков отнесся ко всем этим толкам о реформе законов о печати крайне скептически.

IV

¹ *...примкнул... к... безвестному кружку... – к кружку М. В. Буташевича-Петрашевского.*

² *...не к Франции Луи-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж-Занда.* – Луи-Филиппу и Гизо – этим символам послеиюльской реакции во Франции – Салтыков противопоставляет имена властителей социальных дум своей молодости. Идеи Сен-Симона, Кабе, Фурье сыграли выдающуюся роль в формировании мировоззрения Салтыкова и других петрашевцев.

³ *...оттуда воссияла нам уверенность, что «зо-*

лотой век» находится не позади, а впереди нас... – Вслед за Фурье, Сен-Симоном и др. русские социалисты-утописты обращали свои мечты о «золотом веке» не к прошлому, а к будущему. В известном «Карманном словаре иностранных слов» М. В. Петрашевский утверждал, что "не преданием о прошедшем, но сказаньем о грядущем должно считать... «золотой век».

⁴ ...даже такое дело, как опубликование «Собрания русских пословиц», являлось прихотливым и предосудительным. – Сборник В. Даля «Пословицы русского народа» был приготовлен к печати еще в конце 40-х годов, но николаевская цензура запретила издание. Книга смогла быть напечатана (в доработанном виде) лишь в 1862 г.

⁵ ...когда Бонапарт, с шайкой бандитов, сначала растоптал, а потом насквозь просмердил Францию. – Племянник Наполеона I Шарль-Луи Бонапарт в декабре 1848 г. был избран президентом республики, а 2 декабря 1851 г., опираясь на искавшую «сильного правительства» буржуазию, армию и духовенство, произвел государственный переворот, передавший в его руки всю полноту фактической власти; через год – 2 декабря 1852 г. – он провозгласил себя под именем Наполеона III императором Франции. Свое царствование Бонапарт ознаменовал ожесточенным преследованием рабочего движения, политическими ре-

прессиями, авантюрами, развернутой системой реакции. Его империя просуществовала до франко-прусской войны 1870 г. Салтыков, с отвращением относившийся к «последнему императору Франции», неоднократно называет его в дальнейшем изложении словом «бандит».

⁶ ...*шаторбрианы*... – ростбифы.

⁷ ...*мы не могли без сладостного трепета помыслить о «великих принципах 1789 года» и обо всем, что оттуда проистекало.* – 30 – 40-е годы во Франции были не только периодом расцвета социальных утопий, но и временем интенсивного оживления революционно-политической мысли, питавшейся традициями Великой французской революции.

⁸ ...*зачитывались «Историей десятилетия» Луи Блана.* – «История десяти лет» утопического социалиста Луи Блана выходила в Париже в период с 1841 по 1844 г. Резкая критика Июльской монархии в этой работе памфлетного характера пользовалась у современников большим успехом.

⁹ ...*Процесс министра Теста, агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо по этому поводу, палата, составленная из депутатов, нагло называвших себя conservateurs endureis, наконец, февральские банкеты...* – Перечисляют

ся политические факты и эпизоды, непосредственно предшествовавшие революционным событиям в феврале 1848 г. Жан-Батист Теста, бывший последовательно с 1834 по 1843 г. министром торговли, юстиции и общественных работ, оказался сильно скомпрометированным в деле об отдаче соляных копей в аренду за большую взятку и был привлечен к суду. Процесс Теста, происходивший в 1847 г., был использован парламентской группировкой буржуазии, так называемой «династической левой», для очередной агитационной кампании в пользу реформы избирательного права. Ответом на все попытки оппозиции добиться расширения избирательного корпуса служили «высокомерные речи Гизо по этому поводу»: «Избирателей и без того довольно, – говорил Гизо, – всеобщая подача голосов – нелепая система»; «обогащайтесь, трудитесь, и вы сделаетесь избирателями». Однако атаки сторонников реформы продолжались.

Движение проявлялось в устройстве ряда оппозиционно-республиканских банкетов. Запрещение Дюшателем и Гизо демократического банкета, назначенного на 22 февраля, послужило сигналом к революции. 23 февраля на улицах Парижа уже шли баррикадные бои. В этот день пало министерство Гизо, а на другой день министр Луи Филиппа бежал от побеждавшей революции в Лондон.

¹⁰ ...пало уже и министерство Тьера... пало регентство. – Революция 1848 г. началась как «восстание» партии реформ, партии буржуазии против реакционного режима Гизо, то есть против еще более умеренной фракции своего же класса, а перешла в восстание народных масс. Все попытки Луи-Филиппа спасти свой трон были сорваны наступившей революцией; оба министерства и регентство, имевшие своей задачей достигнуть компромисса, погибли почти немедленно после своего возникновения.

¹¹ ...оказалось несостоятельным эфемерное министерство Одилона Барро (этому человеку всю жизнь хотелось кому-нибудь послужить и, наконец, удалось-таки послужить Бонапарту). – Политический деятель и адвокат, лидер «династической оппозиции» в период Июльской монархии, Одилон Барро в последние часы жизни этого режима пытался спасти трон Луи-Филиппа. Позднее этот «приорожденный либерал», как называл его Герцен, был поставлен Луи Бонапартом во главе первого министерства новой республики.

¹² Но даже ламартиновское словесное распутство – и то не претило... – Во время февральской революции 1848 г. французский поэт и историк Альфонс Ламартин играл большую роль во Вре-

менном правительстве. Фактически, однако, выступая под республиканской маской, он боролся против республики. В начале революции Ламартин благодаря своему «цветистому красноречию» пользовался большой популярностью у сторонников движения во Франции и в России.

¹³ ...учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы. Затем, в марте, я написал повесть, а в мае уже был зачислен в штат вятского губернского правления. — При первых известиях о революции 1848 г. в Петербурге по указу Николая I был учрежден под председательством князя Меншикова особый комитет, которому поручено было «рассмотреть, правильно ли действует цензура и издаваемые журналы, соблюдают ли данные каждому журналу программы». Первой и единственной жертвой деятельности этого «негласного комитета» стал Салтыков. В мартовской книжке «Отечественных записок» он напечатал повесть «Запутанное дело» (вошла позднее в книгу «Невинные рассказы»). Социалистическая тенденция повести обратила на нее внимание «начальства». Салтыкову было предъявлено обвинение (сформулированное самим Николаем I) в напечатании сочинения, «в котором сказался вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, потрясших уже

всю Западную Европу...». Салтыков был арестован и 28 апреля отправлен в сопровождении жандарма «на служение в Вятку», откуда вернулся лишь в начале 1850 г.

¹⁴ ...*Что красы Санковской Цынскому представил.* – Е. Л. Санковская, знаменитая в 30 – 40-е годы прима-балерина московского балета, была фавориткой московского обер-полицеймейстера Л. М. Цынского.

¹⁵ ...*провожая сыновей, мужей и братьев на смерть за «ключи»* – то есть за «ключи» от храма Рождества Христова в Вифлееме (близ Иерусалима), построенного, по преданию, над местом вертепа, в котором родился Христос. Ссора между католическими и православными монахами Палестины за право хранения «ключей» от вифлеемского храма явилась одним из внешних выражений возникавшего восточного кризиса 50-х годов, перешедшего в Крымскую войну.

¹⁶ ...*Франция продолжала светить в лице ее изгнанников.* – После поражения революции 1848–1849 гг. многие ее участники эмигрировали из Франции в другие страны Европы, в том число Луи Блан, Ледрю-Роллен, Виктор Гюго, Феликс Пиа и др.

¹⁷ *Кости старого Политковского стучали в гробе; младенец Юханцев задумывался над вопросом: уже-*

ли я когда-нибудь превзойду? – Смысл этого указания и связи имени Политковского с именем Юханцова (о нем см. примеч. 23 к гл. 1) уясняется из следующей записи в дневнике А. В. Никитенко от 5 февраля 1853 г.: «Еще новое и грандиозное воровство. Был некто Политковский, правитель дел Комитета 18 августа 1814 г. В Комитете накопился огромный капитал в пользу инвалидов. Этот Политковский – камергер, тайный советник, кавалер разных орденов и пр. и пр. Он в течение многих лет крал казенный интерес, пышно жил на его счет, задавал пиры, содержал любовниц. На днях он умер. Незадолго до его смерти открылось, что он украл миллион двести тысяч серебром».

¹⁸ *...В 1870 году Франция опять напомнила о себе.* – Указание на франко-прусскую войну.

¹⁹ *...бандит оставил по себе конкретный след в виде организованной шайки, которая и теперь изъявляет готовность во всякое время с легким сердцем рвать на куски свое отечество.* – Речь идет о партии политических сторонников Наполеона III, бонапартистах, и их деятельности. Особенную роль они стали играть в момент кризиса республики между 1873 и 1877 гг.

²⁰ *Лично я посетил в первый раз Париж осенью 1875 года. Престол был упразднен, но неподалеку*

от него сидел Мак-Магон и все что-то собирался состряпать. – Буржуазия после Коммуны была озабочена консолидацией своих сил. Для борьбы с пролетариатом она готова была и на реставрацию империи. Шансы монархистов стояли высоко. Ярким выражением политической ситуации служило президентство бонапартовского маршала Мак-Магона, избранного на этот высший республиканский пост монархическим большинством Национального собрания (27 мая 1873 г., оставался президентом до 1879 г.) имеете «недостаточно консервативного» Тьера.

²¹ ...к развалинам дворца – Тюильрийского, уничтоженного пожаром в дни событий Парижской коммуны.

²² ... Arc de l'Etoile – Триумфальная арка на площади Звезды (ныне площадь генерала до Голля).

²³ ...макадам... – один из видов щебенного покрытия дорог.

²⁴ *Contre nous de la tyrannic...* – слова из «Марсельезы».

²⁵ ...*travail attrayant* – термин Шарля Фурье, обозначающий в его утопической социально-философской системе характер труда в гармоническом обществе будущего (в фаланстерах). Это труд, свободно избранный, труд без напряжения, вперемежку с праздниками, под звуки песен и музыки.

²⁶ *Оттого-то, быть может, и кажется приезжему иностранцу (это еще покойный Погодин заметил), что в Париже вот-вот сейчас, что-то начнется.* – Здесь имеются в виду соответствующие места из книги: Погодин М. «Год в чужих краях» (1839) // "Дорожный дневник". М., 1840.

²⁷ *...непростительно было бы не заглянуть в ту мастерскую, в которой вершатся политические и административные судьбы Франции. Я выполнил это... весной 1876 года. Палаты в то время заседали в Версале, и на очереди стоял вопрос об амнистии.* – Первая сессия сената и палаты депутатов первого созыва открылась 8 марта 1876 г., то есть в день, когда истекали полномочия Национального собрания. При выработке так называемых конституционных законов 1875 г., было специально постановлено, что правительство будет находиться в Версале. Это решение было продиктовано боязнью буржуазии перед пролетарским Парижем – городом революций и недавней Коммуны. Предложение об амнистии коммунаров, осужденных военным судом Тьера на бессрочные и долголетние каторги и тюрьмы, было внесено почти одновременно и в палату депутатов, и в сенат их «левыми» и «крайне левыми» фракциями (Виктор Гюго, Клемансо, Паке и др.). Прения по этому вопросу с центральным выступлением Клемансо

происходили в заседании палаты депутатов 17 мая, на котором Салтыков, возможно, присутствовал. Амнистия была отклонена. «Левые» удовлетворились письмом Мак-Магона, в котором он обещал многочисленные помилования. Это обещание осталось на бумаге.

²⁸ ...да ведь французское *«mais»* – это то самое, что по-русски значит: *выше лба уши не растут!* – К этим салтыковским фразеологизмам, созданным для характеристики оппортунистической сути либерализма – его идеологии и практики, неоднократно обращался в своей публицистике В. И. Ленин («Что такое „друзья народа“...», «Шаг вперед, два шага назад», «Услышишь суд глупца», «Мягко стелют, да жестко спать» и др.).

²⁹ ...это был *Лабули*, автор известного памфлета *Paris en Amérique*, а ныне сенатор и стыдливый клерикал. – Французский публицист-сатирик, ученый и общественный деятель Эд. Р. Лабули де Лефевр в 60-е годы находился в лагере оппозиции режиму Второй империи. Политическую систему этого режима он сатирически изобразил в сочинениях «*Paris en Amérique*» (1863) и «*Le prince caniche*» (1868). Произведения эти пользовались большим успехом не только во Франции, но и в России. Однако при всем своем чисто французском блеске, остроумии и кажущейся

резкости сатира Лабули была, в сущности, безобидна. Политическая биография автора подтвердила это. Уже в 1869 г. Лабули высказался за поддержку Наполеона III, которого он только что «беспощадно» осмеивал. К Парижской коммуне он отнесся резко враждебно; в Национальном собрании (1871) поддерживал политику Тьера. В сенате он примыкал к правому центру и являлся скрытым («стыдливым» у Салтыкова) проводником клерикально-монархических тенденций. Он выступал против амнистии коммунаров, против фабричного законодательства, направленного к облегчению положения рабочих.

³⁰ ...а потом и до Гамбетты доберемся... – Избирательная кампания в феврале 1876 г. принесла лидерство в республиканском союзе Л.-М. Гамбетте – одному из выразителей и проводников соглашательской политики буржуазных республиканцев после Коммуны. «Скопец Гамбетта одержал блистательную победу», – сообщил Салтыков Анненкову об этом событии в письме от 27 февраля 1876 г. «Я не признаю, – заявил Гамбетта в палате депутатов, – другой политики, кроме политики умеренности, политики результатов, и как уже произнесено это слово, я скажу – политики оппортунизма».¹⁹⁰

¹⁹⁰ Термин, специально созданный Рошфором для характеристики программы Гамбетты.

³¹ ...Hotel des Reservoirs – здание в Версале, где во время Коммуны собирались депутаты Национального собрания, сторонники монархии.

³² *"Но у нас мы говорим так: иллюзии – и кончен бал... и притом в особенности ежели... illusions perdues... ха-ха!"* – Сатирическая острота параллели между французской терминологией («конституция») и русской («иллюзии») уясняется из следующей справки. В сентябре 1880 г. «Лорис-Меликов призвал к себе всех редакторов повременных изданий и объявил им, чтобы они отложили в сторону всякое мечтание о центральном представительстве не только в виде конституционных палат, но даже и под видом совещательной Земской думы». По записи присутствовавшего на этом собрании (вместо находившегося за границей Салтыкова) Г. З. Елисеева, министр внутренних дел требовал, чтобы печать «не смущала и не волновала напрасно общественные умы своими... мечтательными иллюзиями». Для усиления сатирико-комического эффекта и одновременно для придания большей ясности намеку Салтыков вкладывает в уста Лабули выражение: «Illusions perdues» («Утраченные иллюзии») – заглавие знаменитого романа Бальзака.

³³ *«Я говорю: нужда заставит и калачи есть...»* – Уяснение смысла данного места рассчитано на

знакомство читателя с первоначальным значением употребленной поговорки. «Нужда заставит калачи есть» – то есть заставит голодающих крестьян среднерусских губерний отправиться на тяжелые работы на нижнюю Волгу и в другие южные губернии, где едят пшеничный хлеб, называемый там *калачом*.

³⁴ *Отлично! очаровательно! Vive Henri Cinq!.. e'est ca! Но ведь он... смоковница-то... сказывала мне на-меднись m-lle Круазетт...* – Речь здесь идет о последнем отпрыске королевской династии Франции – графе Шамборском (Генрихе Бурбонском). В реставрационных планах и попытках монархического большинства палаты этот представитель непримиримого легитимизма и белого знамени Бурбонов являлся в 70-е годы главным претендентом на престол Франции (под именем Генриха V.) Граф Шамборский не имел детей; на нем, таким образом, обрывалась старшая королевская ветвь Бурбонов. Указанием на это обстоятельство служит в салтыковском тексте слово *смоковница* (библейский образ бесплодной смоковницы). M-lle Круазетт – парижская куртизанка, героиня бульварной печати 70-х годов, была фавориткой Шамбора.

³⁵ *...журналист Менандр... в «Старейшей Пенко-снимательнице»... курлыкал да курлыкал, а пришел тайный советник Петр Толстолобов, крикнул: ты*

что тут революцию распространяешь... брысь! – и слопал Менандра! – Салтыков имеет здесь в виду историю разгрома в конце 1874 г. либеральной редакции «С.-Петербургских ведомостей» («Старейшая Пенко-снимательница»; журналист Менандр – редактор В. Ф. Корш; Петр Толстолобов – министр народного просвещения с 1875 г. гр. Д. А. Толстой).

³⁶ *...по поводу... Мак-Магона и его свойств... шел довольно оживленный спор: как следует понимать простоту...* – В этих и других намеках и указаниях на простоту Мак-Магона Салтыков издевается над солдафонством, политической и всякой иной безграмотностью первого президента Французской Республики. Энгельс в письме к Марксу по поводу избрания Мак Магона в президенты называл его «величайшим ослом Франции» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 33. С. 67).

³⁷ *«Что же такое, однако ж, Мак-Магон? Расстреляет ли он или не расстреляет? Вот вопрос, который витал над Парижем в мае 1876 года».* – Речь идет о попытке реставрации монархии, предпринятой легитимистами после так называемого «свидания в Фросдорфе» (резиденции графа Шамборского в Австрии), где произошло примирение – на почве общих задач – враждовавших ранее бонапартистов и орлеанистов.

³⁸ *«La republique sans republicains»*. – «Республика без республиканцев» – программный лозунг Тьера, превращенный Салтыковым в «формулу обличения» государственности современной ему буржуазно-реакционной Франции и всей системы буржуазно-парламентаризма (ср. с этим выражение Ф. Энгельса «монархия без монарха»). В. И. Ленин неоднократно обращался к этой «формуле» в своей публицистике («Пересмотр аграрной программы рабочей партии...», «Плеханов и Васильев», «О пролетарской милиции»).

³⁹ *...при самом въезде меня возмутило одно обстоятельство. Париж... вонял!!* – В «Хронике парижской жизни» Шарля Шассена, помещенной в 10-й книге «Отечественных записок» за 1880 г., читаем: «...во время летних жаров по улицам Парижа стал распространяться отвратительный мефетический запах... он исчез после того, как засорившиеся водосточные трубы были... вычищены». Салтыков описывает, таким образом, действительный факт из своих парижских впечатлений в августе 1880 г. Но выражение «Париж... вонял!!» он употребляет одновременно в качестве многозначительного символа «удушающего» быта и идеологии «сытого» французского буржуа, которому «ни героизм», ни идеалы уже не под силу".

⁴⁰ ...в Новотроицком, в «Саратове»... у Воронина – знаменитые московские трактиры.

⁴¹ ...осуществление идеала, излюбленного «маленьким буржуа», которому недавно воздвигнут памятник в С.-Жермене. – Имеется в виду Тьер. Памятник ему был открыт в 1879 г. в Сен-Жерменском предместье Парижа, во дворе здания Бурбонского дворца, где помещалась палата депутатов.

⁴² ...во цвете лет погиб Монтихин отпрыск... со смертью Лулу. – В 1879 г. умер единственный сын Наполеона III и императрицы Евгении (урожденной Монтихо) Луи («Лулу») Наполеон – бонапартистский претендент на престол. Он погиб от зулусских копий, приняв участие в колониальной экспедиции англичан.

⁴³ Франция заняла «надлежащее» место в «советах» европейских держав и вместе с прочими демонстрирует, в водах Эгейского моря, в пользу Греции. – Франция дала согласие участвовать в демонстрации эскадры шести держав – Австрии, Англии, Германии, России и Италии – в Эгейском море (сентябрь 1880 г.). Целью демонстрации было оказать давление на Порту в вопросе о воссоединении с Грецией греческих земель, все еще находившихся под властью Турции.

⁴⁴ ...Каким же образом графу ТвэрдоонтС, вме-

сте с прочими кадетами, не почтить Парижа своим посещением... как не сообщить мосье Гамбетте о своих видах и предположениях насчет харчевенно-ресторанного союза... – В 1879 г. русское правительство пыталось заключить с Францией тайную дипломатическую сделку, направленную против Германии и Австрии («миссия генерал-адъютанта Обручева»). Предложение было отклонено, и Бисмарк благодарил за это французского министра иностранных дел Ваддингтона. Летом и осенью этого года Париж посетило много «достославных кадетов», в том числе великие князья Владимир Александрович и Константин Николаевич (председатель Государственного совета), товарищ министра иностранных дел Л. Г. Жомини и один из ближайших сотрудников военного министра генерал П. П. Обручев. Их встречи с официальными руководителями республики вызвали ряд слухов о существовании будто бы заключенного в 1879 г. тайного франко-русского союза.

⁴⁵ ...он <буржуа> уже имеет в услужении «гарсонов» вроде Даркура <Сен-Валье> и Ноайля – отчего же не мечтать о «гарсонах» из породы Монморанси, Роган и Конде. – Ирония и сарказм заключаются здесь в том, что перечисляются имена, принадлежащие к числу старейших аристократических родов Франции, к ее «голубой крови». Представители этих

фамилий, в течение столетий верно служивших белому знамени Бурбонов, оказались теперь в роли политических защитников интересов буржуазной республики. В период, о котором идет речь, граф Даркур был французским послом в Вене, граф Сен-Валье – в Берлине и герцог де Ноайль – в Риме.

⁴⁶ ...даже в стенах Новороссийского университета тайному советнику Панютину, в Одессе сушу, провозглашалось... – Виленский гражданский губернатор с 1863 по 1868 г., участник подавления польского восстания, С. Ф. Панютин выполнял в 1878–1880 гг. миссию «ликвидации революционного брожения» в районе одесского генерал-губернаторства и «успокоения» студенческих волнений в Новороссийском университете в Одессе.

⁴⁷ ...и мушаров... – полицейских шпионов, осведомителей (фр.).

⁴⁸ Признаюсь, эти вопросы немало интересовали меня. Не раз порывался я проникнуть в Бельвиль... – Бельвиль (Belleville) – рабочее предместье Парижа, игравшее видную роль в истории революции 1848 г., Парижской коммуны и дальнейшего развития движения французского пролетариата. В кварталах Бельвиля, в частности, собирался первый общепарижский (так называемый Парижский) рабочий конгресс в ок-

тябре 1875 г.

⁴⁹ ...назойливый празднюлюбец, вроде Герольштейнского принца. – Принц Герольштейнский – авантюрный герой романа Эжена Сю «Тайны Парижа».

⁶⁰ Цирк Фернандо. – Этот цирк, находившийся в Бельвиле, служил в 70-х и 90-х годах местом всех больших собраний парижских рабочих.

⁵¹ ...в Марсель на рабочий конгресс? – Конгресс рабочих синдикатов в Марселе происходил в октябре 1879 г. Он был продолжением Парижского (1876) и Лионского (1878) рабочих конгрессов. Но в отличие от этих своих предшественников, ярко отразивших тяжелый кризис, который переживало рабочее движение Франции после разгрома Коммуны, Марсельский конгресс прошел под знаком усиления революционных настроений наиболее передовых групп французского пролетариата.

⁵² Гасконь... доставляет лгунов. – Народные анекдоты, пословицы и поговорки о лгунах и хвастунах гасконцев имеют глубокую традицию, нашедшую отраженно и в письменной литературе (например, в баснях Лафонтена).

⁵³ ...ортоланов. – Ортолан¹⁹¹ – птица овсянка.

¹⁹¹ ortolan

54 ...гостившая в России баронесса Каулла... завтракала с генералом Сиссэ. – Речь идет о генерале Второй империи де Сиссэ, активном бонапартисте, кровавом усмирителе Коммуны, грязном авантюристе, запутавшемся в неопрятных денежных делах и из-за них покончившем свою жизнь самоубийством. Когда он был военным министром при Тьере и Мак-Магоне, его любовница, кокетка и прусская шпионка, известная в скандальной хронике всех европейских столиц под именем «баронессы Каулла» и «la fille Каoulla», похитила и передала Германии мобилизационные планы Французской армии, а также чертеж одного из новых фортов Парижа. Разоблачение этого факта парижской печатью осенью 1880 г. повлекло за собой возникновение судебного дела («дело Сиссэ – Каулла»), тянувшегося до апреля 1881 г. и кончившегося оправданием Сиссэ. На суде выяснилось, что Каулла жила в 70-х годах в Петербурге, являлась любовницей знаменитого растратчика Юханцева (см. о нем выше) и была выслана из России как прусская шпионка. В этой связи уясняются те места салтыковского текста, в которых говорится о том, как «сам Юханцев кормил» рябчиками Кауллу и как он «по сочувствию стонал в Красноярске» (он отбывал там в это время судебный приговор).

55 ...упразднить поповского бога совсем... И вот

теперь, в целой Франции, действует бог лаицизированный¹⁹²... однако ж... вопрос о конгрегациях... чуть было не произвел разрыва между Гамбеттой и графом ТвэрдоонтС. – В марте 1879 г. министр народного просвещения, умеренный республиканец Жюль Ферри внес в сенат законопроект о реформе высшего образования. В проекте имелась статья, запрещающая лицам, принадлежащим к «неутвержденным конгрегациям»,¹⁹³ преподавать в светских школах или руководить ими. Обсуждение законопроекта и его юридических последствий в виде двух репрессивных декретов против католических конгрегации вообще («декреты 29 и 30 марта»), сопровождалось ожесточеннейшей политической борьбой клерикалов и консерваторов с республиканцами. Осенью и зимой 1880 г. по всей Франции шло полицейское закрытие конгрегаций, сопровождавшееся в ряде мест вооруженным сопротивлением монахов и сагитированного ими крестьянского населения. К 1881 г. конгрегации были уничтожены. Ироническая острота указания на то, что антиклерикальная политика республики («Гамбетты») вызвала недовольство «графа Твэр-

¹⁹² светский (от фр. laïciser – делать мирским, светским).

¹⁹³ конгрегации – объединения католических монастырей, при надлежащих к одному монашескому ордену (иезуитскому, францисканскому и т. д.).

доонтС», уясняется из псевдонимических ассоциаций этого сатирического персонажа с личностью гр. Д. Толстого, пытавшегося в качестве обер-прокурора синода, то есть официального блюстителя религии в России, воспрепятствовать дипломатическим путем закрытию монастырей.

⁶⁶ ...относительно отцов «реколлетов». – «Реколлеты» – члены так называемой реколлетской конгрегации, оказавшие особенно упорное сопротивление (вплоть до возведения баррикад) закрытию своего монастыря. «Военными действиями» против монастыря руководил шеф французской охраны – «мосьИ Кобе».

⁵⁷ *Даже в Бальзаке, несмотря на его социально-политический индифферентизм... просачивалась тенденциозность...* – то есть идейность.

⁵⁸ Требуется разъяснения терминология Салтыкова, всюду употребляющего слово «реализм» вместо «натурализм».

Известность и популярность Золя началась значительно раньше в России, чем на его родине или в других западных странах. Самым крупным фактом в истории отношений французского романиста с русским читателем явилось сотрудничество Золя в "Вестнике Европы" в период с 1875 по 1880 г. Здесь (зadолго

до их появления во Франции) печатались его ежемесячные "Парижские письма", в которых впервые и была развернута теория "натурализма" и "экспериментального романа". Эти термины, сопровождавшиеся к тому же постоянными ссылками на "научность", "физиологию", "медицину" и т. п., на русской почве 70-х годов ассоциировались вначале с радикальной общественной программой, а также с демократическими традициями того левого крыла русской "натуральной школы", теоретиком которой являлся Белинский и из недр которой вышли Герцен, Некрасов, Тургенев, Салтыков и др. Позднее, когда по мере появления "Парижских писем" все полнее и точнее выяснялась сущность проповедуемых Золя теорий, они стали терять свою первоначальную популярность. Демократического читателя в России начали отталкивать от Золя-теоретика формулируемые им требования "объективизма", отказа от прямых политических суждений и общественных оценок ("Я не хочу, как Бальзак, решать, каков должен быть строй человеческой жизни, быть политиком, философом, моралистом..."), его биологизм, его тенденция в человеке видеть "человеческое животное", наконец, его резко полемические выступления против недавних кумиров – Жорж Санд, Гюго и Бальзака. Золя начинает подвергаться ожесточенным нападкам (статьи в "Отечественных запис-

ках", "Деле" и др.). Резкость этих нападок испугала редактора "Вестника Европы" М. М. Стасюлевича. Вскоре он вынужден был отказаться совсем от сотрудничества с Золя, но прежде этого в первых книжках 1879 г. он решил изгнать из "Парижских писем" "одиозные" термины "натурализм", "натуралистический" и заменил их соответственно "реализм", "реалистический". Известно, однако, что Золя, теоретически обосновывая (в кн. 1879 г. "Экспериментальный роман" и др.) новое литературное течение, не только настаивал на наименовании его "натурализмом", но и прямо отграничивал это понятие от ранее существовавшего "реализм". Салтыков же пишет, явно имея в виду литературные манифесты Золя: "...современная французская литература... не без наглости подняла знамя реализма" и т. д. Это объясняется тем, что Салтыков знакомился со статьями Золя, против которых он здесь полемизирует, по "Вестнику Европы" и, естественно, усвоил введенную журналом неправильную терминологию.

⁵⁹ ...*"Ассомуар" ... в нем... на первом плане фигурируют представители... «новых общественных наслоений»...* – Роман «L'Assomoir» («Западня», 1877) посвящен рабочему классу.

⁶⁰ *Капитан Гарсен – тот самый, который во время торжества версальских войск над Коммуной рас-*

стрелял депутата Милльера за «вредное направление» его литературной деятельности... – В книге А. Зеваоса «История Третьей республики» приведено описание этой казни республиканского депутата и социалиста Милльера, рассказанное самим капитаном Гарсеном: "Я сказал Милльеру, – повествует палач, – что по приказу генерала (де Сиссэ. – С. М.) он должен быть расстрелян. Он спросил меня: «За что?» Я ответил ему: «Я вас знаю только по имени, но я читал ваши статьи, которые меня возмущали...»

⁶¹ *...любимцем, художником по сердцу буржуа и всефранцузскую знаменитостью Золя сделался лишь с появлением «Нана».* – Появление в 1879–1880 г. романа «Nana» сопровождалось сенсационным успехом. Успех романа в первую очередь объяснялся не художественными достоинствами и не социально-обличительной тенденцией произведения, а обилием натуралистических описаний. Характеристика «Nana» у Салтыкова носит гротескно-сатирический характер. Но, отвергая определенные элементы и тенденции в творчестве Золя, Салтыков признавал его деятельность в целом «весьма замечательной».

⁶² *...экскрементально-человеческой комедии...* – Салтыковский обличительный фразеологизм, созданный из раблезиански спародированного термина натуралистов «экспериментальный роман» и названия

эпопеи Бальзака «Человеческая комедия».

⁶³ *Вот, например, перед вами Альфред.* – Пародия Салтыкова имеет в виду, с одной стороны, произведения эпигонов натурализма Алексиса, Сеара и Зиника, а с другой стороны, и прежде всего, самую «концепцию натуралистического романа», как она была формулирована в «Парижских письмах» Золя.

⁶⁴ *грюйер* – сорт швейцарского сыра.

⁶⁵ *...он на все усовещевания ответит: я не идеолог, а реалист; я описываю только то, что в жизни бывает... И при этом облает Виктора Гюго.* – Это данное в пародийной форме высказывание «реалиста французского пошиба» опять-таки метит непосредственно в Золя и его формулировки из «Парижских писем» (важна оговорка Салтыкова, что «критические этюды» Золя, в отличие от его романов, он не признает «замечательными»). Насколько точен был Салтыков в своей пародии, показывает, например, следующее положение Золя, приводимое здесь для сравнения с салтыковским сатирическим текстом: «Я не затрагиваю вопроса об оценке политического строя, я не хочу защищать какие-либо политики или религии. Рисуемая мною картина – простой анализ куска действительности, такой, какова она есть». Нападки на Виктора Гюго встречаются в «Парижских

письмах» очень часто.

⁶⁶ *"Pilules du diableti* – феерия Л. Буржуа, Ф. Лачу и Лорана. Постановка ее в театре Шатле (1874 г.) пользовалась огромным успехом и продержалась в репертуаре несколько лет.

⁶⁷ ...*"провербы"*... – пословицы; здесь: в смысле обозначения жанра небольших пьес, построенных на поговорках. Жанр этот культивировался в аристократических и просветительских салонах XVIII в.

⁶⁸ ...*chambres intouvables* – так называли парламенты, состоявшие из депутатов, с готовностью принимавших любое предложение правительства.

⁶⁹ ...*рабочие кварталы, с осуществлением амнистии, как будто оживились.* – Закон об амнистии опубликован 11 июля 1800 г. Амнистия вернула во Францию активных участников Коммуны, что способствовало оживлению рабочего движения.

⁷⁰ ...*раздается пушечная пальба, возвещающая, что галлы изгнаны...* – В день 25 декабря отмечалось изгнание из России в декабре 1812 г. «великой армии» Наполеона.

V

¹ ...*"Колокольчик, дар Валдая..."* – из стихотворения Ф. Глинки «Сон русского на чужбине».

² *«Avenement parisien»* – описка или пропущенная опечатка. Имеется в виду «l'Evenement parisien» («Парижское происшествие») – иллюстрированная бульварная газетка порнографического характера, выходившая в Париже в 80-е годы. Была закрыта (после ряда судебных процессов) по обвинению «в оскорблении общественной нравственности».

³ Musee Cluny – музей прикладного искусства и предметов бытового обихода, преимущественно средних веков.

⁴ ...*ежели он «Альфонс».* – Альфонс – тип мужчины, продающего свои любовные услуги женщине, созданный Ал. Дюма-сыном в одноименном романе (1875).

⁵ ...*в Пинегу...* – то есть в ссылку. Ниже в таком же значении называются Мезень, Верхоянск, Кола.

⁶ *Но здесь-то, в Париже, можно бы, кажется, и позабыть об господине Пафнутьеве... Только у них это не экстрадицией называется, а экспюльсиро-*

вапием... – В начале июля 1880 г. из Парижа специальным декретом префекта полиции были высланы в двухдневный срок все проживавшие там русские политические эмигранты. Эта репрессивная мера явилась результатом тайной дипломатической сделки, которой добилось самодержавие в качестве компенсации за невыдачу Францией народовольца Льва Гартмана. Господин Пафнутьев персонифицирует собою в данном контексте русское правительство периода его «либерализма» 1880 г. Менотки – наручники; экстрадиция и экспюльсирование – юридические термины, означающие выдачу преступника иностранному государству и его изгнание, высылку.

⁷ *«Время, нами переживаемое, столь бесполезно-жестoko, что потомки с трудом поверят существованию такой человеческой расы, которая могла оно переносить...»* – цитата из «Анналов» Тацита в переводе Л. Кронеберга.

⁸ *Tolle me, tu, mi...* – одно из мнемонических «правил» при изучении латинской грамматики.

⁹ *...и дендо, и пердро, и тюрбо.* – Dinde – индюшка; perdreau – куропатка; turbo – палтус (рыба).

¹⁰ *...осуществить Красный Холм в Париже, Версаль претворить в Весьёгонск, Фонтенбло в Кашин...* – В заштатном городе Красном Холме и в уезд-

ных городах Весьегонске и Кашине Салтыков побывал в годы своей службы тверским вице-губернатором (1860–1862). С поездкой на ревизию в Красный Холм связаны и упоминаемые в тексте имена местных купцов Блохина (торговля яичным товаром) и Зызыкина (виноторговля).

¹¹ *Петербургские события.* – Речь идет о волне административно-полицейских репрессий, которыми правительство ответило на событие 2 апреля 1879 г. – покушение на жизнь Александра II революционера-народника А. К. Соловьева.

¹² Я покупал их <газеты. – С. М.> ежедневно и притом самые страшные: «L'Intransigeant», «Le Mot d'Ordre», «La Commune», «La Justice». – Перечисление «страшных» газет, которые ежедневно читал «автор», представляет интерес и для суждений о том, какие направления в политической прессе Франции преимущественно интересовали самого Салтыкова. Газета «L'Intransigeant» («Непримиримый») была основана 14 июля 1880 г. Анри Рошфором; называла себя «органом амнистированных», поддерживала без различия внутренних направлений все радикальные группировки. Газета пользовалась большим распространением среди рабочих. «Le Mot d'Ordre» («Слово порядка») – газета «непримиримых», основанная также Анри Рошфором еще в дни франко-прусской

войны; с 1880 г. газета редактировалась фактически Лепелетье и Оливье Боном, резко выступала против «левой» политики Гамбетты. «La Commune» («Коммуна») – ежедневная социалистическая газета, выходящая всего несколько месяцев в течение 1880 г., основателем и редактором ее был Феликс Пиа. «La Justice» («Справедливость») – радикальная газета, орган «крайней левой» (d'extreme gauche), была основана 1[...] января 1880 г. Ее политическим редактором был Жорж Клемансо, в то время лидер буржуазного радикализма во Франции. В своем первом номере газета заявила, что будет вести борьбу против «упорных сил инерции и против бесконечных откладываний», то есть против политики оппортунизма.

¹³ ...*в виду Мадлены...* – то есть в виду церкви Магдалины в Париже, одного из наиболее замечательных памятников зодчества в стиле ампир. «В виду Мадлены» был расположен отель, в котором останавливался Салтыков в Париже и в 1880 и в 1881 гг.

¹⁴ ...*несть власть аще...* незаконченная сентенция из Библии, гласящая полностью: «несть власть аще не от бога» (Посл. к римл., XIII, I).

¹⁵ ...*"ему же дань – дань!", «звезда бо от звезды», «сущие же власти»* – фрагменты из евангельских афоризмов и сентенции, утверждавших божествен-

ную предустановленность власти. Были использованы в приветственном «Слове» архиепископа и писателя Георгия Коннсского, обращенном к Екатерине II, посетившей Могилев. «Слово» это считалось образцом ораторского искусства.

¹⁶ ...*быть может, со временем мы увидим мервских исправников, подобно тому как уже видим исправников карских, батумских...* – Мерв был присоединен к России в 1884 г.; Карс включен в состав России по Сан-Стефанскому договору в 1877 г., но в 1921 г. по Карскому договору вновь отошел к Турции; Батум был присоединен к России по Берлинскому трактату в 1878 г.

¹⁷ *Старосмыслов получил прогоны...* – В марте 1880 г., после указов о временном подчинении Верховной распорядительной комиссии III Отделения и Корпуса жандармов, Лорис-Меликов предпринял «ревизию» делопроизводства III Отделения. Было разобрано и пересмотрено около 1500 дел преимущественно о лицах, арестованных по обвинению в государственных преступлениях. По словам документов, комиссия нашла, что многие из числа подвергшихся полицейскому надзору по обвинению в политической неблагонадежности... уже сознали свои заблуждения и даже заслужили одобрительную аттестацию подлежащего начальства, а потому комиссия полагала: под-

вергнуть списки поднадзорных... пересмотру с целью освободить лиц, исправившихся в поведении и нравственности, или вовсе от полицейского надзора, или с некоторыми ограничениями. В результате в течение 1880 г. был освобожден из-под надзора, возвращен из ссылок и даже из эмиграции ряд лиц. Эти мероприятия Лорис-Меликова афишировались в либеральной печати чуть ли не в качестве широкой политической амнистии. Повествование о Старосмысловле насыщено рядом откликов на эти злободневные сюжеты.

VI

¹ *В среде, где нет ни подлинного дела, ни подлинной уверенности в завтрашнем дне, пустяки играют громадную роль.* – Рассуждение о господстве «пустяков» в обществе, находящемся под гнетом абсолютистской власти, не знающем развитых форм политической жизни, аргументирует отрицательное отношение Салтыкова к тактике революционного террора народовольцев. В их деятельности он не усматривает «истинно-жизненного течения» (см. ниже примеч. 8 к гл. 7). Теме «пустяков» в ее философско-историческом толковании Салтыков посвятил через несколько

лет книгу «Мелочи жизни» (1886–1887).

² ...побывал на берегах... Вилюя, задал себе вопрос: ужели есть такая нужда, которая может загнать человека в эти волшебные места?.. – Намек на Чернышевского (и других революционеров), находившегося в это время (начиная с 1872 г.) на положении ссыльнопоселенца в Вилюйске, «городе-призраке», в 601 километре на северо-запад от Якутска.

³ ...в надежде славы и добра... – начальные слова из «Стансов» Пушкина, усвоенные салтыковской сатирой в качестве «знака» сатирической характеристики либералов – умеренности их политических упований, робости их борьбы.

⁴ Должно быть, случилось что-нибудь ужасное – ишь ведь как гады закопошились! Быть может, осуществился какой-нибудь новый акт противочеловеческого изуверства... – Эти строки относятся непосредственно к акту 1 марта 1881 г. Салтыков не верил в достижение решающих успехов в борьбе с самодержавием методом террористических ударов по его правительству. Напротив того, в качестве непосредственного политического результата таких ударов он предвидел подъем новой волны реакции и укрепление самодержавия. В этом смысле нужно понимать слова о «гадах», которым убийство Александра II дало «ра-

достный повод для своекорыстных обобщений».

⁵ ...ширял сизым орлом по поднебесью... – из «Слова о полку Игореве».

⁶ ...молодцы из Охотного ряда, сотрудники с Сенной площади... – Торговцы (хозяева и приказчики) двух известных столичных рынков, в Охотном ряду в Москве и на Сенной площади в Петербурге, активно сотрудничали с полицией в подавлении студенческих и других демонстраций и манифестаций 80-х годов. Впоследствии они упрочили за собой постыдное имя «охотнорядцев» для обозначении погромщиков и хоругвеносцев реакции в социальных низах.

⁷ «Торжествующая свинья...» – Как всегда у Салтыкова, образ «торжествующей свиньи», порешившей «сожрать» «правду», наделен большой силой обобщения, в данном случае обобщения политической и общественной реакции. В таком значении этот образ сразу же получил широкое распространение в обществе и печати. Вместе с тем Салтыков вводит в комментируемый текст ряд сигналов для узнавания исходного смысла образа «торжествующей свиньи»: «свиное хрюканье у московского корыта», «московские газетные трихины» и др. Это очевидные намеки на послепервомартовскую реакционную печать и литературу, ближайшим образом на «Московские ведо-

мости» Каткова и отчасти «Русь» И. Аксакова. Отклики обеих газет на события 1 марта 1881 г. достигли не только предела реакционности. Они были исполнены прямыми политическими угрозами по адресу всех инакомыслящих, в первую очередь петербургской либеральной печати.

⁸ *Le general Capotte*. – Слово *capote* (пишется с одним "t") значит по-французски «солдатская шинель». Салтыков пользуется этим словом, превращенным в сатирическую фамилию, в переносном смысле, равнозначным русскому выражению (введенному Салтыковым же) «гороховое пальто», то есть шпион, осведомитель. В сатирическом жизнеописании Капотта Салтыков использовал ряд черт из биографии международного политического сыщика-авантюриста 60 – 80-х годов полковника Этьена де Будри-младшего, действительно дальнего родственника Марата, сотрудничавшего одновременно с русской и французской полицией и жившего в 70-х годах в России.

⁹ *Цензор Красовский-Бируков-Фрейганг...* – соединены в одну фамилию имена трех цензоров николаевского царствования.

¹⁰ «Но что вы скажете о Гамбетте и о рара *Trinquet*? не воссияют ли они?» – Алексис-Луи ТренкИ – рабочий, по профессии сапожник, видный участ-

ник Парижской коммуны, после ее разгрома был сослан на каторгу в.[....] В июне 1880 г. социалисты парижского избирательного округа Pere Lachaise демонстративно избрали в муниципальный совет «каторжника» Тренки.

¹¹ ...*Иван Непомнящий*... одно из обозначений трудового крестьянства у Салтыкова.

VII

¹ *Псой Стахич Замухрышкин* – один из растленных героев в «Игроках» Гоголя.

² *Этот изумительный тип глубоко верующего человека нередко смущал мое воображение, и я не раз пытался воспроизвести его.* – Признание автобиографично. Оно комментируется следующими строками из письма Салтыкова к Анненкову от 2 декабря 1875 г. Сообщая своему адресату о замысле нового произведения «Дни за днями за границей» (или «Книга о праздношатающихся»), Салтыков писал: «В виде эпизода, хочу написать рассказ „Паршивый“. Чернышевский или Петрашевский, все равно. Сидит в мурье среди снегов, а мимо него примиренные декабристы и петрашевцы проезжают на родину и насвистывают:

„Боже, царя храни“, вроде того, как Бабурин пел. И все ему говорят: стыдно, сударь! у нас царь такой добрый – а вы что? Вопрос: проклял ли жизнь этот человек или остался он равнодушен ко всем надругательствам и все в нем старая работа <...> до ссылки начатая, продолжается? Я склоняюсь к последнему мнению...» О том же занимавшем его сюжете сообщает Салтыков и Некрасову в письме от 8 мая 1870 г.: "Тут (в «Культурных людях». – С. М.) будет еще рассказ «Паршивый», – человек, от которого даже все передовики отвернулись, который словно окаменел в своих мечтаниях: ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего – только свет! свет! свет!" Эти замыслы остались не воплощенными. Наконец уже значительно позднее Салтыков пытался осуществить свой замысел в форме «сказки», которая, по его словам, была «почти готова».

³ *...бывают исторические минуты, когда... массы преисполняются угрюмостью и недоверием, когда они... упорствуют, оставаясь во тьме и недугах. Не потому упорствуют, чтоб не понимали света и исцелений, а потому, что источник этих благ заподозрен ими.* – Одним из путей борьбы правительства и реакции с революционным движением были попытки привлечения к этой борьбе широких слоев народа и общества – программа «единения с наро-

дом». На официозном языке эпохи это был период так называемой «народной политики» или «игнатъевской эры» (по имени министра внутренних дел Н. П. Игнатъева, назначенного на этот пост 4 мая 1881 г.). Путем широко развернутой социально-экономической, а отчасти и политической демагогии правительство надеялось, по выражению Глеба Успенского, «вышибить днище у интеллигенции» (подразумевается – революционно народнической), то есть изолировать активно-революционные элементы страны от общества, народа, превратив последние в союзников самодержавия по борьбе с «крамолой». Эта охранительная тактика, лежавшая также в основе всех «либеральных» начинаний Лорис-Меликова, с особым размахом и в наиболее «чистом» виде стала осуществляться новым министром Игнатъевым. Широкое распространено среди крестьянских масс получил слух о том, будто убийство Александра II было мстью «образованных», «господ» за отмену им крепостного права. Слух этот содействовал усилению подозрительности крестьян по отношению к интеллигенции.

⁴ «А пора бы, наконец, и трезвенное слово сказать». – «Трезвое слово», или, в иронической парфразе Салтыкова, «трезвенное слово» – один из фразеологизмов реакционной националистической публицистики 70 – 80-х годов. «Русского трезвого слова»

требовала эта публицистика от общества, земства и правительства в ответ на «распространение гнилостных миазмов западного нигилизма». Ближайшим образом Салтыков сатирически отталкивается здесь от передовой статьи И. Аксакова в номере «Руси» от 15 мая 1881 г. Статья эта заканчивается словами: «Терпение русского народа, национальную гордость России нельзя безнаказанно подвергать испытаниям. Пора, пора, наконец, сказать трезвое, твердое слово!»

⁵ *Сидевший передо мной экземпляр земца... Через десять минут мы были в Кёльне.* – Земству, «погрузившемуся в дела внутренней политики», и его реакционной роли в период «игнатъевской эры» Салтыков через несколько месяцев специально посвятит главы V–VI «Писем к тетеньке». Диалог автора с земцем, происходящий в купе железнодорожного вагона, построен в форме пародии на один из «земских» фельетонов Л. Суворина, в котором излагается беседа автора с неким немцем на волжском пароходе (Суворин Л. Дельный разговор/ Новое время. 1881. № 1867).

⁶ *...Марат именно такого рода целебные средства предлагал...* – В период кризиса самодержавия на рубеже 70 – 80-х годов большинство земств не раз выражало правительству готовность участвовать в борьбе с революционерами. Для характеристики агрессивных настроений правых групп в земствах,

их писанных и неписанных проектов «упразднения интеллигенции» Салтыков пользуется образом Марата. Однако он имеет в виду не историческую фигуру известного деятеля Великой французской революции, а тот ходячий образ кровожадного садиста, который был создан дворянскими и буржуазными историками. Ближайшим образом имеется в виду знаменитая фраза Марата из его прокламации от 14 июля 1790 г. Марат заявил в ней, обращаясь к массам: "Пять или шесть сотен отрубленных голов <контрреволюционеров> обеспечили бы нам «спокойствие, свободу и счастье».

⁷ *Был, дескать, я разбойником печати...* – Выражение «мошенники пера и разбойники печати» впервые было употреблено реакционным беллетристом и публицистом Болеславом Марковичем в «Московских ведомостях» 1875 г. по адресу радикальной журналистики, но было тотчас же подхвачено этой последней в качестве характеристики писателей реакционного лагеря, в частности для того же Маркевича, Каткова и его сотрудников. Салтыков пользовался этим выражением очень часто.

⁸ *...о мудрости князя Михаила Семеныча и прозорливости графа Алексея Андреича!* – Имеются в виду кн. М. С. Воронцов-Дашков и гр. Л. А. Аракчеев.